

ISSN 0132-0637

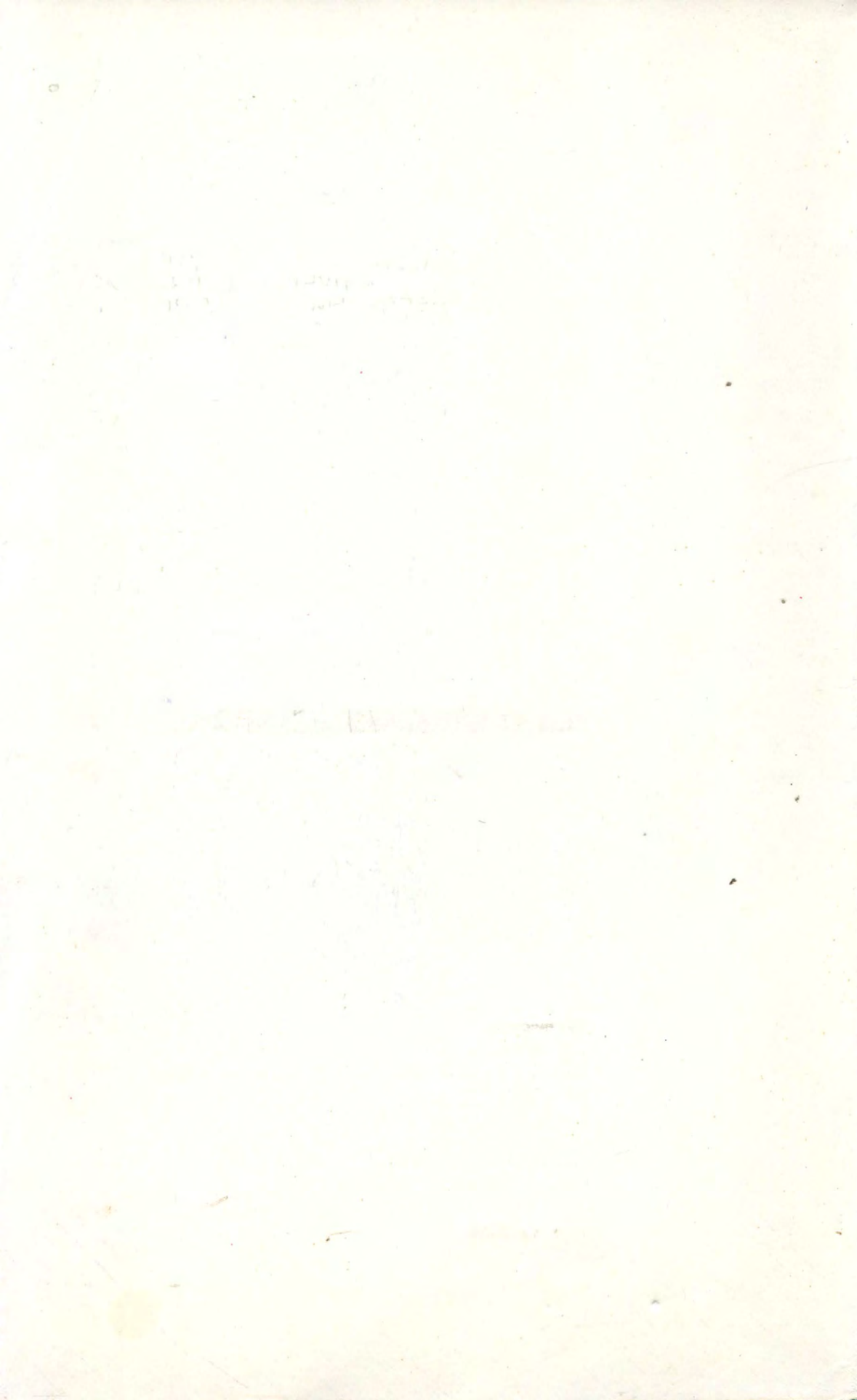
Октябрь

5 1999

1999

5

Октябрь



# ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

5

1999

МАЙ

В Н О М Е Р Е:

## ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Юнна МОРИЦ. На случай отравления надеждой. Стихи. Эссе . . . . .	4
Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. Лабиринт. Рассказы . . . . .	10
Сергей ЮРСКИЙ. Западный экспресс . . . . .	38
Владислав ОТРОШЕНКО. Пасхальные хокку . . . . .	61
Борис ХАЗАНОВ. Два рассказа . . . . .	64
Олег ПАВЛОВ. Запой, или Сказка о последнем казаке. Рассказ . . . . .	78
Вячеслав ПЬЕЦУХ. Русские анекдоты . . . . .	83
Юрий БУЙДА. Последний. Рассказы . . . . .	97
Евгений ПОПОВ. Новая атмосфера. Рассказы . . . . .	109
Михаил РОЩИН. Камера Мухина. Рассказ . . . . .	120
Нас поздравляют . . . . .	131

## ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

### «Бывают странные сближения...»

Валерий ПИСИГИН. Две дороги. Окончание .....	135
<b>Год как век</b> Рубрику ведет Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ .....	169
Нас поздравляют .....	173

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Игорь ВОЛГИН. От «Октября» до «Октября». Записки конформиста ..	176
Кирилл КОБРИН. Исповедь в двух частях. * Дневник тридцатитрех- летнего, или Около того .....	180
Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ. Хрипчатый классик, или Мы в очереди первыми стояли ..	187
<b>Мелочи жизни</b> Павел БАСИНСКИЙ. Не плачь, не жалуйся, не проси! .....	188
<b>В несколько строк</b> Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ .....	190
Нас поздравляют .....	192

Главный редактор  
Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА заместитель гл. редактора

### Редакция:

Инесса НАЗАРОВА	отв. секретарь
Алексей АНДРЕЕВ	зав. отделом прозы
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	зав. отделом критики
Инна БРЯНСКАЯ	публицистика
Виталий ПУХАНОВ	проза

### Общественный совет:

Леонид Баткин, Юрий Буртин, Василь Быков, Алексей Варламов,  
Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин,  
Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Анатолий Курчаткин, Юнна Мориц, Анатолий Найман,  
Олег Павлов, Людмила Сараскина, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин.

**Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество»  
выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России  
и ряда стран СНГ 4346 экземпляров журнала.**

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.  
Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64,  
ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии –  
214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.  
Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 1999. Электронная версия журнала [www.infoart.ru/magazine](http://www.infoart.ru/magazine)

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Т. С. Трошина.

Сдано в набор 30.03.99. Подписано к печати 22.04.99. Формат 70x108<sup>1/16</sup>.  
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.  
Тираж 9770 экз. Заказ № 787. Цена 17 руб. 50 коп.

ОАО «Производственное объединение «Пресса-1».  
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

## **Дорогие читатели!**

**Нашему журналу исполняется 75 лет.**

Однажды оформившись, идея литературного журнала в России дошла до наших дней почти без изменений. И сегодня можно проследить, как на страницах «толстых» журналов отражаются противоречия, унаследованные еще от оппозиции Пушкина болгаринско-новиковскому журнализму, а споры западников со славянофилами, новаторов с охранителями отечественной словесности давно стали неотъемлемой частью национальной культуры.

Различия во мнениях, переходящие порой в острую полемику между журналами, не нарушают представления о том, что каждый в отдельности и все вместе журналы создают единое пространство русской литературы и прекращение выхода одного станет ощутимой потерей для остальных.

Находить точку равновесия в меняющейся социально-политической атмосфере всегда было трудной, обременительной задачей, поглощавшей силы любого журнала. Легче ли нести бремя социализма или выносить нигилизм постмодернистов? Проще ли делать журнал под недремлющим оком государства или когда государство поворачивается спиной? От этих вопросов не свободен и наш журнал. Мы прикладываем старание, чтобы с каждым номером все больше освободиться от них. Мы стремимся воплотить близкую нам чаадаевскую мысль о том, что журнал сам по себе может быть чисто литературным произведением, хорошо понимая — это недостижимый идеал. И все же мы имеем дерзновение работать.

История старейшего российского журнала «Октябрь» повторяет и отражает отечественную историю в XX веке. Интерпретацию семидесятипятилетнего пути журнала оставим историкам литературы. «Октябрь» продолжает регулярно выходить, а читатель остается строгим судьей, и это самая долгожданная зависимость. Литература, не защищающая человека от произвола мира, забывающая о своем изначальном назначении, — такая литература не будет нужна читателю, сколько бы средств и сил ни вкладывалось в ее мнимое присутствие. В каком бы состоянии ни пребывала живая литература — на подъеме или в упадке, во времена надежд или разочарований, — все это неизбежно отразится на страницах нашего журнала. И читатель будет продолжать очаровываться и разочаровываться современной литературой. Неизменным и для журнала, и для читателя останется ожидание. Ожидание произведений, чудесным образом преображающих действительность, не бегущих от нее, а возвращающих радость точным, единственно возможным художественным воплощением, от которого зло теряет свою власть над человеком.

**Анатолий АНАНЬЕВ**

*«Октябрь» каким-то замечательным образом отличается абсолютным отсутствием гнета тусовочных вкусов. Здесь все зависит от присутствия таланта и дарования — и ничто не зависит от принадлежности к тем или иным группам, салонам, литмодам, политобозам.*

*Это не левый и не правый журнал, а действительно независимый литературно-художественный и публицистический.*

*В расцвете наглости один «культуролог» выразил свое заветное: это стихи и прозу можно писать бесплатно, а за интеграцию в культурологическую концепцию надо платить, и платить круто. За раскрутку то есть. К счастью, «Октябрь» — журнал, не зависимый от такой «культурологической интеграции», иначе его авторы никогда не узнали бы свою истинную цену, которая есть твой отклик, драгоценный читатель, и твоя любовь, а не цена «раскрутки». Естественно, такая независимость раздражает и даже бесит кой-какие слабонервные перья. Но лично мне такая независимость — в самый раз, и только в этот журнал я отдаю все свои новые книги стихотворений, все свои «рассказы о чудесном», не распыляясь на другие издания. Такой «выбор места» для публикаций весьма способствует переводу моих сочинений в других странах, в чем я убедилась, недавно читая за рубежом свою лекцию «Выживание в России как форма искусства».*

*Благодарю за благородную независимость всех читателей и редакцию «Октября».*

## На случай отравления надеждой

\* \* \*

Встречаемся крайне редко, но чаще, чем мне бы хотелось.  
Я прохожу сквозь тебя — как мысли сквозь стену.  
В зале сегодня публика, которая приделалась  
за сумасшедшую цену.

То ли подъем упадка, то ли упадок подъема,  
наблюдается экзальтация сплоченных марионеток.  
Я не люблю звезденье, люблю я сиденье дома  
с кистью, пером и книгой в искрах моих пометок.

Раз в пятьдесят упали тиражи приличных журналов,  
потому что цена их выросла в пять и более тысяч раз,  
а вовсе не потому, что у новых писгенералов  
есть гениальные мысли о смерти читательских масс.

Вот ерунда какая в моих мозгах мелочится,  
а крупная публика жаждет лирического ожога,  
ей кажется, что поэзия — нечто вроде подохналога.  
А поэзия — это кредитная линия Господа Бога.

*Из цикла «Святые униженья»*

Тут я давеча клянчила работку,  
чтоб родимого спасти человека,  
прикупить ему скальпель с наркозом.

Обратилась к одному прохиндею,  
гуманисту в ранге министра,  
борцу за права чикотилы.

— Помоги мне найти заведение,  
где смогу я трудом заработать  
хоть какие-то деньги на больницу...

А глаза его, две оловяшки,  
стали сикать горячими слезами,  
потекла его речь вот такая:

— Ты очнись, оглянись, что творится!  
Президент еле кормит семейство!  
А уж я обнищал невозможно!

Тут приехала за ним вождевозка,  
и помчался он работать бесплатно,  
голодать на кремлевских приемах,  
делить нищету с президентом.

А я мигом нашла себе работку —  
подхватила я свой аккордеончик,  
в переходе за денежку запела,

в переходе, в подворотне, на крыше,  
ветром, ливнем, а также метелью,  
заработала на скальпель с наркозом.

Не могу же я работать бесплатно,  
голодать на кремлевских приемах  
да делить нищету с президентом.

1998

\* \* \*

Осенняя ночь дождлива,  
жидкие звезды кротки,  
на берегу залива  
цепь напрягают лодки.

Мокрый вбегаетмышь,  
выглядит он омегой.  
— Ну что? — говорит. — Не спишь?  
То-то же, больше бегай!

Свечу задуваю, в шторах  
бабочка засыпает,  
считая слонов, которых  
за шторами дождь купает.

На слонах поют украшения  
о том, что после крушения  
утопленники на рынках  
торгуют силой внушения.

1993

### *Покаяние*

Прости, страна, что я не пью вина,  
А также водки, коньяка и виски,  
Включая джин, бальзам, настойки на  
Увядших лютиках и писке пьяной киски.

Без пьянки — как на льдине эскимос,  
Не крепнет дружбы золотая жила,  
Мой русский муж и мой еврейский нос  
Без пьянки напрягают пассажира,—

Но после стопки, рюмки и ведра  
Настал бы час братанья и раздачи  
Заветных струн, и слезы вдоль бедра  
Лились бы вдохновенно в пьяном плаче.

Прости меня, отчизна и народ,  
А также цвет культуры и науки,  
За то, что я в семье такой урод  
И воду пью, под кран подставя руки.

1992

### *Восточный диван*

Шла Пульхерия из бани,  
С хреном квас она пила,  
Отдыхая на диване,  
Где черемуха цвела.

Шел диван из ресторана,  
Свежим воздухом дышал,—  
Отдыхая у фонтана,  
Всем дорогу украшал,

На нем прыгали, лежали  
И визжали просто так,  
И от радости дрожали  
В нем пружины и чердак!

И Пульхерия сказала,  
Допивая с хреном квас,  
Доедая с хлебом сало  
И почесывая глаз:

— Отчего-то не хочется мне здесь ничего-то,  
Ни Пиночета, ни Хасимото.

1998



### *На случай отравления надеждой*

Все, что действительность показывает мне  
В победный час моральных идиотов,  
Овидий видел, сидя на гумне,  
Свое изгнание честно заработав.  
Он милосердия ждал, возврата в Рим,  
Амнистии, пощады, горько плакал,  
Он варварами был боговорим,  
Но всей душой болел, и с болью какал,  
И отравлял надеждою пустой  
Свои сосуды, пузыри и печень,  
Не ведая, что яд надежды той  
Его убьет — и какать будет нечем.  
Уж лучше, рвотным перышком снабдись,  
Вести себя, как истинный патриций,  
И вытошнить всю гадость, горечь, грязь,  
Чем замечательной надеждой отравиться.

1998

### **НАПОЛЕОН И ДРУГИЕ**

Многие дамы и господа, кавалеры и барышни гадают на картах, на кофейной гуще, на бобах, на воске, на горящей бумаге, на кошачьей шерсти, на козьем пухе, на горелых спичках... А также вертят столы и блюда, вызывая полчища духов знаменитых покойников.

Когда я была студенткой и жила в общежитии, однажды у меня за стеной в три часа новогодней ночи вызвали дух Наполеона. Он жутко ругался матом, украл зажигалку и предсказал беременность стихописцу мужеского пола.

Первый вопрос был такой:

— Стану ли я богатым и знаменитым?

Наполеон ответил:

— Беременность.

Но стихописец как ни в чем не бывало задал второй вопрос:

— А меня напечатают в «Литгазете»?

Наполеон ответил:

— Беременность.

Третий вопрос:

— Издам ли я двадцать книг?

Наполеон ответил:

— Беременность.

И буквально через трое суток предсказанье сбылось. Из «Литгазеты» пришло такое письмо:

«Уважаемый товарищ! К сожалению, Вы еще только беременны поэзией, но этого недостаточно. У Вас чувствуется отдельная неподдельная искренность и встречаются отдельные теплые детали и свежие места с находками. Но беременны поэзией многие, а рождаются настоящие стихи только у самобытных самородков и только от беззаветной любви к жизни народа, ко всему человечеству и к очень упорному писательскому труду. Советуем Вам для работы над собой читать Пушкина, Маяковского, Грибачева, Долматовского, Исаковского, Твардовского, Симонова, Щипачева и других современных поэтов и классиков. С приветом!»

Так в новогоднюю ночь дух Бонапарта с точностью абсолютной предсказал гражданину беременность, а «Литгазета» ее подтвердила. И через малую длительность тот, кто был еще только беремен поэзией, нарожал и выпустил в свет двадцать книг, а потом еще десять.

Нет никаких сомнений, что вызванный дух принадлежал исключительно Наполеону, а не какому-то наглому самозванцу, который морочит голову подлыми шутками. Ведь самое скверное дело, когда по вызову ночью является фальшивый дух и отвечает на ваши вопросы оскорбительными намеками, выкрутасами дьявольскими!..

Например, одна искрометная личность вызывает дух Марины Ивановны Цветаевой и спрашивает у нее так скромно:

— Марина Ивановна, получу ли я в этом году Нобелевскую премию?

А дух отвечает:

— Был мой отец шестипалым.

Ну бред какой-то!.. Что бы это могло значить — «был мой отец шестипалым»?.. Друзья, за столом сидящие, все они в жуткой растерянности, в самых кошмарных догадках.

Тогда эта личность для окончательной ясности вызывает решительно дух Осипа Эмильевича Мандельштама и задает ему тот же вопрос:

— Осип Эмильевич, получу ли я в этом году наконец Нобелевскую премию?

А дух опять же в ответ:

— Был мой отец шестипалым.

Такое вот издевательство. В извращенной форме. Ну прямо черт знает что там творится в диспетчерской духов по вызову!..

И только две недели спустя, а точнее — 13 дней, обзвонив кучу знакомых, умельцев разгадывать вещие сны и духовы козни, эта личность внезапно узнала, что ее и впрямь обманули, надули, умыли, а вместо духов Цветаевой и Мандельштама прислали по вызову половину строки из «Дактилей» Ходасевича:

Был мой отец шестипалым. А сын? Ни смиренного сердца,  
Ни многодетной семьи, ни шестипалой руки  
Не унаследовал он. Как игрок на неверную карту,  
Ставит на слово, на звук — душу свою и судьбу...  
Ныне, в январскую ночь, во хмелю, шестипалым размером  
И шестипалой строфой сын поминает отца.

Потом вопроситель духов долго лечился. Такое не лечится быстро. Духовые оркестры предупреждают, что вызывать и тревожить духов — опасно для нашего здоровья, поскольку дело это — богопротивное. Представьте себе, каким путем и откуда по вашему вызову является дух отвечать на дурацкие ваши вопросы, потом ему предстоит возвращаться, а на обратном пути много бывает жуткостей, и все они — ваши!..

Однако для человек с неслабым воображением есть у меня фейская записка с прелестным гаданием. На толстую большую тарелку кладем смятый как следует ворох газетных страниц, поджигаем спичкой, гасим свет. Если от пламени тень на стене вдруг похожа на что-нибудь совсем нехорошее — пустяки, на то и сила воображения, чтобы это совсем нехорошее превратить во что-то совсем неплохое. Ближних любя, это сумеет каждый.

У нас такие тут почвы и климаты, такая высокая катаклизменность коммунизменности с капитализменностью, что быстро все неплохое превращается во все нехорошее. Погода такая. Какая? А вот такая, превратительная. Живу превратительно, характер мой — превратительный, превращаю совсем нехорошее в не совсем плохое, поскольку в наших краях, когда не совсем плохо, это уже — совсем хорошо, это уже — прекрасно, это великолепно, это уже — благодать!

### МОРДА ДЛЯ СТЕРЛЯДИ

Один намордник на сто мордэй, золото утекает, а дно остается, ловят мордой редкую рыбку стерлядь. Рыболовная морда, она еще вершей зовется,— очень удобное, остроумное приспособление, плетенка из прутьев с двойной воронкой.

Заводят морду на самое дно, и лежит она тихо, не скулит, не чирикает. Стерлядь в морду идет и сперва заплывает в ту плетеную воронку с дыркой. А дырка рассчитана на проскок только одной рыбины. Друг за другом они в эту дырку проскакивают и напрямик попадают в другую воронку, глубокую, длинную, и далее пропускает она только воду, а рыбу ни в коем случае.

Поутру в этой морде колотится большой коллектив, десятка два или три стерлядей. Какая-то сила передовая несет их вперед и вперед, а в этом «вперёде» — тупик, днище ворончатой морды, гибель по дурости. Проще простого — выплыть, спастись из того мордодыра. Только назад поворачивай, только выскакивай в дырку, сквозь которую вплыл. Но — только поодиночке! Ведь дырка в морде придумана как раз для проплыва одной рыбины.

Так нет же! Рвутся они вперед, а в лучшем случае пытаются влезть в эту дырку всем скопом, всем косяком. И тут им — погибель мордатая, никакого спасения, ни малейшей надежды. Но кто ж это видит и знает, в морде бабахтаясь?

Живую, сильную стерлядь из морды вытряхивают на днище плавучей посуды, и дивная Божья тварь становится пищей, мордой об стол разделочный, становится блюдом, отрадой желудка, но прежде всего — добычей смекалистого устройства, дешевого и безотказного изделия, которое тихо лежит на дне, кирпича не просит и называется мордой. О ней-то как раз, о ней, ни о какой другой, сочинилась в рыбацких кругах пословица: «Влез, что в морду, ни взад, ни вперед». Состояние рыбьего общества, заплывшего в дырку морды,— вполне человеческий случай.

Говорят, что у стерляди в морде наблюдается эйфория, небывалый расцвет самых дерзких идей и открытий, оптимизация происходящего, а также прилив надежды на то, что можно утечь с водой, которая протекает сквозь прутья морды.

Но даже рыбу нельзя превратить в то, что мы о ней думаем.



## Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ

*Журнал «Октябрь» — для меня милый, родной дом, в который когда ни придешь — всегда рады.*

# Л а б и р и н т

РАССКАЗЫ

### НЕЗРЕЛЫЕ ЯГОДЫ КРЫЖОВНИКА

**М**ама привезла девочку в санаторий для ослабленных детей и оставила там.

Это была осень, и дом, двухэтажный, бревенчатый, с галереями вдоль спален на втором этаже, стоял на берегу большого пруда, как многие барские усадьбы.

Вокруг простирался осенний парк с аллеями, полянами и домами, и запах палой листвы пьянил после городской гари — деревья стояли именно в золотом и медном уборе под густо-синими небесами.

В спальне девочек оказался рояль, неожиданное сокровище, и те счастливицы, которые умели играть, играли, а те несчастные, которые не умели, старались научиться.

Девочка эта была я, двенадцатилетнее существо, и я буквально заставляла умеющую играть Бетти учить меня. В конце концов удалось вызубрить песенку «Едут леди на велосипеде», левая пятерня болтается между двумя клавишами, отстоящими друг от друга как раз на расстоянии растопыренных пальцев — большого и мизинца (между до и соль), а правая под это ритмичное бултыханье (до-соль, до-соль) выделяет мелодию, блеск.

Рояль было первое, на что мы кинулись в дортуаре.

Девочка-то попала именно в барскую усадьбу с колоннами, с высокими потолками, дортуар был устроен в зале.

Кажется, после революции это имение было передано детям рабочих, туберкулезным детям рабочих, но к тому моменту, когда девочка выросла до пятого класса, уже все давно смешалось и все дети были детьми рабочих, одинаково жили в коммуналках, ездили в битком набитом городском транспорте и ели в столовых, где не хватало мест, так что полагалось выстаивать очередь к каждому стулу, на котором сидел едок. Очереди шли перекрестком от любого стола, четыре луча от четырех стульев, и сплетались между собой, голодные очереди, следящие за каждой ложкой, отправляемой в пасть сидящих как баре и не торопящихся никуда едоков, дорвавшихся наконец до сиденья. Все были рабочие, все стояли в очередях за хлебом, картошкой, за ботинками, штанами и очень редко за чем-то редкостным типа пальто.

И в квартире надо было ждать под дверью то ли уборной, то ли ванной, и на остановке надо было ждать, причем в толпе, и не обязательно передние первыми врываются в пришедший транспорт, иногда задние оказывались сильней и шли по ногам, лишая слабых, пришедших раньше, того малого преимущества, которое давала справедливая очередь.

Очередь — воплощенная справедливость, и очередь дошла и до девочки, которую мама записала в туберкулезном диспансере на путевку в лесную школу (так назывался санаторий).

И вот, покинув задымленные московские улицы, свою районную школу, сверкающую чистотой, и постоянное ложе сна, находившееся на матрасе на полу под столом, девочка в сопровождении мамы поехала на электричке с чемоданом в лесную школу, где спальня с роялем называлась «дортуар», где в столовой была целая колоннада по бокам и хоры наверху (бальный зал).

Я не берусь описывать, какова была та девочка двенадцати лет чисто внешне. Как известно, внешность многое показывает, но не все, внешность может показать, например, как человек ест, ходит, говорит и что он говорит, как отвечает учителю или как бегаёт в парке, но нельзя никому дать знать, как протекает жизнь внутренняя, никто и догадаться не в силах и судит о человеке по пустым внешним проявлениям. Например, и у преступника идет постоянный внутренний разговор с самим собой, оправдательный разговор, и если бы кто слышал этот разговор, если бы! И у заурядной, обычной девочки двенадцати лет этот разговор шел непрерывно, все время надо было решать, что делать, буквально каждую минуту — как и что кому ответить, где встать, куда идти, как реагировать. Все с одной очень важной целью, чтобы спастись, чтобы не били, не дразнили, не вытесняли.

Сил у ребенка двенадцати лет не хватает, чтобы справиться со своей буйной натурой, чтобы следить за собой и быть образцом поведения, аккуратности и молчаливости. Сил не хватает, и ребенок буйствует, бегаёт, кричит, чулки рвутся, ботинки мокрые от этой беготни по уже сырому осеннему парку, рот не закрывается, крик исходит из грудной клетки, потому что идет игра в колдунчики или в казаки-разбойники. И в школе тоже на переменках беготня по коридорам, волосы трепанные, из носу течет, то и дело драки, красота!

Ребенок, оставшийся без матери, должен сам следить за собой — не терять хотя бы вещи, начнем с этого, чтобы было в чем пойти через парк в школу, а не то что один чулок на месте, а другой ищи-свищи по всему дортуару. Исчезают первыми носовые платочки, варежка (правая), шарф, долго ищется шапка, а про карандаши, линейку и ластик нечего и говорить, их нет. Нет вскоре ни у кого в классе.

У девочки даже возникает план написать сказку о той стране потерянных вещей, куда исчезают все расчески (да, еще и расческа потерялась), ленточки из кос, заколки, ручка с пером, все карандаши и т. д. Из этой страны нет возврата, такая будет сказка.

И вот девочка, порастерявшая все свои мелочи, не может жить без карандаша, ластика и линейки, без расчески, лент и заколок и пишет маме письмо, дорогая мамочка, как ты поживаешь, я живу хорошо, привези мне — и целый список.

Так ребенок, как Робинзон Крузо, должен обеспечивать себя необходимым, в хозяйстве все время прорехи: калоша пропала. Калоша — серьезная вещь, без нее не пройдешь в учебный корпус по сырой аллее среди луж по глине, не прорвешься и в столовую, не пустят. Воспитательница Галина Ивановна пока дает большую калошу, и, хлопая и волоча подошву, девочка ходит позади всего класса как отщепенец, грешная душа, в разных калошах. Пока мама не привезет новую пару.

Я была средняя по красоте девочка, а тут еще эта здоровенная хлопающая кастрюля, в которой приходилось скользить по глине две недели, туда-сюда, в школьный, спальный и столовый корпуса.

А мне очень важно было выглядеть по-человечески, девочка двенадцати лет, шутка ли! В старшем, шестом, классе, был маленький Толик, ровесник по возрасту и ниже на полголовы, необыкновенной красоты. Жгучие черные глаза, маленький нос, веснушки на переносице, ресницы лохматые, вообще очи, как звезды, и все время улыбался — лукаво, как соблазнитель.

Девочка-то была для него высока, но очарование этого юного Гермеса, бога воров, распределялось строго равномерно на всех. Он излучал свою энергию

как маленький реактор, бессмысленно, без адреса, на сто метров вокруг. Больше всего Толик был похож на бесенка с золотым лицом, сияние сопровождало его повсюду, а также его вечно окружали мальчишки из класса, он всегда был в центре, опасный как острая стрела, обжигающий все глаза. Достаточно сказать, что когда он появлялся в столовой, то та часть зала, где стоял его стол, озарялась каким-то светом, девочке становилось необыкновенно весело, Толик пришел, его глаза укрупнились как под увеличительным стеклом, они внимательно обшаривали свое царство, где Толик был королевичем, все головы поворачивались к нему как подсолнухи к солнцу, или это только казалось высокой девочке двенадцати лет, девочке об одной калоше, которая волокла вторую, чужую калошу по аллее как кандалник, регулярно туда и обратно, на завтрак, на уроки, на обед, в дортуйар, на полдник и так далее. Улитка, скользящая на одной подошве,— вот кто такая была эта девочка, которая получила колючку в самое сердце, в сердце, вокруг которого росла припухлость размером с крупную ягоду крыжовника.

У всех, у всего детского санатория, у мальчиков и девочек старших, пятых-шестых классов, росли эти припухлости, и однажды в вестибюле главного дома, где располагалась столовая, в высоких дверях, когда я снимала вторую, нормальную, калошу, мне явился светлый луч Толик, он вошел, и на него тут же налетел какой-то дружок и толкнул его нечаянно в грудь руками.

— У-ю-юй! — завопил Толик дурашливо и томно.— Уя! Больно же грудь, дурак!

Он держал ладошку над левым соском. На лице его сияла бесовская улыбка.

«У него тоже, у него тоже болит грудь! — крикнула про себя девочка. — Надо же! Не у девочек одних! Не у меня одной!»

Он явно обратил на меня внимание, что выразилось в том, что луч его внимания уперся в мои глаза. Я, видимо, смотрела на Толика, и мысль явно читалась в этих моих глазах, какая-то важная мысль, и Купидон хотел прочесть эту мысль и уже истолковал ее в свою пользу. Но налетевшие мальчишки мигом повлекли своего кумира в столовую. Так впервые наши глаза встретились.

Мысль же моя попросту читалась так: «Неужели же и у НИХ тоже набухла грудь и болит?»

То, что Толик страдает, привело меня в экстаз. Оказывается, он прост, как я! Такой же организм! Проходит ту же самую стадию! Мы вроде головастиков!

Девочка тронулась в столовую как замороженная, причем когда вся школа уже обедала (приходилось волочься с этой калошей далеко позади всех).

Коллектив не любит, когда кто-то ведет себя изолированно, не так, опаздывает, не так одет. Коллектив — а девочка воспитывалась в коллективах с детского садика — карает сурово. Он издевается, молотит по голове, щипает, подставляет подножку, отнимает что только можно у слабых, дразнит. Бьет прямо в нос кулаком, вызывая кровянку. Дико смеется при виде большой калоши. Крадет все (страна потерянных вещей!).

С коллективом, стоглазой гидрой, надо быть осторожной, имеется много приемов, как избежать ловушек. Надо не доверять никому своих мыслей. Если кто узнает твои мысли, конец, сразу расскажет другим. Все будут смеяться за спиной.

Нельзя было даже есть тайком свою посылочку из дома, каменистые пряники. Жадина-говядина! (Другие не жадины.)

Навсегда отбили чувство собственности. Все отдай!

Летом, в пионерском лагере, бывало даже хуже, никто из взрослых не следил за драками. Накормить бы всех, уложить бы и поднять — вот закон многодетности, о деталях не пекутся.

В лесной же школе классы были небольшие, детей не много. Парк, колонны, роаяли и обособленность туберкулеза делали воспитателей вниматель-

ными к детям. Воспитатели тоже были из числа безопасных больных. Многие ходили в корсетах из-за костного туберкулеза. Многие и были поэтому учителями здесь, вдали от людей, на свежем воздухе. Странные, умные, необычные педагоги, ушедшие от мира в этот парк, во дворцы с колоннами, в область хрустального неба, тьмы по вечерам, редких огоньков сквозь стволы высоких деревьев.

Из-за калоши произошла беда, девочка стала изгоем, последней в классе. Она шаркала позади всех девочек, специально отставала, над ней откровенно смеялись.

В конце второй недели, в октябрьскую ночь, когда отряд после ужина тянулся по парку в дортуары, девочка совсем отстала от девочек, шмыгала калосей далеко сзади, а там уже шли мальчики — и без воспитательницы.

Девочка оказалась среди мальчиков.

Как волки инстинктивно отрезают дорогу живому существу, стягиваются в узел вокруг жертвы, так и они вдруг остановились перед девочкой в густых зарослях на тропинке, преградили путь, тени, неразличимые в темноте.

Девочка оглянулась и увидела, что и задние, как бы движимые некоей догадкой, подтянулись поближе и затормозили, пододвигаясь медленно.

Как будто они все были охвачены одним чувством, групповым соображением охотников, которое делает всех единым организмом, сбивает в кучу над одним трупом.

Эта краткая мгновенная догадка, азартная, недалекая, не глядящая вперед, не раздумывающая о будущем. Сейчас есть цель, она движется, ее надо остановить, схватить. Все догадались об одном.

Что было в их двенадцатилетних головах, в их пустых еще сердцах, в их незрелых организмах, в их неспелых ягодах крыжовника вокруг сосков — одно: чувство коллективного гона, схватить!

Девочка стояла во тьме деревьев, в кольце, в центре небольшой опушки. Вдали, очень далеко, на краю поля, были огни спального корпуса, там еще мелькали фигурки уходящих девочек. Благополучные, в полной безопасности.

Я закричала им. Я издала дикий вопль. Я кричала как труба, как сирена. Это был визг ужаса, непрерывный, хотя слезы заливали глотку.

Мальчики, те, что были впереди, приближались, посмеиваясь. Были видны их глупо улыбающиеся лица. Они топырили руки, готовясь схватить.

Я стояла на месте и посылала свой крик девочкам.

Я видела, что далекие фигурки девочек стали оглядываться и побежали прочь.

Мальчики сходились. Потом — всю жизнь — я узнавала эту маску бессмысленной, каверзной, поганой улыбки, невольной ухмылки исподтишка, для себя, когда никто не видит.

Их пальцы шевелились. Возможно, в этот момент их ягоды крыжовника надулись.

Я визжала еще громче. Я готовилась дорого продать свою жизнь.

Что они могли сделать со мной?

Деловито, как гурьба хирургов, руководствуясь чувством необходимости или единым инстинктом при виде жертвы, они в конечном итоге должны были ее разорвать на части буквально руками и закопать остатки, так как потом надо было скрыть результат охоты. Перед тем проделавши все, что можно проделать с попавшим в собственность живым человеком. Что называется словом «глумление».

Пока же их желанием было заткнуть мне рот чем угодно.

Но: что-то их все же остановило на расстоянии двух метров. Кольцо больше не сужалось. Они ждали. Я рванулась и, дико визжа, помчалась сквозь их круг на волю, в поле.

Калошу я потеряла, неслась, как вихрь, и догнала последнюю из девочек еще у дверей корпуса.

Она шла, тоже улыбаясь той же поганой улыбкой, когда ей пришлось обернуться на мой топот. Я ворвалась в дом, зареванная, в соплях, но никто ничего не спросил, почему я так орала. Им было это откуда-то понятно, они тоже произошли от темных времен пещер, каждая была потомком такой ловли и охоты. Дети понимают жизнь и легко принимают ее простые правила. Они готовы именно к пещерному существованию. Они портятся страшно быстро, возвращаясь к тому, древнему способу жизни, с сидением кучей перед очагом, с коллективной едой всем поровну, вожакам больше, последним и слабым меньше или ничего. С общими самками. Без постели, без посуды, есть руками, спать на чем стоишь, курить вместе, пить тоже, выть вместе, не брезговать другими, их слюной, выделениями и кровью, носить одинаковую одежду.

В тот вечер все девочки молчали, никто ничего мне не говорил. Как будто произошла какая-то важная, нужная всем вещь, воцарилась справедливость, все утолены.

Они же не знали еще, что я вырвалась.

Что было бы, если бы круг сомкнулся над девочкой, если бы она осталась лежать там, под деревьями? Сбились бы в кучу? Глядели бы жадно? Были бы готовы сожрать глазами труп?

Что было бы, если бы она вернулась живой, но истоптанной, растерзанной общей добычей? Для таких случаев существует слово «опущенный». Все знают из древних времен, что опущенного можно использовать как угодно, можно бить вволю, можно хоть есть ложкой, издеваться, и каждый вокруг может заставить его делать что хочешь.

Это называлось в те времена «не давать проходу».

В городе, в дворе были такие дети, которым не давали проходу, как бы имея на это право, все окрестные ребята.

Им вечно загораживали путь, прищемляли, прижимали к стене на глазах у всех, преследовали по двое, по трое. При виде их смеялись и охотно бросались навстречу.

У преследуемых был вид равнодушной, терпеливой, странно улыбающейся твари.

Спасти их могли только взрослые, но где их взять на все время, на всех дорогах?

На следующий день все было как раньше, не хуже и не лучше. Калошу я нашла по дороге в столовую, вставила в нее грязный ботинок и зашмыгала с утренней скоростью, стараясь не отстать. Мальчики вели себя как обычно, не упуская возможности дать по шее, дернуть за косу, подставить ножку.

Девочки исподволь следили и ничего не обнаружили.

Если бы мальчишки смеялись, гоготали, если бы они встретили меня особенно, тогда бы все было понятно.

Но по каким-то признакам девочки поняли, что я вырвалась.

Все вернулось на свои места. Только один человек во всем санатории почувал все случившееся со мной, ему как-то косвенно донесли, видимо. Это был самый развитый среди детей, самый вооруженный для охоты — Толик.

Он стал загораживать мне дорогу, причем Толик никогда не ходил один, с ним постоянно было двое-трое дружков.

Он загораживал мне дорогу, шаря своими лучистыми, черными, роскошными глазами по моему лицу, по туловищу, по ногам. Он глуповато улыбался, и его телохранители, стоявшие всегда на расстоянии, охраняли территорию мрачно. Им было не до улыбок. Не они охотились.

Так прожектора шарят в ночном небе, выискивая нарушение.

Я всегда уходила невредимой, научилась пользоваться взрослыми, любой лазейкой.



Сердце мое страшно билось, когда я обнаруживала впереди засаду.

Это не было то, что называют «он за ней бегаёт».

Это было что-то другое.

Девочки ничего не могли понять и пожимали плечами.

Одна я знала, что Толик преследует меня, намекая на некий мой позор.

Хотя в классе девочку постепенно перестали трогать. Она как будто отстояла себя могучей глоткой и несгибаемостью. У девочки, как оказалось, был талант страшно кричать, у нее был сильный, необычный голос, от низкого воя до высокого визга. И этот талант проявился в нужный момент.

Это был, видимо, талант кошки, которая, прежде чем вступить в драку, меряется силой вопля.

Кроме того, я была сильно взбудоражена и получала любой ценой одни пятерки.

Тут ведь был не пионерский лагерь, тут была лесная школа, и ребенка мерили не только способностью быстро встать и вовремя прийти.

Пятерку нельзя было вышибить ударом, над пятеркой нелегко было издеваться, над сочинением, которое было прочитано учительницей в качестве образца, не очень-то посмеешься за спиной.

Двойка же, особенно по математике, влечет к плевку на пол, к буйству, прогулкам вне школы, страх перед контрольной ведет к восстанию, невозможность понять дробь — к тюрьме.

В условиях своего московского детства, в этих очередях к стулу в диетической столовой (мама вечно на работе и купила талоны на обеды), в коммуналке на общей кухне, девочка не нуждалась в пятерках, будучи защищена любящей матерью.

Здесь, в одиночестве, одна среди чужого объединившегося племени, девочка защитила себя, написав сочинение об осени. Горя, как в лихорадке, она нагромодила описание на описание, хрусталь на багрец, золото на ниспадающие каскады, бирюзу на резьбу, кристаллы на кораллы, и удивленная, даже пораженная учительница по русскому, красавица в хрустящем кожей корсете (костный туберкулез), дала прочесть мое сочинение всем учителям и потом прочла его вслух в классе.

В этом классе, который чуть меня не растоптал.

Дальше больше: я написала стихи. К празднику Конституции в стенгазету. Не те настоящие стихи, над которыми смеются и которые рвутся самым беспощадным образом из ослабевшего человека, как бурное извержение болезни. Я написала стихи, не подвластные насмешке. Стихи, за которыми неминуемо следовало всеобщее уважение. Мы советский народ, мы сегодня сильны — и стоим мы за мир во всем мире. Три куплета.

— Сама сочинила? — спросила, хрустнув корсетом и улыбаясь, красавица учительница. Низкое зимнее солнце било в огромное окно, создавая вокруг ее темной головы, обернутой косами, светлый контур, сияние легких вьющихся волос.

Я, таким образом, твердо встала на ту дорогу, где никто не мог преградить мне путь. Мама прислала мне валенки с калошами.

Ночами я уходила в ярко освещенный туалет и, стоя у подоконника, заканчивала уроки, решала задачки и учила правила «жи-ши пиши через и».

— Жо-шо пиши через о! — смеялись мальчишки-двоечники, пусть.

Я пела своим сильным новым голосом, запевала в хоре. Меня поставили танцевать с девочками танец «Молдовеняска», мы кружились, притопывали, мчались, скрестивши руки попарно.

Санаторий готовился к Новому году.

После Нового года нас отпускали восвояси, конец.

И я больше не увижу своего мучителя, моего божка Толика.

Толик, Толик, бредила я, какое-то имя, как топленое молоко, сладкое, теплое.

Глаза твои как звезды.  
Как звезды веснушки твои.  
Голос твой как хрусталь.

Светит надо мной лицо твое, твои черные кудри, твой наглый и томный взор.

Толик буквально загонял меня каждый раз в угол, нахально и отчетливо произнося какие-то дикие слова, причем смеялся. Причем намного ниже меня будучи. Но крепенький, прямой, как стрела, с высоко поднятой головой.

Не пухлый младенец Амур, не женственный Аполлон — а резкий, выгнутый, напряженный туберкулезный мальчик. Точно нацеленный. Знающий свои права.

Я пряталась от него. Я всюду его встречала, как наваждение. Я тосковала без него, а увидевши, получала толчок в грудь, как от удара ветра.

Все давно все видели и уже не удивлялись, застав эту странную парочку: высокую девочку, прижавшуюся к стене, и маленького мальчика, который стоял, опершись ладонями о ту же стенку точно по бокам девочки, и что-то вкрадчиво повторял.

В Толика, как мне казалось, были влюблены все.

Его маленький рост как раз придавал ему царственность, поскольку его слуги и оруженосцы все были выше его, вся свита.

Он шел посреди них как провал, как зияние. Как пустота, все расступались, и он шел один в этом пространстве.

Мои сны были полны его лицом.

Когда началась эта подготовка к празднику, девочка была как в лихорадке, репетировали то одно, то другое, и неудержимо наваливалась последняя дата, двадцать восьмое декабря.

К концу девочка нашла место где плакать, — в раздевалке, прижавшись к чужим пальто.

Я знала, что больше никогда в жизни не увижу Толика.

Девочка двенадцати лет с двумя плодами крыжовника в груди. Отличница неизвестно какой наружности, но все в порядке, валенки с калошами, расческу тоже мама прислала, ленты, заколки. При этом плакала заранее о своей будущей жизни, которая вся пройдет без бога Толика. Девочка одевалась и, надевши новые валенки с калошами, брела вон из дортуара в заснеженный парк, на ледяное шоссе в солнечный день встречать свою маму — ибо это уже был день отъезда, праздник миновал.

Девочка оглядывалась на волшебный замок, где последние часы царствовал Толик, и плакала под бледно-бирюзовым небом среди резьбы зимы, под каскадами хрусталей, которые ниспадали с деревьев, поскольку ветер дул ледяной и все замерзло, в том числе и слезы. Под чашей неба бриллианты снегов.

Уже прошел Новый год, я пела перед хором как солистка, затем танцевала дикий цыганский танец «Молдовеняска» с бусами и в пестрой юбке, топала в тапочках с белыми носочками с такой же подружкой, и мы неслись, сцепившись руками, в вихре музыки посреди бального зала. Все для тебя.

Надо сказать, что Толик тоже пел под рояль, у него оказался чистый, сильный, высокий голос, рродина слышит... Рродина знает... Как в облаках ее сын пролетает...

Тут ему было не до глумления, он старался. Он волновался. Он дал слаби-ну, как каждый зависимый артист. Его приветствовали как-то странно, хлопали удивленно. Царь не может хлопотать об аплодисментах!

Потом был ужин и, самое главное, танцы. Венгерка, падекатр, падеспань (девочка Надя, чего тебе надо), падепатинер, я стояла в толпе, и Толик стоял, уже пришедший в себя, озорник, смеялся со своим вечным патрулем. Смеялся надо мной.

Объявили дамский танец.

Я тронулась с места и пошла к нему.

Это был падекатр, старинный менуэт с приседаниями.

Я его не видела.

Мы взялись за руки ледяными пальцами и деревянно прошли весь танец, приседали, он кружил меня за поднятую руку, слегка приподнявшись на цыпочки.

Это было начало пятидесятых годов, детей учили чинным танцам Смольного института благородных девиц.

Чинный Толик замер, не смеялся, было не до шуток, дело зашло слишком далеко, все его насмешки подтвердились. Скрывать мне уже было нечего. Я плакала, текли слезы.

Толик уважал меня, мое состояние, и даже проводил до какой-то колонны, а потом вернулся к своим.

Я ушла в дортуар и плакала до прихода девочек.

В наших отношениях с Толиком наступил новый, открытый период, с которым он уже не мог знать что делать, не то что перед тем, когда он легко и просто стоял передо мной, вжавшейся в стенку, и цинично повторял: «Ну что, черт влюбленный? Ну что, черт влюбленный?»

Мама приехала поздно, мы с ней побрели под черным небом по белой дороге на станцию с чемоданом, огни дортуара сопровождали наш бедный поход. Мама всегда забирала меня последней. Все уже уехали. Как и когда увезли Толика, я не знала.

Больше я не видела его никогда.

Но я его потом услышала, его голосок.

Он начал мне звонить уже в Москве.

Меня позвала к телефону Юлиника, жившая в соседней комнате, дочь моего деда от второго брака. Студентка ВГИКа, художница.

— Тебя, — как обычно вытаращившись, сказала она. — Какой-то парень.

— Какой парень, ты что! — забормотала я, двинувшись в прихожую. — Але!

— Это Толик, Толик говорит, узнаешь? — пропел стальной голос. — Привет.

— А, привет, Ленка, — значительно сказала я, глядя на Юлинику. В прихожую вышла и моя мама. — Ленка Митяева, — сказала я маме.

Отворил свою дверь и холостяк дядя Миша Шиллинг, рентгенолог поликлиники КГБ, высунул на скопление народа. Ничего не понял, но дверь оставил открытой.

Якобы они все ждали, когда освободится телефон.

Мой любимый дядя Миша даже отслонил свою черную, как в рентгеновском кабинете, портьеру и стоял в голубом егерском теплом белье среди портьер, как принц в драпировках.

— Это Толик тебе звонит, — звенел комариный голос.

— Привет, привет, — ответила я.

Как будто бы магнит содержался в этой черной эбонитовой трубке, всех стянуло в прихожую. Не хватало семейства Калиновских-Старковских, затем второй из жен моего деда, а также самого деда, курившего «Беломор» в кровати, и истопницы тети Кати.

— А, Ленка? Нет, Ленка. Не получится у меня. Не могу, — лепетала я. И общала маме, зажав трубку: — Они в кино идут.

— Новости! Поздно! — эхом откликнулась мама, а дядя Миша и Юлиника чего-то ждали.

На глазах у родни и соседей я разговаривала с самой великой тайной моей жизни!

— А зачем, Ленка? — тускло спрашивала я в какой раз, ибо Толик своим хрустально-стальным голосом приглашал меня прийти к кинотеатру «Повторный».

Я готова была упасть в обморок от слабости.

— Ленка, зачем? — говорила я, мысленно заваливаясь.

Тот, кто покинул меня навеки, тот исчезнувший мир каскадов и резьбы по бронзе, мир счастья, подвигов, чудесных спасений и великой любви, — тот мир не мог существовать в условиях Москвы, в коммуналке, среди соседей, в нашей комнате, заставленной книжными шкафами, в которых подло прятались клопы, а спать можно было только на полу под столом.

Хрустали и бирюза, Рродина слышит, падекатр, мой плач, ледяные пальцы — все ушло, исчезло, все осталось там, в раю, тут другое дело. Тут я пятиклассница с хроническим ринитом (сопли) и в ежедневно рвущихся коричневых чулках.

Толик, ангел, королевич, маленький принц, не мог стоять в мороз, во тьме в автомате у грязного кинотеатра «Повторный».

Вся душа моя, однако, ныла и болела, со мной говорил любимый, потерянный навсегда.

Толик постарался узнать мой номер телефона и теперь сам приглашал меня на танец, неизвестно какой.

Я не верила своему счастью, я не понимала, что это счастье, и нудно повторяла всякую чушь для внимательных слушателей: мамы, Юлиники и дяди Миши.

Они давно уже все поняли и с интересом отнеслись к моей партизанской легенде.

— Не, Ленка, не выйдет. Мама не отпустит, да, ма?

Мама кивала, потупившись.

Я не верила Толику ни на грош и правильно делала, ибо он кому-то начал сдавленно говорить «да кончай ты», а кто-то приглушенно хохотнул, грубо и нетерпеливо.

Вокруг меня сужалось кольцо глупо улыбающихся, напряженных морд.

Но я была далеко от них.

— Тут надо соседям телефон, — сказала я равнодушно (ком в горле) и положила трубку, вежливо сказав: — Пока, Ленка.

Толик еще несколько раз звонил, приглашал в кино и на каток, а я все бормотала: «Зачем это, Ленка».

— Зачем-зачем, — отвечал, посмеиваясь, наглый мальчик Толик.

Ясно, что Толик, гений, вундеркинд, нашел применение чужой несчастной любви, догадался, как ее употребить в дело, но круг улыбающихся животной улыбкой лиц, круг приготовленных для удушения пальцев не сомкнулся над девочкой, остался там, в лесу, там, в заколдованном царстве незрелых ягод крыжовника.

### **К ПРЕКРАСНОМУ ГОРОДУ**

Они потом еще раз приходили к нему, обе живые, мать с дочерью, опять к закрытию буфета, опять дочь ела как в последний раз в жизни, семилетнее пугалко, криво-косо одетое, зовут Вика, Виктория, ни много ни мало. Победа. Мать зовут Анастасия, тоже со значением, русская убитая царевна. Обе с одним отчеством, Гербертовны. Мать опять не ела ничего, выпила крепкого чаю, макароны поковыряла. Мать выглядела бледно, слабо, двадцать три года, дочери семь, внимание. Вахтерша отметила данный факт и потом расспрашивала Алексея Петровича, кто это эти две девочки, мать и дочь, надо же. Алексей Петрович им кем? Знакомые, то есть Алексей Петрович долго не стал объяснять, дети знакомой, которая умерла. Умерла! Знать, была молодая? Тридцать восемь лет. Молодая! — со вкусом сказала вахтерша и отпустила, а Алексей Петрович возвращался, как раз посадив на троллейбус своих подопечных Гербертовок, Анастасию Гербертовну и Викторию Гербертовну, чучелко семи лет, все криво-косо, пальтишко не на ту пуговку, колготки съехали, сапоги стоптаны не одним поколением

плоскостопых деточек, внутрь носками. Светлые лохмы висят. У Алексея Петровича, коменданта, свои заботы, ремонт, начало мая, но вахтерша на стреме: ей кажется (и справедливо), что Алексей Петрович мылится устроить то старшее пугало (Анастасию Гербертовну) на должность ее, вахтерши, ибо вахтерша пода-ла заявление об уходе. Копейки платят, целый день сиди не меняясь. Ничего себе девушка, волосы как у утопленницы, отдельно висят, черепушка блестит, гла-за ввалились. Молодые все на морду ничего, работать же не могут.

Так, возможно, размышляет вахтерша, Гербертовны же канули в вечность, увозимые троллейбусом бесплатно, ибо денег у Настя-мамы только на элект-ричку, дядя Леша дал. Больше не дал, поскольку знает причину — на эти деньги ничего, кроме билетов, не купишь. Наркоты не купишь, а именно об этом идет речь у Анастасии Гербертовны, дело докатилось до ручки. Она ему звонила ме-сяц назад и сказала примерно так: «Дядя Леша, я села на иглу». Дядя Леша сел на стул. «Дядя Леша, я села на иглу», — таким детским голоском.

Кто им обеим дядя Леша, это еще подумать. Дядя Леша год назад собирал деньги в их пользу у общественности, поскольку Анастасия могла получить в свою собственность большую квартиру. Соседка-старушка наконец умерла, ос-вободилась вторая комната в нищей, разрушенной квартире Анастасии, в дан-ном случае законодательство на стороне жильцов, можно не задорого прику-пить эту комнату покойницы, завладеть всей квартирой.

Дядя Леша бегал по взрослым, могучим людям, бывшим друзьям умершей матери этой несчастной семейки Гербертовен. Сам он знал ту мать, ее величали Лариса Сигизмундовна, она была талант, как раз и умерла в тридцать восемь лет, и ее друзья над могилой как-то не то чтобы обещали, это само собой разу-мелось, но готовы были помогать несчастеньким, шестнадцатилетней сироте Насте и ее трехмесячной дочери Викочке.

Дяде Леше, Алексею Петровичу, удалось собрать нужную сумму, могучие богачи скинулись по копейке, институт помог, где была сотрудницей Лариса Сигизмундовна, квартиру Настя получила, ура. Но ничего хорошего и в этот раз не вышло.

Сам Алексей Петрович когда-то поступал в аспирантуру как раз к Ларисе Сигизмундовне, большие планы роились в его мужественной голове, но тоже не вышло. Однако ученики на всю жизнь остаются преданы любимым учителям, а Алексей Петрович как раз и считал себя учеником Ларисы Сигизмундовны, хо-тя она очень скоро после его поступления в аспирантуру, через год, померла, му-чительно и тревожно, оставляя дочь и внучку без ничего, — правда, она успела выменять квартиру в Питере на комнату в Москве, причем комната эта счита-лась «перспективной», так как соседка была одна и ветхая старуха. Если бы ба-бушка отдала Богу душу, Лариса оказалась бы с дочерью в отдельной двухком-натной квартире.

Но получилось, что сама Лариса С. оказалась «перспективной» в том смыс-ле, какой имеют в виду люди, ищущие обмена. Получив комнату, она долго не зажи-лась на свете, денег не было, изворачивалась как могла, дочь свою любила нежно, даже кофе подавала ей в постель, оберегала пока что, имея в виду, что Настечке и так придется хлебнуть в жизни.

Настечка же, оберегаемая матерью, думала, видимо, что ее и все будут так же оберегать, но не тут-то было. То, что предполагала ее несчастливая мать, на-ступило очень быстро, никто не поберег малую Настю, она забеременела в пят-надцать лет — как оказалось, от одноклассника, соседа по двору. Мало ли, день рождения, какой-то праздник, мама уехала в командировку, конец. То есть нача-ло новой жизни.

Потому что, когда все выяснилось, Лариса не велела делать дочери аборт, туманно сказала: «Пусть ты будешь не одна».

Ибо тогда же, чуть ли не прямо перед этим, выяснилось и другое — бо-лезнь Ларисы С. Бедная долго скрывала свою болезнь, как другие скрывают

беременность, и они скрывали друг от друга свои растущие животы. Лариса бодрилась, брала на себя все новую и новую работу, писала докторскую на последнем издыхании, параллельно преподавая в трех местах свою никому не нужную науку культурологию. Настя тоже, уйдя из школы, устроилась курьером и мерила пространства большого города в сыроватых сапогах, пока все не вышло наружу. Начальница Насти была недовольна, выразила свое недовольство Насте, предложила покинуть пост курьера, Настя согласилась и ушла, хотя, прояви она хоть какую-то практичность, ей бы через два месяца оплатили отпуск и кормление ребенка. Но Настя покорно ушла и засела дома, где как раз уже не было мамы, Лариса слегла в больницу под радиолучи, одновременно сбегая после сеансов облучения дочитывать свои лекции: платили именно за лекции, а не за отсутствие работника по болезни. Лариса С. все еще скрывала, где ее лечат.

До Алёксея-аспиранта все дошло прямо из первых рук: он пил кофе с любимой руководительницей в буфете института, и Лариса Сигизмундовна сказала ему, что пока не будет ходить на работу, у нее то-то и то-то. Прямо сказала. Алексей Петрович не поверил, у вас хороший вид. «Но температура», — возразила Лариса Сигизмундовна и на следующий же вечер была отвезена в «скорой помощи» из учебной части института после лекции в больницу, где стала яростно бороться за жизнь, поскольку Насте пора было рожать.

Борьба за жизнь на первый случай прошла успешно, Лариса С. вышла из лечебницы с победой, приняла Настю и Вику из роддома, пожила с ними первый месяц, помогая и помогая, таская вешать пеленки, глядя ночами и одновременно читая все те же лекции, на которые она была большой мастер, просто соловей по эрудиции и остроумию.

Затем — так вышло — она сдалась.

Парень Юра, автор ребенка, не приходил и не приходил посмотреть на дочь, какой спрос с пятнадцатилетнего ученика девятого класса. Настя куksилась, задумывалась, просилась у матери погулять во двор даже без коляски, приходила после сигареты и стакана вина, молодая мать, дойная коровка, полная молока, дворовая девочка с подружками и ребятами — среди которых должен был быть и Юра.

Но он все не приходил.

Надо было регистрировать ребенка, и Лариса, не менее гордая, нежели ее дочь, посоветовала дать ребенку отчество по отцу самой Насти, Гербертовна.

Не то чтобы Алексей Петрович часто звонил Ларисе С., но в институте такой народ, что все всё знали вплоть до секретарш, а поскольку Ларису С. очень любили подруги, то от них волны новостей накатывались, как прибой.

И Алексей-аспирант узнал, в частности, что все-таки Юра пришел посмотреть на дочь, но когда узнал, какое у нее отчество, то повернулся и ушел — и все. С племенем, родом, наследием, именами и отчествами шутить нельзя, таково было мнение институтских культурологов, здесь Лариса дала маху.

Она дала маху и дальше — вообразила (и рассказала об этом), что, если она уйдет из дома, у Насти освободится комнатка, и Юра сможет приходиться к ней, и как-то молодые столкнутся на пустой территории.

С этим она и уехала жить к подруге в Подмоскowie, в малый поселок, где имелась, кроме всего, птицеферма, по крайней мере с курами проблем не было, их дешево продавали из-под полы местные работницы.

Но к Насте, наоборот, стали ходить другие ребята со двора, своя компания, десятиклассники из той школы, которую Настя покинула; они ходили к Насте каждый день, пили и курили, по-видимому, а во дворе все всё знают, и вокруг уже шумело море взрослых, родители учеников и соседи, которым не нравились это ежевечернее гульбище и эта малина, в результате чего уроки не сделаны, а некоторых не дождешься домой раньше двенадцати — часу ночи. Соседка-бабушка вызывала даже милицию, имела право, и Настя на день-два выезжала к маме

и маминой подруге с ребеночком Викой, на воздух, в тишину, но явно тосковала, не говорила ни с кем, вяло возилась с дочкой, около которой изливали свои восторги взрослые бабы, мама Лариса и ее подруга Валентина, у которой Лариса жила на раскладушке.

Далее Настя уезжала обратно к своим дворовым друзьям, а у Ларисы С. дела шли все хуже и хуже, и Валентина держала ее у себя, пока не поняла, что все складывается против, Лара сохнет и умирает на своей раскладушке по-настоящему, это не депрессия, что она не встает, не по депрессии не встает, а потому что умирает. Валентина отдала Лару в больницу поселка, где заводделением тоже была подруга, и там Лара, присмотренная, на всем чистом, с минералкой и обезболиванием, в отдельной палате, как королева, тихо отдала Богу душу, а Настя, которую вызвали, сидела в углу палаты на корточках и смотрела.

С похоронами помогла внезапно объявившаяся (Валентина позвонила по номеру, оставленному Ларой) младшая сестра Лары, о которой раньше было что-то не слышать, Лара приберегала ее для последнего случая, и он настал.

Здесь, в Москве, у Лары, оказалось, жил ее настоящий отец, тогда как мать всю жизнь прожила с другим мужем и с другими детьми, так случается, что старший ребенок от первого неудачного брака не нужен ни папе, ни маме.

Лара, оказалось, была таким ребенком и уже в институте старалась прибиться хоть к отцу, но и там все кончилось быстро, отец умер.

Остались только этот номер телефона и просьба Ларисы, высказанная ею довольно четко, быть похороненной у отца в ногах. Любовь иногда так выражает себя, в таких просьбах, однако тут скорее была финансовая сторона: не покупать участок, не ставить памятника, вообще ничего, только сунуть в ноги папе, прошу.

Валентина вела себя героически, взяв сначала на себя умирающую Ларису, затем ее похороны, а потом неоперившуюся Настю, которая сразу лишилась всего, потеряв мать.

Но Настю взять было непросто. Надо было поселиться рядом с ней, однако тут выяснилась проблема, у Валентины имелся собственный ребенок, все это в однокомнатной квартирке за городом, да и Настя при всем своем разуме подростка оказалась уже сложившимся человеком, то есть ни встать утром, ни постирать-погладить ребенку, ни даже заплатить за квартиру Настю было не заставить.

Только добром, только лаской, только взять что-то на себя, и Валентина первый год все таскала Насте раз в неделю сумку с пресловутыми курами и простыми крупами, даже с хлебом. Вопросов о квартплате, к примеру, задавать не представлялось возможным, так же как и об оформлении пенсии самой Насте, несовершеннолетней, потерявшей кормильца, или хотя бы оформлении Насти как одинокой матери. Ничего этого требовать было нельзя. Настя не отвечала, замыкалась, обижалась.

Когда были поминки, подруги Лары накрыли столик в доме покойницы, а там царил неподдельная нищета, никто даже и не подозревал о том, что такое может быть, ломаная мебелишка, треснувшие обои.

В те поры, когда Лариса поменяла свою питерскую квартиру на комнату поближе к отцу, когда заселилась с ребенком, она тоже строила планы, видимо, то и другое купить, сделать ремонт, ан нет. Уже не было ни денег, ни сил.

Какая-то катастрофа разметала все вокруг двух бедных девочек, и Валентина кинулась как на амбразуру, увещевала, нашла для Насти курсы машинописи, с мыслью о том, что та будет что-то кому-то перепечатывать, но ничего не получилось. Настя бы ходила на курсы, а кто бы сидел с Викочкой, все работают! А в детский сад и оформлять целая катастрофа, надо анализы сдавать, и одежду иметь на каждый день чистую, но ни одежды, ни стирки и ни на что нет денег. За детсад надо тоже платить уйму. У бедных малые возможности и часто не хватает сил даже встать вовремя, так оказалось, поскольку малолетняя мать

Настя ложилась поздно и вставала когда вставалось, у нее образовалась уже естественная среда обитания в компании таких же бедняков, которые не могут лечь всю ночь, бодрствуют, колобродят, курят и пьют, а днем спят по пятеро на диване.

Взрослые подруги матери совались в это безобразное гнездо, привозили продукты, в основном Валентина, но на такую прорву не напасешься; чтобы поела Викочка, есть должны все, братство, равенство, полная свобода всем находящимся. И сама Настя стеснялась таких наездов, когда Валентина, не осуждая, пряча глаза, где-то мела, что-то мыла, готовила, как-то отдельно пыталась кормить годовалого ребенка, всем своим видом стараясь показать, что не хочет видеть ничего, этих развалившихся парней в трусах и девок в нижнем белье по причине жары.

То есть это лежбище живо напоминало или землянку в тайге, где жарко натопили, или последний день Помпеи, только без какой бы то ни было трагедии, без этих масок страдания, без героических попыток кого-то вынести вон и спасти. Наоборот, все старались, чтобы их отсюда не вынесли. Косвенно поглядывали в сторону хлопчущей вокруг ребенка Валентины, ожидая, когда эта тетка исчезнет.

Далее она действительно постепенно стала исчезать с горизонта, пыталась помочь как-то издали, а Настя вяло рассказывала ей по телефону, как пошла работать в магазинчик, и у нее в первый же день украли на большую сумму, и хозяин выгнал, взять с нее было нечего.

Своя же компания и украли, видимо, рассуждала Валентина.

Не погонит же Настя друзей, так называемых друзей, которые входят гурьбой и берут то и се.

Так Валентина и рассказывала Леше, который достался ей после похорон любимой учительницы, то есть как достался: звонил, они беседовали.

Алексей Петрович пошел не по научной части, семья требовала средств, и он подался работать в нескольких учреждениях, лелея мысль когда-нибудь защититься и начать преподавание как человек.

Судя по телефонным жалобам Валентины, она начала отставать от этого бешено несущегося в тартарары Настиного поезда, хотя внешне никто никуда не спешил, медленно двигаясь в пределах одной комнаты.

Очередной гром раздался спустя пять лет, когда Настя позвонила Валентине откуда-то и вяло сказала, что тот знакомый, которого тетя Валя прислала к ней пожить месяц за сто долларов, убежал, не заплатив, да еще и наговорил с Петропавловском-Камчатским на миллион!

Это означало (для Алексея Петровича, которому Валентина это сообщила), что все-таки ручеек помощи голодающим как-то протекает, но с большими трудностями, и не орошает, а вообще иногда производит сокрушительные действия.

То есть Валентина не оставляет своих попыток помочь Насте и Викочке Гербертовнам, этого у нее не отнимешь, она творит благо, и не ее вина, что она одна в мире такая.

Идея со ста долларами (Насте нечем было платить за квартиру) возникла потому, что соседка-старушка, перспективный вариант, наконец открыла эту перспективу и освободила комнату за выездом в те края, куда уже ушла бедная Лариса.

В эту-то вторую комнату и направила Валентина случайного командированного с Камчатки, который искал пристанища.

Командированный, как оказалось, скрывался в Москве от возмездия кредиторов, его ждал на родине хороший взрыв.

Несчастный ограбил несчастных — Настю и Вику.

Однако мысли Валентины как раз работали выше и дальше, и она тут же сказала Леше, что надо собрать деньги и купить у райжилотдела эту пустующую комнату для Насти!



Она добавила кстати, что они с Настей уже пытались собрать, но собрали мало, и Настя купила на эти деньги немного для себя, ботинки и поесть.

Алексей Петрович был рад хоть чем-то помочь в память о любимой руководительнице, он взялся за дело серьезно и (см. начало) собрал нужную сумму и выкупил комнату.

Настя плакала от радости, когда он сообщил ей это по телефону.

Причем в райжилотдел уже ходили жильцы Настиного дома и убеждали инспектора не давать комнату Насте, а дать им, очередникам, поскольку она гуляющая и так далее.

На что Валентина возразила, что если бы Настя была, как они выразились, на букву «б», то деньги бы у нее были, да еще какие. Что она взрослый ребенок, который никому не может отказать, добрая душа.

Валентина спела дифирамб, который тем охотнее поется, чем страшнее мысли на этот же самый счет у автора.

Доброе дело было сделано поперек этих мыслей.

Хотя уже сам Алексей Петрович, навещая Настю, строго спрашивал ее друзей: «А кто вы такие и что вы тут днем в трусах делаете?» Там еще была подруга в халате и дырявых тапках. И дядя Леша слал их и слал работать и осваивать помещение.

И у дяди Лешы в голове уже сложилась система его помощи Насте, что он сведет ее с одной женщиной, которая расширяется, и она отдаст Насте свою двухкомнатную малогабаритку и еще приплатит, вот так. И он поможет сразу двоим, на душе будет веселей.

Но, пока Алексей Петрович был занят на своих трех работах, все само собой устроилось, помогла, наоборот, Валентина: дяде Леше позвонила сама Настя и торжественно сказала, что теперь она живет около тети Вали в поселке, у них с Вичкой двухкомнатная квартира, и куплены мебель и одежда для Вики, у дочки своя комната, и сама Настя собирается работать («Молодец!» — воскликнул дядя Леша), и Вичка идет в школу (с запозданием на год, подумал Алексей Петрович).

Дядя Леша был приятно удивлен и обзвонил всех участников сбора денег, все были рады, но уже через некоторое время Настя опять позвонила и торжественно, голосом девятилетнего ребенка, сообщила, что села на иглу.

Как будто бы это было для нее торжественное событие типа получения наград или аттестата зрелости.

То есть решила стать кем-то, не будучи до сих пор никем.

Дальнейшие события не заставили себя долго ждать, Настенька опять позвонила и сказала, что они с Вичкой голодают, тетя Валя не открывает свою дверь, деньги кончились.

— Приезжайте, я вас хоть покормлю в буфете, — сказал Алексей Петрович первое, что вошло ему в ум, и на завтра к вечеру семья приплелась: сияющая, худая Настя в обрамлении сухих светлых волос, которые подчеркивали костлявость лба, и дикая Маугли Вика, которая тут же стала есть макароны большой ложкой, помогая себе пальчиками.

Маленькая Вика была как две капли воды похожа на свою бабушку, умершую Ларису Сигизмундовну, как будто бы это Лариса Сигизмундовна явилась с того света хмуро наблюдать за событиями, не в силах ничего сделать по малости возраста и просто не понимая тут ничего.

Полусонная, еще живая семья напилась остатками (буфет уже закрывался), причем Настенька почти не ела, а ребенок ел жадно, про запас, и был бледен и как-то прозрачен, особенно одутловатые щеки.

Алексей Петрович видел перед собой как живую Ларису Сигизмундовну, интересную женщину, как она в тот самый первый раз взяла его с собой за род и повезла к Валентине вместе с дочкой Настенькой.

И он теперь, столько лет спустя, с отчаянием попавшего в ловушку все спрашивал Настю, все уговаривал ее идти к нему работать вахтером, с восьми утра сутки, трое суток выходной, буду кормить тебя и девочку хотя бы, а Настенька с улыбкой на окостеневшем лице, покачивая невольно головой, ковыряла вилкой холодные макароны и говорила, что сил нет, вообще встать трудно, что тетя Валя с ней не разговаривает, даже по телефону.

Алексей Петрович, сорокалетний мужчина с уже седеющими от жизни висками, проводил в результате эту семью на троллейбус, дал малую толику денег на электричку, сам он тоже не сделал большой карьеры, все проваливался, как на болоте, в этой московской жизни, в которой и сам понимал так же мало, как тогда, когда приехал и поступил в аспирантуру и поехал за город пить чай с прекрасной дамой из Москвы с сияющими глазами и роскошными золотыми волосами. Что он запомнил: она сидела в электричке веселая, с маленькой дочерью Настей, самым большим своим сокровищем, и все было у них впереди, было весело на подступах к прекрасному городу.

### **ДОННА АННА, ПЕЧНОЙ ГОРШОК**

Она была все время как бы тайно занята (секрет без разгадки: никакого знака наружу не поступало). Огонь, желтый, землистый, пробивался с ее лица, выдавал себя то в зенице глаза, то в цвете щек, то в запекшихся губах.

Она знала, что за ней все время неустанно наблюдают многие, выдававшие себя (тоже было заметно) как-то особенно вывороченными белками глаз. Мелькало это белое и то темно-желтое, белое охотилось за желтым, желтое пряталось, темно-желтое, повторяю, цвета желтой глины.

Как печной горшок, осторожно передвигала она свою голову, охраняя тайны этого горшка, заключавшиеся (очень просто) в том, что надо было этот горшок налить до краев водкой. Причем владелица горшка все время, двигая свой горшок в том или ином направлении, жила не в углу под лестницей, не в каморке, а в огромной квартире среди собственной семьи, среди детей, при наличии мужа и кучи знакомых, подруг и друзей: приходящие усаживались за стол, выставлялись бутылки, какая-никакая закуска, добрые лица выставлялись над столом как пустые бутылки, и печной горшок сиял добротой и своей тайной, целеустремленный темно-желтый горшок; пели песни, курили, спорили об искусстве (оба, и муж и жена, были художники), эти споры были не об искусстве, не любители сидели тут, а профессионалы, которым смешно обсуждать ремесло; о деньгах шла речь, о выставках, о заграничных идиотах кураторах и галерейщиках, об эмигрантах, которые на многое надеялись и получали вдесятеро больше подлинной цены, а потом гонорары и авторы завяли, поникли — за столом не говорились слова типа «без родной почвы», само собой разумеется. Само собой разумеется, что эмигранты увядали не от предательства, их предавала родная почва, отсылала, уже не держа корешки.

Сидящих за столом родная почва не отсылала, редко отпускала в командировки зарабатывать какие-то деньжонки в марках, франках или фунтах, причем сидящие со смехом обменивались историями, как кого обманули там и там, и печной горшок (звали ее донна Анна неизвестно почему) не отзывался, горя своим теперь уже медным огнем, медью отсвечивали глаза, и рот, и даже светлые кудри, Анна хорошела на втором стакане — такая стадия, — хорошела неотрапимо, все вокруг теснее сбивались, пели, кричали, чувствуя свое братство, а потом донна Анна падала. Стукалась медным горшком об стол.

Анну утаскивали, компания продолжала гудеть, ведь оставался еще и муж, добрый и мягкий, хороший брат-товарищ, вечно устраивал выставки, вернисажи со стаканчиками и бутылками, крутились проекты, Шорош давал деньги, знаменитый компьютерщик давал деньги, у мужа Анны они перетекали через

руки, уваживали почву для произрастания кураторов, постмодернистов, концептуалистов и неомилитаристов, кого угодно.

Простой народ входил в темные галереи, где с тарелки на тарелку под светом верхних направленных источников лилась, допустим, загадочная лента слов, которые надо было бы прочесть, дойдя до конца. Темнота, мрак, светящиеся белизной тарелки и т. д.

Веселые проекты с хохотом представлялись Леопольду (прозвище мужа), за каждым проектом немедленно выстраивался ряд рабочих рук, протянутых за деньгами, затем выстраивался ряд столов на вернисаже, ряд бутылок на столах, ряды стендов, ламп, рам под стеклом, редкие фигуры посетителей, затем проект гас, залы пустовали, а за обеденным столом в доме донны Анны опять шли беседы под звон посуды, Леопольд собирался доставать деньги, и что-то опять начинало закручиваться, а печной горшок заполнялся.

Нельзя сказать, что при этом дом был под паутиной, посуда немытая, а дети голодные, нет. Печной горшок молча действовал по утрам, приходили вереницы подруг, кто-то что-то делал, где много людей, там всегда найдется неприкаянная душа, за ночевку готовая мыть и драить, а уж послать за продуктами было легче легкого, и при этом Леопольдова мать, горемыка (которая не ходила к нему в гости и не могла залучить его к себе, обихаживала сама свой собственный угол, и то слава Богу), так вот эта мать, жалея внучков, засылала к сыну в дом якобы нянь, свою агентуру, няни уживались неподолгу, но дети все-таки реально были обстираны, помыты и накормлены, младшие отведены и приведены, старшие наглажены и снабжены завтраками в рюкзак: такова была установка несчастной высланной бабушки, которая, разумеется, так и не смогла понять смысла этого брака.

Детей было восемь. Старшие двое от первого брака печного горшка, затем остальные через пень-колоду, кто от Леопольда, кто от промежуточного человека, когда Леопольд ушел вон, а этот пришел и сел на гнездо, и вывел своих, за год один родился, второй наметился, но как-то сам собой пришелец умер, донна Анна осталась лежать не вставая, денег не оказалось совсем, и Леопольд вернулся на царство, и деньги потекли.

Анна встала, родила, потом опять родила, стоп.

Итого оказалось их восемь: четверо вроде Леопольдовы, четверо точно от других.

Печной горшок все так же хоронился, чураясь чужих людей, выходил к гостям только к своим, новых не признавал, а уж тем более в те поры, когда Леопольд на зимние каникулы выпроваживал весь сброд в дом отдыха на Клязьму, там они отдыхали много лет, и уж тут горшок всюду прятался от посторонних, лежа в номере, редко посверкивая по аллеям парка среди детей, и уж тем более выворачивались глазные белки встречных, провожая донну Анну, выедавая взорами ее пламенеющее желтым печным загаром лицо, темные, цвета пива, гляделки и темный же запекшийся рот, буквально цвета бурой крови, и прекрасные светлые кудри на фоне снега, и всю ее фигурку, теперь уже точно похожую на таковую же тряпичную куколку старой вокзальной шлюхи, то есть тонкая нога, слегка отвислый живот, руки жилистые, как кленовые листья, общая вогнутость стана и всегдашняя улыбка на устах, какое-то извинение типа реверанса, что я еще живу.

Они оба еще жили, хотя ряд громких скандалов прогремел над головой Леопольдика, какая-то ушедшая за границу и никогда не вернувшаяся ни в каком виде выставка (ни вещей обратно, ни денег за эти вещи), а выставка была не хуры-мухры, неопределенной ценности проект типа «коммуналка сороковых», альманах хлама, канализационных труб и старых унитазных седел, проводов с кляксами побелки и с лампочками на конце, кухонных столиков из тонкой засаленной фанерки, крашенных хозяйской лапой вдоль и поперек, чем аляпистей, тем выразительней образ, то есть собрание того, что еще можно было найти во-

круг домов во время капремонта, и за граница этим любовалась, как если бы ей представляли добычу археологов Помпеи, но все это стоило столько, сколько стоила рекламная кампания.

Что же касается описываемого позорного случая, то за границу ушли самоценные вещи, книжная иллюстрация тридцатых годов, гордость нации не хуже золота исчезнувшей Трои.

Бедные частные лица, какие-то старушечьи-преемницы прав, какие-то нищие внуки требовали сатисфакции в долларах со многими нулями, Леопольд не мог представить никаких документов, пропали важные бумаги, у него вообще все в доме исчезло как в Бермудском треугольнике.

Печной горшок долго пребывала в одиночестве, гости как-то повывелись, тень тюремной решетки повисла над домом, старшие дети, женившись, ушли, кто-то учился за границей, двух посторонних средних детей забрали те дед и бабушка, осталась какая-то последняя дочка, еще небольшая, для которой не стояло вопроса как поднять мать с полу, донна Анна оставалась лежать где пала. Но появившийся Леопольд опять нашел деньги под какой-то проект, дал есть еще двум десяткам шелкографов, соорудил еще одну и еще одну экспозицию с участием короля и королевы какой-то малой монархии, но тоже был остановлен на полдороге, Шорош не стал финансировать, стоп.

Поехали с младшей девочкой в тот дом отдыха на Клязьму на лето, опять печной горшок прошелся с ребенком по аллее, а потом лег и не встал. Уже девочка бегала в свои четырнадцать лет, что-то устраивала, поскольку папу нашли на дороге рано утром, сердце. А кто говорил: доза.

Печной же горшок Анна не поднялась даже на похороны, вся валялась и валялась, что было странно, уже ведь и водки не было никакой, никто не привозил. Но потом выяснилось, что донну Анну все это время снабжали уборщицы в обмен на одежку.

То есть это была догадка подруг и друзей, которые по старой памяти приехали за Анной на машине и не обнаружили чемодана, куда складывать вещи, да и вещей не нашли.

Донна Анна вышла к машине на закате дня, пламенея под лучами низкого солнца, темная, как старая картина, только с копной совершенно седых волос, кутаясь в вязаное пальто художественных расцветок, на ногах дивные мягкие сандалии, местное население не все хватало в обмен на водку, уборщицы не оценили, не взяли.

На этом вроде история кончилась.

Друзья говорили, правда, что все эти годы Леопольд жил с одной женщиной вполне открыто, с прекрасной женщиной, которая ему во всем помогала, и это длилось много лет, она осталась бездетной ради Леопольда, а вся безобразная жизнь донны Анны, бывшей красавицы, протекала на этом позорном фоне. Чуть ли она не пила ли с горя, но пьют, всегда находя повод, говорили другие, причем сама Анна никогда ни звука не проронила насчет мужа, терпела свой позор как могла, ни слова обвинения, улыбка треснутого горшка. И не ее вина, что она, как ни торопилась, не поспела первая и осталась вдовой, донна Анна.

### **НОВЫЕ ГАМЛЕТЫ**

В чем проблема Гамлета — в том, вероятно, что порвалась связь времен. А что такое связь времен, как не связь отец — мать — ребенок?

Мы легкомысленно строим жизнь, надеемся на счастье, получаем это счастье, не подозревая о том, что дети воспримут наши поиски не иначе как предательство; и вот вам пример.

Леокадия, женщина без ноги (бежала с молоком, попала под трамвай), да к тому же еще и одинокая мать после самоубийства психически нездорового мужа, такое немыслимое обстоятельство, но и ими тоже полна наша жизнь,— эта Леокадия, мать с ребенком, ежеминутно как бы благодарила своего мужа Петра за то, что он женился на ней, он был взрослый студент, приехавший учиться в Москву, но его семья (молодая жена-студентка) с ним не поехала, и этот Петр, что в переводе значит «камень», оказался в чужом городе и в первое же воскресенье пошел проведать троюродную родню, среди которой и обрелись в той же комнате молодая Лека плюс ее сынок Котя, Лека с Котей.

Там были непростые семейные связи, то есть умерший двоюродный дядя Петра был женат на матери Леки, Ираиде Соломоновне (сложные имена, проще — тетя Ира), и вот эта Лека пришлась Петру сводной троюродной сестрой. Кроме Леки с Котей, в комнате жил еще троюродный настоящий братец, который появлялся только на выходные, и на эти же выходные приходил сбоку припека женатый камень Петр.

То есть как огурец, полный семян, такая получалась комнатка, Лека — Котя, тетя Ира, брат и Петр: тут уже пироги, своя капуста, все домашнее, Котя прыгает по мужским коленям, трехлетка, то к дяде Вова, то к неродному дяде Петру, а женщины подают на стол.

Вова еще молодой, румянец пятнами, работает в почтовом ящике в Рузе под Москвой, в дальнейшем он исчезнет в Академгородке где-то на востоке страны, приедет только на похороны тети Иры и затем, стариком, на похороны Леки; Вова ушел из дома и пока что устроился в общежитии молодых специалистов, поскольку тут комната пятнадцать метров и трое человек без него.

Была еще одна комнатка у семьи, до войны, но сосед, по кличке Рыбник, подал на их отца заявление, что он враг народа, и отца забрали в 1937 году, и Рыбник занял их комнатушку, присовокупив к своей, а свою отдал первой жене. Отец вернулся в 1956 году и умирал у себя на пятнадцати метрах, а сосед Рыбник — вот причуда истории — спал с той стороны тонкой стенки и не спал ни единой ночи, реагируя на каждый стон и разговор, причем стуком в стену.

Такая была сложная советская жизнь, причем вскоре всю эту старинную монастырскую клопоморню должны были расселить, и Рыбник первым кинулся по инстанциям и съехал, страшный толстый старик с привычкой чистить сапоги под дверь Ираиды, задрал ногу на ее стол. Еще он был знаменит тем, что, выходя на кухню, говорил: «Горячо сыро не бывает», — и жрал неготовое прямо ложкой из кастрюли, и так и остался навеки в памяти испуганной Леки.

А Петр все ходил и ходил к родне по воскресеньям, шутил, кидал Котю под потолок, Лека радовалась, глядя на такую дружбу, но тут было одно обстоятельство в виде того самого расселения монастырского подворья: если бы Лека была замужем, она бы получила двухкомнатную квартиру, а так им с сыночком давали только однокомнатную.

Тут же Петр, услышав во второй раз такой шуточный разговор о поисках фиктивного жениха для Леки (Вова предлагал одного своего друга-хохла, бездомного лаборанта, который еще и деньги приплатит), сделал вполне конкретное предложение: давай мы поженимся, и тебе дадут двухкомнатную. Давай.

Все произошло как бы в шутку, но Петр быстро развелся, съездил домой к жене-студентке, застал ее в далеко зашедшем беременном состоянии с круглыми глазами, уже готовой родить Петровича-Петровну неведомо от кого, вот был бы номер — короче, Петр все это пресек разводом, все оформил, выписался и женился в Москве, причем тут же въехал на законном основании в пустующую комнатку Рыбника, сам пошел и оформил как расширение молодой семьи.

Лека туда-сюда топала на своем протезе, таскала пироги, пышки, заваривала чай, бац! Дают им двухкомнатную квартиру, а Лека уже в положении, четвертый месяц.

Тогда дали трехкомнатную небольшую, тем более что Лека была общественно полезным элементом, то есть молодым детским врачом, причем участковым, хоть и без ступни, с протезом. Но Лека никогда не пользовалась костылем, никогда не жаловалась, и никто не обращал уже внимания на ее немного тяжеловатую походку, когда она таскалась по больному детскому населению вверх-вниз, часто без лифта, что делать, не у всех дома с удобствами, старый район.

Лека родила Петру девочку, потом мальчика. Заполнила трехкомнатную квартиру, как пчелиная матка улей, жизнь кипела, пироги пеклись, Петр поступил далее в аспирантуру, защитился, преподавал и т. д., всегда у него была отдельная комната, и всегда Лека была ему благодарна за то, что он взял ее безногую с чужим ребенком; она рассказала ему наконец, что однажды ей приснился сон, по земле течет кровь с молоком, а наутро она как раз торопилась с молоком к сыну и споткнулась прямо под трамвай, молоко пролилось.

Петра, кстати, раздражали общительный Лекин характер, бесконечная беготня по больным в выходные — это были дети друзей и родни, а Лека лечила все: поносы, инфекции, ОРЗ, ушибы головы и даже потничку, этот бич новорожденных.

Как бы в ответ на постоянные (и бессмысленные, ибо бесплатные, Лека денег не брала), на непрекращающиеся эти уходы по выходным Петр поступил в университет на психфак, на вечернее, и тоже стал уходить. Но дети росли нормально, дрались между собой, защищали друг друга во дворе, учились, рвали одежку и ботинки, нужда была большая, что и говорить. Лека уже работала на трех работах, прихватывала и ночные дежурства — только чтобы обеспечить семью.

Причем вечером, когда он приходил, все было уже готово, она подавала на стол и только тогда ползла на дежурство. Это у них был уже обряд, она служила Петру, бесконечно благодарная.

Но эта бесконечная благодарность Леки сослужила ей такую службу, что, когда она умерла, все построенное такими усилиями семейное здание рухнуло, пчела-царица отлетела, и рой распался.

Лека умерла сравнительно молодой, только-только выйдя на пенсию и запланировав бегать по театрам и концертам, что не получилось у нее.

Одолеет диабет. Диабет не согласуется с пирогами и макаронами, а чем же еще было кормить большое семейство при малых доходах — летнее варенье, пирожки, пышки. Лека кормила детей и мужа, гостей и соседей и ела сама, что делать, при диабете голод невыносим, и вот она держалась, отчаянно жила и не поддавалась болезни, топала на протезе и натокала себе несчастье, протез при диабете дал осложнение, кончившееся гангреной, все.

Вот что началось дальше, после мучений по больницам, когда отняли ноги, сначала одну, потом вторую, после похорон, поминок и отчаяния: Петр женился.

Он сказал детям честно, что это вовсе не минутное ослепление, что с этой женщиной он живет более десяти лет (в командировках — поняли дети), и она ему дорога, поскольку поддерживала его во все тяжелые времена (какие такие тяжелые времена, неясно — думали дети), тяжелые, оказалось, потому что любовь, с одной стороны, звала туда, а долг перед детьми не разрешал, несмотря на то, что вы уже взрослые.

— Ради вас, ради детей, я оставался с вашей мамой, ухаживал за полным инвалидом, — в этом роде высказался Петр, и опять дети тяжело задумались, — хотя у меня и там растет ваша сестричка, ей десять лет!

То есть как гром с ясного неба! Сестричка!

И возникла ситуация, знакомая всем по пьесе «Гамлет», когда умер отец (мать в нашем случае), а мать (отец в данном случае), башмаков еще не износивши, совершает свадебный обряд.

Дети окоченели буквально. Один удар, смерть матери, тяжелейший, был озарен благородством любви и памяти. Как все ухаживали за ней! Но женитьба отца и его раскрывшаяся измена, наоборот, освещали все по-новому, даже эту смерть — освещали адским пламенем лжи и коварства.

Вот почему — догадывались эти, уже вполне взрослые, дети, — вот почему он был такой камень, а мы его любили, думая, что это он ради нас сдерживает свои эмоции любви и орет по каждому пустяку — для нашего же блага, для воспитания! И вот почему он, объясняя младшим математику, впадал в дикое раздражение при первом же вопросе, орал, если дети противоречили, а потом демонстративно заваливался спать.

Все то милое, над чем подшучивала мать, все это выросло до размеров египетского сфинкса с уже готовой разрешиться загадкой. Камень не любил их? Камень нас не любил!

Дети еще больше растерялись, когда отец уехал, заколотив свою дверь здоровенным гвоздем, как бы нанеся древесной плоти рану.

Старший сын Котя, неродной, уже был женат, имелись дети, средняя дочь тоже вышла замуж, младший еще учился, но и у него была невеста с животом, на которой, кстати, он не хотел жениться.

И отец прочел еще наставление (успел прочесть до смерти Леки), когда сын возразил ему, что сам хочет возделывать свой сад: «Но чтобы в земле твоего сада не были закопаны трупы».

Так значительно сказал великий отец, у которого как раз в родном городе росла именно что незакопанная дочь десяти уже лет!

Короче, пал и этот удар на совершенно обезумевшую семью уже взрослых людей, они часто собирались одни, втроем, вроде были дела на могиле матери, потом они собирались и решали, что делать со страшным гвоздем в двери, — но тут отец благополучно выписался из квартиры, прислав дочери в конверте слова «будьте вы все прокляты», сильное изречение.

И тогда настал период исхода.

Лека по маме была еврейкой, и старший сын, придравшись к этому, уехал навсегда в Израиль, даже носил перед отъездом кипу и цитировал Тору без умолку, как бы сойдя с ума, всем талдычил не останавливаясь, не давая никому сказать словечка. Жена и дети с ним не поехали.

За ним тронулся и младший так и не женившийся брат, и они все время вызывают сестру, а она все не едет, но страшно жалеет и любит их, как бы став маленькой Лекой; братья там живут один при другом, не в силах расстаться, привыкшие к семейному теплу, и работа уже имеется, сданы экзамены, оба дисциплинированные и работающие, как мать и Петр, это он им втемяшил в головы законы жизни своими криками, явно. Мать тоже что-то в этом духе говорила, но более возвышенно: о добре и зле, о пользе и т. д.

Знала бы ты, мама, чем обернулось твое добро, думали дети.

В дни рождения братья подолгу говорят с сестрой и гостями, платя потом, видимо, большие деньги по счетам за телефон. Но не в день рождения отца, которого они не простили, новые Гамлеты.

Хотя в мире бывает и так, что дети дружат с новыми детьми, а прежние супруги остаются хорошими знакомыми и совместно обсуждают жизнь детей.

Но, видимо, очень глубоко впиалась в их души еще в детстве какая-то заноза, боль, что отец пришел к ним незаслуженно с небес как святой, что он все кинул ради них, от всего отказался, что надо благодарить небеса за то, что отец все остается и остается с ними.

И он — вот что интересно — действительно все оставался и оставался с ними до самых похорон, не уезжал к той семье, предпочитал эту, хотя дети уже выросли, а жена представляла собой беспомощного инвалида.

Но именно это дети восприняли как самую изощренную подлость, как утание камня за пазухой, как ложь; а ложь для взрослых детей самое невыносимое, оказывается. Отец притворялся!

Ну что же, семья действительно распалась по частям, отец далеко, сыновья совсем за линией горизонта, дочь здесь, младшие без отцов и без деда, словно была война, унесшая всех мужчин рода.

Но отец-то жив, несмотря на то что дети его не воспринимают, и вот он, живой, живя рядом со своей новой семьей, живя в полном порядке, дочь растет, и жена пылинки с него сдувает (опять), он вдруг присылает письмо — и не домой дочери, и не сыновьям в огненно-солнечный Израиль, а посторонним людям, которые были десятки лет верными друзьями дома.

Это тоже семейная пара, где жена — художница. Художнице принадлежит авторство портрета Леки, где вся Лека видна как живая — яркое платье, черные пылающие глазки, крутой детский лоб и румяные щеки, все раздвинуто, сморщено улыбкой.

И вот муж Леки Петр почему-то пишет в порыве это письмо, и в этом письме содержится плод многолетних раздумий, что это был правильный портрет. Она там злобная! Сам портрет злобный и правдивый. Как его автор, кстати. То есть десять лет ждал и написал наконец ошеломляющую правду — смеялись знакомые и дети.

Чуть ниже этого муж Леки написал, что за десять лет ни строки! Никто! Дети ладно, они прокляты, но друзья? Или вы притворялись друзьями — сомневается Петр теперь уже в них, в совершенно посторонней паре чужих ему людей, которые всегда приходили именно к Леке, поскольку именно с Лекой учился муж художницы.

И что это за странность, десять лет прошло, старику под семьдесят, что за думы одолевают этого гордого человека, если он хочет обидеть теперь и этих, посторонних людей, очень любивших Леку?

Может, теперь у него тоже распалась связь времен, то есть он начал сомневаться, как Гамлет, а вообще любил ли его кто-нибудь?

Дети, любили ли они его? Друзья? Жена (и новая жена)?

Вся жизнь, все счастливые совпадения, спасение старшего из пруда, страшные болезни младшего, чудная дочь, которой они гордились, говорит по-английски, как англичанка, — вся эта семейная связь, на которой держатся времена, что, она распалась?

И не думает ли он теперь, быть или не быть, — этот новый Гамлет в поисках выхода из своего положения: несправедливо обиженный, брошенный, преданный, может быть, он все пытается кому-то объяснить что-то, все пишет в уме письма, вероятно, так: деточки, дети мои, быть или не быть? Был я или не был?

### ЛАБИРИНТ

В тот момент, когда земля задышала, месяц выступил как бледная чешуйка на еще светлом небе, а трава уже была тут как тут, то есть апрельским вечером, девушка Д. наконец пришла на садовые участки садоводческого товарищества «Лабиринт», раскинувшего свои домики среди плодовых деревьев, уже тоже окутанных зеленым туманом.

Дом только что похороненной тетки, престарелой и нищей, выглядел почерневшим от дождей, но был вполне крепкий.

Внутри оказалось пыльно, пахло яблочной гнильцой (на просторном чердаке лежали в газетах морщинистые коричневые прошлогодние яблочки, тетка не успела их вывезти, вывезли в больницу ее самоё). Две комнаты и терраса, однако, были вполне пригодны для жизни, разве что замусорены до ужаса, просто разграблены посмертными посетителями, все было высыпано как из рога изобилия.

Правда, шкаф и кое-какую мебелишку не вынесли вон, было на чем есть и спать. Хорошо также, что имелись газовое отопление и плита, тетка прекрасно подготовилась к длинной старости. Тетка жила тут безвылазно, одиноко, нико-



го собой не обременяя, идеальный случай, хотя слегка и тронулась, видимо, потому что соседки рассказали, что ранней весной, приехав на посадки редиса по снегу (такой способ), застали ее на участке (в последний год жизни) и спросили, каково-то было тут обитать одной, а она ответила, что я не одна, со мной Александр Блок, вон он, навещает, и она кивнула на дом. Вид у нее уже был плохой, но какой-то даже счастливый.

Д. после этих рассказов (она узнавала у соседки как раз насчет газового отопления, как включить) — Д. после такого предисловия решительно взялась за полы, вскоре развела костер из бумажных отходов, сортировать не было сил, а там мелькали письма, стихи, счета, заполненные тетради, какие-то списки, важные следы чужой жизни, гори оно огнем! Стихи она взяла в руки поинтересоваться — оказалось, действительно строчки Блока. «Мне снится берег очарованный», выцветшими чернилами с буквой ять, какое-то странное послание.

Позже она вспоминала о тех тетрадях, жалко, что сожгла, может быть, тетя что-то бы ей оттуда, из-за гроба, как-то сообщила, ведь тексты — это опыт чужих ошибок, лазейка в лабиринте, наука дуракам и т. д.

Но что сделано, то сделано, тогда еще Д. не любила свою тетку, как полюбила позже.

Короче, до самой ночи Д. устраивалась на ночлег, надо было спешить освободить хотя бы одну комнату, но, поддавшись наркотуку труда, Д. не успокоилась, пока не убрала, не вылизала весь домик. Костер чужого ума горел ясным пламенем на участке, валил сладкий дым, мокрые тряпки после мытья пола и окон висели на нижних сучьях, а Д. нашла банку довольно пригодных белил и заодно, пропадая от усталости, побелила изнутри и рамы окон (снаружи завтра).

Это был такой трудовой запой, видимо, инстинкт рабочих пчел, который ведет по жизни многих и многих женщин, сладко наводит порядок на новом месте весной!

Домик сиял.

Д. была счастлива, как никогда.

Дом тетя Леля завещала именно ей, и никаких пап-мам Д. не хотела звать ни в гости, ни тем более на постой, ее семья жила шумно, откровенно, даже цинично, и Д. стремилась вон из этого вонючего людского тепла — туда, где никто не вынудит незамужнюю девушку плакать, накрывшись подушкой, особенно после откровенно-заботливых возгласов отца, что ничего, что дочь у нас не девица, заклеим бумажкой и выдадим замуж! Мать в ответ кричала: «Идиот поганый». Возникал обычный семейный круговорот, теплый, густой, как суп, ежедневный, обязательный, обезоруживающий, потому что отец страдал, уязвленный тем, что некто Миша не женился на дочери, прожил просто так два месяца в квартире, проужинал шестьдесят раз, поварился в семейном котле среди циничных, откровенных слов заранее огорченного отца («А кто он нам? Пусть идет, куда шел») и громких, не менее циничных возражений матери; за отчетный период Миша перебрал свой пуховый спальный мешок, с которым приехал к невесте, каждый вечер терпеливо разворачивал и перебирал комок за комком, затем выстирал все по отдельности в мыльной стружке, сам все приготовил: таз, тазик и ведро — опять разложил высохшее по полу, простегал крупными стежками, ни слова ни говоря, потом скатал, собрал вещи и вышел вон к ночному поезду, турист, походник, мужчина, немногословный, как полагается.

Ребенка у Д. не завязалось, Д. вообще все эти два месяца до ужаса стеснялась отца и мать, пребывающих за тонкой стенкой, они ни разу не ушли из дому, ни в кино, ни в гости, ни просто погулять, вроде бы сидели и сторожили.

Несостоявшийся зять, который все это время ночевал на полу в одиночестве, уезжал как бы временно, завязал свой рюкзак, водрузил на него спальный мешок выше головы и, наскоро простившись с плачущей Д., она лежала как в горячке на своей кровати, канул в вечность, не поняв и не приняв ничего, эту се-

мейную атмосферу полной правды в выражениях, убрался домой куда-то за Уральскую гряду, где у него была своя, в свою очередь, еще не старая мать, тоже откровенная до ужаса, которая в ответ на телефонный звонок Д. прямо сказала: «Нечего сюда звонить, поняла? У него хорошая невеста тут».

Д. решила ночевать на полу, на своих одеялах, а тахту и ребристый диван пока только протереть, насчет же выбивания пыли подумать завтра, как это выволочь во двор.

Потом она села пить чай и все думала о тетке. Почему она завещала дом именно ей, причем тайно, вызвав ее на свой вокзал, отдала бумагу, говорила кратко, глядя на Д. круглыми, очень светлыми карими глазами (цвета чая) со своего румяного, коричневатого, как печеное яблочко, худого лица. Она вроде бы опаздывала (куда?) и спешила на поезд, хотя эти поезда ходили туда-сюда каждый час.

Причем, что чудом можно было бы назвать, на среднем пальце правой руки, когда тетка заботливо сняла самовязаную коричневую шерстяную варежку, у нее обнаружилось кольцо с круглым, выпуклым ясно-коричневым камнем точно под цвет глаз. Зачем тетка его надела на вокзал? Что за щегольство?

Позже-то это кольцо нашлось, Д. его обнаружила, вернее, изумилась, увидев, но именно позже.

Отношения между теткой и ее младшей сестрой, мамой Д., были давно, с детства, плохими, мама Д. родилась, когда тетке было уже восемь лет, и ревность поселилась в ее сердце, ревность и зависть, особенно когда мама Д. выскочила замуж, тетке нравился мамин жених, это явно. Такую семейную легенду мама повторяла не раз, а отец, смеясь, не отрицал. Сама тетка так и осталась при родителях старой девушкой, проводила инвалидов на погост вкуче с их болезнями и неподвижностями, несчастная, все звонила, приглашала попрощаться с еще живыми, чего прощаться заранее, не каркай, яичница, шутил отец. Он называл своєюченицу «яичница» и часто говорил: «Яичница, напиши на меня завещание, ты же одна, хоронить тебя буду я».

Д. пила чай на свободе на теткинском завещанном раздолье, за чистыми стеклами сиял негаснущий апрельский закат.

В детстве Д. провела здесь как-то летний месяцок, уже после смерти деда и бабушки, по очень важному поводу: мама Д. легла в больницу, а отец мигом уехал в командировку, и тетя вынуждена была взять маленькую Д. на дачу. Девочка Д. заболела вскоре, плакала перед сном каждый вечер, тосковала по маме с папой, а тетка приходила к ней, брала на руки, завернувши в одеяло, как младенца, даже сшила ей специальную куклу-мальчика, Пирамидона, чтобы Д. принимала пирамидон. Тетка читала ей какие-то непонятные стихи, при этом она зажигалась чуть ли не страстью и произносила стихи с силой, а Д. капризничала и не хотела слушать. Потом все душевные раны у маленькой Д. зажили, ребенок, как кошка, должен привыкать к одиночеству, если его бросили, что делать, она и привыкла к тете, неотлучно ходила при ней в магазин, на станцию, даже поехали однажды в электричке и на автобусе на почту в райцентр звонить. Тетя заказала разговор, взяла трубку, услышала чей-то голос, но говорить не стала, сразу вышла из кабины и со скандалом взяла обратно деньги за неиспользованный разговор. Они к тому моменту уже прожили вдвоем месяц, а тут вдруг, вернувшись в «Лабиринт», тетя собрала вещички Д. и повезла ее на электричке в Москву, и там молча отдала в дверь отцу, мать тоже была дома, оказалось, мама провела в больнице только три дня, и отец сразу же вернулся, командировка была короткая, но они так, хитростью, решили заставить тетку взять маленькую Д. к себе на дачу! Свежий воздух нужен ребенку! Они проклинали тетку на все корки, они рассчитывали уехать в отпуск в военный санаторий, куда детей не брали. Уже были на руках путевки. Что же, пришлось сдавать одну путевку, и мать, ругаясь, поехала с Д. тоже в Судак, там сняла за дорого комнатку на двоих, и так

и прожили недовольные двадцать четыре дня, а очень хотелось отдохнуть одним на воле без детей в военном санатории. Отец вечно опаздывал в свою палату, уходил от матери в санаторий нехотя, лазил туда в окно на первом этаже после отбоя, утром встречался с семьей недовольный, и они с мамой ругали и ругали тетю Лелю.

Так что воспоминания о тетке были самые недобрые, и, почему она вдруг решила оставить Д. свою дачу, непонятно.

Но факт остается фактом, раздался звонок, далекий голос закричал: «Москва, говорите с Рузой», — и теткин еле слышный голос назначил Д. свидание на вокзале, на шестой платформе у ступенек, завтра в три.

Тетка, как уже было сказано, сияла нездоровым румянцем после двух часов пути, глаза ее были прозрачные, как полированное красное дерево, и тетка сунула Д. согнутую пополам новую бумагу со словами:

— Ты у меня одна. Я тебя вспоминала, моя голубушка, как ты часто плакала, а я тебя баюкала. Я написала в твою пользу завещание на свой дом в «Лабиринте», тебе позвонят. Под дождевой бочкой в саду на глубине лопаты будет закопана стеклянная банка с подарком. Мой поезд скоро, беги, ты опаздываешь, ты стала такая взрослая, красавица...

Д., идя домой, поразились, никто ей не говорил никогда, что она стала красавицей, мать, наоборот, критически смотрела на Д. и была всегда недовольна ее ростом, дородностью, румянцем, кричала, что меньше есть надо булочек в институте, что сейчас не модно быть толстой, не нажирайся хоть на ночь, опять все конфеты уничтожила!

И взрослой она стала даже слишком, работала в институте уже восьмой год в справочном кабинете, заполняла формуляры вдали, в пыли, расписывала газеты и журналы по тематике, раскладывала по папкам, ходила с женщинами из библиотеки в бассейн, сеанс по воскресеньям в восемь утра. Сутулилась. Мать кричала в бессильной муке: выпрямись, кулема!

Д. прочла в метро составленное теткой завещание, причем вспомнила, что после смерти деда мама долго настаивала на том, чтобы Леля прописала к себе Д. или хотя бы съехала с ними, с оставшимися в живых родными, но тетка Леля даже разговаривать не хотела, бросала телефонную трубку.

Д. не стала спрашивать старуху, что с квартирой.

Теперь, сидя на дачном участке в домике тети Лели спустя столько лет, Д. снова задалась вопросом, что же случилось с квартирой, это ведь было бы большое богатство для нее, стареющей библиотечной крысы, жить с отцом-матерью становилось невыносимо, они все трое сидели как в общей камере, в заколдованном тесном кругу своих двух комнат, причем старики имели обыкновение ругаться друг с другом, а Д. лежала на своем диване и грызла что-нибудь, глядя в телевизор.

Но квартира, видимо, пропала, мать с отцом куда-то вместе ездили после извещения о Леле, мрачные возвращались, Д. ни словечка. Что-то случилось с квартирой, если тетя Леля круглый год так и жила в этом почти картонном имении, в фанерных стенах, и не показывалась в Москве. Что-то случилось. Если бы отцу с матерью удалось что-либо получить, Д. сразу же узнала бы новость по их радости, по пению отца в кухне. Мать бы оказалась единственной наследницей тети Лелиной квартиры, и Д. была почти уверена, что немедленно все было бы продано и положено на сберкнижку «на старость».

Кстати, сама Д., приехав с вокзала тогда, сразу сказала старикам, что получила от тетки Лели завещание в виде дачного домика, они ворохнулись, захотели участвовать, закипели, всполошились, но Д. твердо сказала, что тетя-то жива еще.

Когда же Леля померла в райбольнице и им позвонили, то одна Д. поехала в ту больницу, повезла деньги, которые заняла у подруги, но там, в глуши, все оказалось много дешевле, чем в городе, она заказала гроб, грузовик, яму, все.

Когда она вернулась после того первого раза, родители куксилились, роптали, сучили, как малые дети, но наконец не вытерпели и произнесли свой приговор: не поедем! Вообще не поедем! И летом туда не поедем! Хотя это не одной тебе, я тоже наследница, заявляла мама, обижаясь заранее.

Отец заорал, что будет приезжать на дачу, когда захочется, это общая дача семьи, ничего ты не сделаешь, родного отца не выгонишь, на что Д. робко ответила: «Родного ли?» Мать вскрикнула, отец грубо выругался, обычная вещь, заурядный разговор.

Все. Д. справилась одна, вернулась с кладбища автобусом до станции, проехала на электричке две остановки и отмахала лесом до «Лабиринта» три километра со своим рюкзаком, открыла наспех приколоченную доской дверь (замок сорвали воры), вдохнула запах яблочной гнильцы, сырости, едкой пыли...

В рюкзаке Д. всю эту нелегкую дорогу волокла старые одеяла, подушку, бельишко, пару банок консервов и полбатона, какие-то опять же старые одежды для работы на участке — на похороны приехала с этим добром и у могилы стояла, держа рюкзак в ногах... Грузовик ушел сразу же, как только вытянули из него гроб, обратно пришлось шагать, ждать автобуса, опять мерить резиновыми сапожищами километры...

И вот теперь такая награда, чистый, теплый дом, батареи налиты горячей водой, горячая вода в чайнике, а выйдешь наружу — еще ледок на почве, холодный, свежайший воздух буквально щиплет горло не хуже газировки, захватывает дух от неба, тишины, месяца... Батон и консервы Д. умяла, как мясорубка, на завтра оставались еще консервы, и что?

А было вот что: Д. обнаружила у тетки стеклянные банки с крупами, все они стояли в подполе, каждая такая банка (трехлитровая) была накрыта пустой консервной жестянкой, от крыс, и сверху придавлена булыжничком. Воры не нашли этот подпол, а там было много чего, варенья, соленья, они обнаружили другой, дверца в который была нещадно сорвана ломом, а в тот вел вход из-под шкафа, тетя Леля в свое время показала Д. эту тайну, тайничок.

Там же тетка хранила фарфоровую посуду, стопку тарелок, какие-то старозаветные молочник-сахарницу, затем новые половики, швейную машину, хорошо смазанную маслом, инструменты и какие-то ящики, надо будет посмотреть с гвоздодером.

Но это все Д. предусмотрительно опять задвинула шкафом, примерилась, походила и вдруг постелила себе на теткиной кровати.

Однако тут же она вспомнила про слова тети Лели о том, что под бочкой в саду закопана стеклянная банка с подарком, взяла лопату и вышла на воздух. Деньги за ту тетину квартиру?

Д. стала быстро представлять себе, как купит на эти деньги себе квартиру, не век же коротать жизнь в этой хибаре. Купит квартиру, мебель... Напишет Мише... Приезжай срочно связи изменениями жизни.

В бочке было уже до половины воды со льдом, пришлось вычерпать все ведром, завалить бочку, откатить ее и только потом взяться за раскопки. Сразу же звякнула лопата, и Д. вытащила из земли грязную баночку, пустую на вид, только на донышке что-то перекатывалось.

Открыв тут же, на воздух, пластиковую крышку, Д. опрокинула баночку себе на ладонь и увидела то самое серебряное колечко со светло-коричневым камушком: было бы что прятать!

Тем не менее Д. сняла варежку и надела кольцо на безымянный палец правой руки.

И с этим орехово-коричневым кольцом она вышла на уже темнеющем закате в сад, подернутый первой зеленью, и открыла калитку.

Она остановилась под небом и стала радоваться, душа ее буквально расцвела, и долгие годы свободы и покоя встали перед Д., переливаясь, как радуга.

И тут же Д. испугалась, услышав твердые шаги.

К ней приближался странный прохожий.

Он был в высоких кожаных сапогах, в странном полупальто и в барашковой шапке, а в руке у него была тонкая палочка. Как трость слепого.

Прохожий остановился и спросил у Д., не видела ли она тут другого такого же желтого дома. Там обитала такая красивая девушка одна, без родителей. Зовут Ольга.

Затем он помолчал и сказал Д., что вышел вслед за Ольгой, когда она вдруг куда-то исчезла, он бросился ее искать — и потерял даже дом. То есть что он пошел следом и плутает уже больше месяца.

«Больше месяца! — подумала Д.— Врет как!..»

— Я никого здесь не знаю, — чистосердечно ответила Д. и ушла, заперев калитку, и он удалился, а затем, убирая следы от своих раскопок и катая на место бочку, она опять увидела незнакомца, который двигался обратно, и вышла теперь к нему сама, и они стали обсуждать, что незнакомцу делать. То есть больше говорила сама Д., что можно идти на станцию три километра, два часа — и Москва. Надо посмотреть расписание. Должен быть еще один поезд.

Он же отвечал, что не из Москвы сюда приехал, в Москве и нет никого, уже нет.

Тут она лучше рассмотрела его: темное лицо, светлые, какие-то неземные глаза, которые все порывались смотреть вверх, как бы ища в светлых тоже небесах тот желтый дом, а может, ему было неудобно смотреть на толстую Д., румяную, здоровую, с растрепанной косой, с красными от ледяной воды руками, причем в старой куртке и замурзанных походных штанах.

Лицо у него было продолговатое, худощавое, со следами как бы неровного загара. Он был старше Д., то есть сорока с гаком лет, почти старик.

Он сказал, что ему показалось, что именно этот желтый дом ему нужен, а не опять дорога вывела не туда. Лабиринт какой-то.

— А это товарищество и называется так — «Лабиринт», — весело сказала Д. и пошла вместе с новым знакомым обходить дома и искать другое желтое строение.

Дачные поселки тут перетекали один в другой, шли десятками километров вдоль железной дороги, а новый знакомый не знал ничего, кроме «Ольга» и «М.».

Ночь все не наступала, Д. сама заблудилась в этой череде тихих песчаных улиц. Месяц сиял над садоводством, пели соловьи. Д. с трудом нашла даже свой дом, в окне которого мелькнул свет. «Родители приехали!» — с ужасом подумала Д. и неуклюже сказала бедному страннику:

— А теперь позвольте откланяться!

И побежала, мотая косой, к себе за калитку.

Он остался стоять за забором, постукивая стеком по голенищу, легкомысленное постукивание для потерявшегося в лабиринте, а Д. с тяжело бьющимся сердцем взошла на крыльцо и толкнула дверь — она была не заперта, но домик оказался пустым.

В комнате горела лампочка, совершенно не нужная при стойком свете заката, бившего в окна. Д. вспомнила, что действительно оставила свет на всякий случай, чтобы не заблудиться.

Палочка уже не постукивала нигде.

Д. разделась, натянула огромную тетину полотняную рубаху, легла. Вовсю свистел один соловей. Где-то, в мокрых сапогах, голодный и бездомный, бродил неприкаянный человек. Сердце Д. уже не билось так гневно, утихло, опасность налета на дом со стороны родителей миновала, по крайней мере на сегодня, и Д. буквально начало пощипывать чувство какой-то потери, утраты, щемящей жалости. Да, умерла тетя Леля. Но главное, что рядом, в ловушках улиц, ходит че-

ловек. Искать его уже бесполезно, тут ведь лабиринт! Здесь можно ходить параллельно месяцами.

И вдруг, лежа в тетиной кровати и глядя в рассеянном свете ночи на металлические шары, Д. услышала топот, как будто кто-то тяжело бежал к дому по проулку. Тяжело, но размеренно, вроде бегуна на длинные дистанции, топ, топ, топ, топ. Пробежав мимо, остановился и стоял. Затем стукнула калитка, неуверенные шаги приблизились.

— Простите,— воскликнул глухой голос,— это не М. здесь обитает?

— Нет опять! — закричала Д.— Сейчас! Не туда!

Она быстро напялила на себя брюки, свитер и куртку, все это поверх ночной рубахи, и выскочила наружу.

Никого не было.

Д. выглянула за калитку.

Слева вдали угадывался на перекрестке тот темный силуэт в барашковой шапке.

Д. стояла и не двигалась. Что делать? На дворе уже одиннадцатый час, несчастный человек бродит и бродит.

— Идите! — крикнула Д.

И увидела, что он как-то задвигается за угол, исчезает, как резная фигурка в тире.

— Минуту! Месье! — почему-то ляпнула Д. и смутилась. Какой месье?

Он уже стоял рядом с ней, глядя в небо, где светил полным светом месяц.

— Месье, вы можете зайти ко мне хотя бы на чашку чая,— сказала Д., рассматривая его худое темное лицо.

Она пошла, он двинулся за ней, вошел в дом, вытер сапоги о мокрую тряпку, снял куртку, шапку, вымыл руки, вытер льняным тетиным полотенцем и сел за стол.

На нем был глухой черный сюртук, волосы лежали овечьей шерстью.

На безымянном пальце правой руки сиял прозрачный темный камень, точь-в-точь как у тети Лели, а теперь у Д.

Д. налила незнакомцу чаю, за вареньем пришлось бы лезть в тайник, отодвигать шкаф, и поэтому Д. сказала:

— Я только приехала, не обессудьте, ничего нет, никакой провизии.

— Я уже привык,— как-то с трудом ответил «месье» и стал жадно пить еле теплый чай.

Д. вдруг спохватилась и открыла банку консервов, это были какие-то дешевые частички в томате. «Месье» подождал, пока Д. выложила кучку рыбешек ржавого вида на блюдечко, и не спеша стал есть.

Д. пока что поставила чайник на плиту.

— А где Ольга? — спросил незнакомец.

— Вы не знаете? Я ее сегодня схоронила,— ответила Д.

— Боже! — откликнулся он и перекрестился.

— Вы ее знали?

— Я бывал тут. Я вам говорил: желтый дом, девушка Ольга М.

М.! Как раз у тети Лели была фамилия на «м»! Ольга!

Он ел медленно, с трудом шевеля челюстями, очень благородно. Худая рука держала алюминиевую вилку с неуловимой грацией. Он опирался запястьями на край столешницы. Из-под рукавов виднелись безукоризненно белые обшлага рубашки.

Д. вдруг застеснялась, удалилась в комнату, хотела переодеться, но было не во что, вместо этого она сняла с себя брюки и свитер и осталась в тетиной рубахе, большой, полотняной, с кружевцами у воротника.

И в таком виде, перекинув косу на грудь, она вошла в носках и села за стол.

А прохожий уже лежал на старом диване, ровно дышал, сложив руки на груди, крупные веки его были сомкнуты, но не плотно.

Д. вернулась в тетину комнату и принесла свое одеяло накрыть ему ноги. Чайник вовсю кипел на плите.

Д. снова села за стол и стала смотреть на пришельца, все больше узнавая его.

— Александр Александрович,— сказала она,— я постелю вам в комнате. Пока отдыхайте, а потом перейдете туда.

Она пошла, накрыла тахту чистым бельем, хорошо, что взяла с собой две смены, положила сверху свою подушку и последнее одеяло, больше было нечего.

«Сама укурюсь курткой, мало ли»,— подумала Д.

У тети в тайнике имелось много всего по ящикам, завтра надо будет проветрить, подсушить, постирать. Может, обнаружатся еще белье и одеяло.

Затем Д. выключила чайник, погасила свет, заперла дверь, пошла к себе и на сон грядущий взяла с тетиного столика старую, отсыревшую книжку: «Александр Блок. Стихотворения».

И каждый вечер, в час назначенный  
(Иль это только снится мне?),  
Девичий стан, шелками схваченный,  
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,  
Всегда без спутников, одна,  
Дыша духами и туманами,  
Она садится у окна.

Глаза Д. были полны слез. Это ее несостоявшаяся судьба открылась, засияла вечерними огнями, повеяло тонким запахом духов, на голове плотно сидела легкая большая шляпа, платье лилового шелка шуршало в коленях, затянутое у пояса. Перчатки охватывали руки Д., зеркало отражало ее нежное, румяное лицо с большими ореховыми глазами, вьющиеся густые волосы под шляпой, блестящие коричневые брови, тонкие губы.

И веют древними поверьями  
Ее упругие шелка,  
И шляпа с траурными перьями,  
И в кольцах узкая рука...

Напрасно сожгла все бумажки, думала Д., может, там были какие-то объяснения. Хотя какие должны быть объяснения? После того как Лелю увезли в больницу, Александр Александрович испугался, пропал, заблудился, но тетинo кольцо сделало свое дело, он все-таки вышел спустя месяц к желтому дому, к тому дому, где лежала на ночном столике читаная-перечитаная книжка его стихов, к своему дому на Земле...



Эти одинаковые продолговатые не очень толстые книжки без картинок, называемые «толстыми журналами»... Иногда они лежали в газетных киосках... случайно... где-нибудь в провинциальном аэропорту... Люди торопливо хватали местную «Вечерку» с объявлениями и кроссвордом, брали «Крокодил», спрашивали «Комсомолку», но ее уже разобрали... И вдруг какой-нибудь в очках... да еще с бородкой... сперва низко склонялся к прилавку, а потом распрямлялся резко и спрашивал: «Это последний «Октябрь»? А предыдущий есть? А этих сколько? Ну три штуки есть? Давайте все!»

Это было давно. Теперь киоски не торгуют журналами, которые по привычке называют **толстыми**. Торгуют гораздо более толстыми... на глянцевой бумаге... со множеством картинок, с такими соблазнами на обложке... Только никогда никто не купит сразу три экземпляра. Зачем? Они везде, на каждом шагу... И потом — это ведь для себя... Не дарить же!

А те — прежние **толстые** — дарили! И это был **хороший подарок**. Это была частичка правды, ответ Духа.

Множество граждан нашей страны **гонялись** за номерами «Нового мира», и «Знамени», и «Звезды», и «Невы», и «Простора»... и... и, конечно, «Октября». Подбирали годовую подписку, одалживали друг у друга недостающие книжки, зачитывали, не отдавали, давали почитать другим... вырывали самое дорогое, не отделимое от жизни, соединяли, переплетали в единые тома.

Так, именно так прочел я важнейшие книги моей жизни. Так — это только к примеру — прочел в «Октябре» «Жизнь и судьбу» Василия Гроссмана. Потом пришла перестройка и книгу издали — на хорошей бумаге, в твердом переплете. У меня есть эта книга. Странно, почему я ни разу ее не открыл? Гроссман продолжает меня волновать и тревожить. Но, когда я нуждаюсь в нем, странно — я залезаю в картонный ящик, что стоит в коридоре, роюсь там и нахожу **те «Октябри»**.

**Толстые журналы** (и «Октябрь» один из первых!) — универсальность нашего поколения. Все в них — шрифт, состав, склонности, изменчивость в разные времена — это шифры, ключ к которым хранила и передавала друг другу вся мыслящая Россия.

Не буду, категорически не буду о нынешних трудностях, о том, что «в наше непростое время»... о спонсорах, об их отсутствии... обо всем этом не буду. Я о присутствии! Они живы — наши **толстые журналы!** И в них **хорошая** нынешняя русская проза и поэзия! И публицистика. Читать стали меньше? Ну что ж, может быть. Литература подождет. Важно, что она есть.

**«ОКТАБРЮ» — 75!** Я лично знаю некоторых из тех, кто трудится в этом журнале. Привет вам, знакомые и незнакомые талантливые люди! Я рад, что вы не сдаетесь. Я счастлив, что вы не оставляете стараний и у вас **получается**. Я горд сотрудничать с вами! С праздником!

## Западный экспресс\*

Это был поезд из моего сна, из детской мечты, из тайных одиноких игр, когда, преодолевая скуку жаркого летнего дня и длину обязательного надоевшего пути по лесной тропе, сам был и паровозом, пыхтящим устало, и машинистом, неутомимым и суровым, и начальником всех станций, и местным му-

\* Начало публикации книги, которая выйдет отдельным изданием в издательстве «Вагриус». Продолжение «Октябрь» будет печатать по мере написания новых глав.



жиком, покорно переживающим на солнцепеке у шлагбаума пробег длинного состава, и пассажиром, наивным и восторженным, которому все в новинку, который глупо и симпатично радуется названию каждой станции, любому перелеску, каждому мостику над неширокой речкой, стаду, прилегшему устало, копнам сена под легкими навесиками, двоению, троению, умножению рельсов на подьезде к большой станции и несравненному перестуку колес, под который все песни хорошо поются и щемят душу, а все мысли легчают и уносятся сквозь щель в окне вместе с кудрявым дымком от паровоза. Это был поезд из моего сна.

Весной 89-го года я ехал в одиночку через Европу.

### *Москва — Смоленск*

Влюбленность в железную дорогу охватила меня еще в раннем детстве и не иссякла до конца по сию пору. Поезда нравились мне на слух и на вид, на ощупь и на запах. Все служащие на железной дороге казались мне счастливыми. Я помню зеленую подмосковную станцию Битца. Даже не станцию, просто платформу с деревянной будочкой кассы.

Битца! Теперь это район Москвы. А тогда это была деревня, и до нее нужно было добираться поездом. Не электричкой — электрички появились позже, на моих глазах, а поездом — с паровозом, который пыхтел, гудел и тащил дребезжащие дачные вагоны. Кондуктор выкрикивал: «Люблино, Люблино!.. Царицыно! Кто до Царицына?.. Красный строитель!.. Следующая — платформа Битца!.. Битца, следующая — Бутово!» Это я слышал, стоя уже на платформе вместе с мамой. Мы пересчитывали привезенные вещи — не забыли ли чего, а вагоны лязгали буферами, со скрежетом делали первые обороты колеса, и поезд уходил в далекое Бутово.

И как я завидовал всем, кто ехал дальше, в Бутово, Щербинку, Подольск и (страшно и сладко произнести!) в далекий Серпухов!.. Мне девять, десять, одиннадцать лет. 1944-й, 1945-й, 1946-й годы.

Долго, долго моей самой любимой книгой были «Правила движения поездов по жезловой системе» — это относилось к железной дороге еще досветофорного времени. Именно на этой книжке воспитался мой консерватизм. Мне было жаль, что жезловая система отмирает и на путях ставят семафоры, а потом и светофоры. Как это примитивно: красный — нельзя ехать! желтый — скорость 16 км/час, зеленый — можно ехать. И все! И нет собственной инициативы, нет этой ловкости, когда на ходу, свесившись с подножки, помощник машиниста накидывает жезл на руку дежурного по станции, а тот отдает ему другой, как эстафету, как победный символ права на движение, и начинается новый перегон.

Здесь, на железной дороге, работают самые ловкие, самые ответственные люди. Единственно, кто на них похож, — это воздушные гимнасты в цирке. Там тоже полет трапеции рассчитан до долей секунды. И рассчитан не машиной, а человеческим опытом и талантом. Чуть раньше или совсем чуть-чуть позже ловитор промахнется, и гимнаст полетит в бездну на глазах ахнувшей толпы.

Ритм, создаваемый многими людьми, идеально чувствующими друг друга, — вот что такое железная дорога. Две полосы железа, обозначающие бесконечность, один божественно прекрасный, совершенно живой механизм — паровоз, и множество слаженно, нарядно, балетно трудящихся людей! Пассажиры нужны только как публика, восхищенно-благодарно аплодирующая этому ансамблю солистов.

И шло лето. С патефоном в соседнем дворе, с фокстротами, доносящимися из-за забора. Синее платье в белый горошек, обтягивающее внезапно округлившиеся за последний год формы хозяйской дочки. Чего это она стала такая озабоченная? Куда это ее несет каждый вечер на каблучках, проваливающихся в глинистую землю? Ни на мое: «Привет! Чего это ты нарядная такая? День рождения, что ли?» — ни на запоздалые крики из окна ее матери — тети Ньюры: «Чтоб, как стемнеет, дома быть, а то смотри!» — даже не оборачивается. Едкий дым из самоварных труб, набитых щепочками и основными шишками.

Мелкая речка с густым кустарником на высоком песчаном правом берегу, где местная подрастающая шпана всегда караулит меня, чтобы избить за то, что, «когда в то воскресенье с отцом твоим на откосе купались, собаку на нас натравливал», а у меня и собаки-то никакой нет, у соседей есть Рекс, так он на цепи сидит.

И опять — лучше нет, как уйти из-под маминого надзора, миновать обходом опасные кустики, где шпана притаилась, вброд через речку за отмель — на тот берег, потом топким лугом до большой пыльной дороги с колючим гравием и уж по ней мимо длинных сараев и насосной башни до долгожданной надписи на дощечке, прибитой к столбику, — БУТОВО.

Тут не просто платформа — тут станция. Пути разветвляются. Стоит маневровый паровоз серии «Ш». Сидит машинист — виден в окошко — неподвижно сидит и смотрит как полоумный в одну точку — перед собой и немного ниже. То ли книжку читает, то ли спит с открытыми глазами. Паровоз слегка похивает, отдувается, а машинист сидит и не шевелится. А я стою у сарая за пустой заросшей колеей и смотрю снизу вверх, ожидая сам не знаю чего. Какой-то высшей милости. Какого-то снисхождения. Я и не надеюсь, скажем, быть позванным и влезть в вожденную чумазо-зеленую будку. Я смутно надеюсь лишь на то, чтоб быть замеченным, чтоб образовалась хоть какая-то связь... чтоб прекратилась эта неподвижность и что-нибудь сдвинулось с места... машинист поднял бы глаза, повернул голову и подумал (бы): вот стоит у сарая мальчик... Чего он тут стоит? Подошел бы да помог мне поддержать какой-нибудь рычаг, а я в это время поверну колесо реверса, потому что помощник на фронте, а одному справляться трудно. И он крикнул бы: «Эй, пацан!» Дальше я не пускаю свое воображение, ибо все, что дальше, просто немислимо.

Проходят часы, и солнце, покраснев еще больше, совсем по-июльски и уже по-вечернему начинает скатываться к угольным холмам, норовя сесть на трубу дальней котельной. Проходят поезда по основной линии — и товарные, и пассажирские — на Курск, на Харьков, на Ростов... Но я не изменяю *своему* паровозу. Пусть он сейчас неподвижен, пусть этот маневренный состарившийся красавец «Ш» ничего не сманеврировал за целый день, пусть дома мне будет серьезная баня за исчезновение до самого вечера, но моя верность будет вознаграждена... пусть не сейчас... пусть потом...

— Ты чего здесь ошиваешься? — раздается слева, и я с трудом поворачиваю голову на затекшей шее. Какой-то охранник в полувоенной форме и с ружьем движется вдоль сарая.

И тут же начинается движение возле паровоза. Идут какие-то двое и, страшно и грязно ругаясь, обращаются к машинисту, а тот — мой будущий друг, моя надежда — отвечает им тем же. Паровоз начинает шипеть громче. Все трое орут и размахивают руками, а охранник с сонным опухшим лицом закуривает самокрутку и, наглотавшись дыма, выпускает его из гнилозубого рта в мою сторону и вместе с дымом рычит что-то угрожающее. Я отбегаю к углу сарая и свора-

чиваю к штабелям в перекрест положенных маслянистых шпал и мимо них дальше, к большой дороге, к дому.

Эту бессмысленную картинку вспоминаю я через много лет, когда в газетах пишут о страшном расстрельном и похоронном месте БУТОВО, где тысячи были положены во рвы, куда привозили живых, чтобы сделать их мертвыми, и мертвых, чтобы они исчезли с лица земли. Это началось еще перед войной, но продолжалось тогда, где-то близко от тех черных холмов, и в 44-м, в 45-м и после Победы.

А Победа... Победа была славная. Правда! Это правда, не выдумки... я свидетель. Все что-то дарили друг другу, даже неизвестным. Даже в наш отгороженный от мира островок цирка на Цветном бульваре пришли подарки. Нам подарили два противогаза, пистолет и несколько толстых — ртом не ухватишь — плиток горького американского шоколада. Кто подарил — не знаю. Кому — не помню. Кому-то из цирковых детей. И счастливчик, не в силах употребить это сам и не смея показать родителям — нравы в цирке были суровые, а порой и жестокие — вынес это на задворки нашей территории, за угол конюшни.

Именно 9 мая 1945 года часов в одиннадцать утра мы отметили Великую Победу, выстрелив по разу из пистолета в консервную банку и ни разу не попав (отдача сильная, и пистолет дергался в руке у каждого). Стреляли на улицах много и радостно, палили в воздух, и потому наши скромные салюты не привлекли внимания. Потом мы разобрали на части противогаз. Когда добрались до сеток фильтров, ахнули от восхищения — потрясающие вещицы! Совершенно ни к чему не приложимые, но потрясающие! Сыграли в пристеночек — слышали про такую игру? Ставкой были останки противогаза. Кто выиграет — тому фильтры, второе место — раздолбанный корпус, третье — ребристый шланг. Второй же (пока целый) противогаз и обе страшные резиновые маски со стеклышками для глаз по праву остались в распоряжении первоначального владельца.

И наконец шоколад! Даже Петька Володяев, сын дворника, даже Петька с его громадным ртом и крепкими, как клещи, зубами не смог ни куска откусить от этого шоколада. Били плитку о камень — и тоже без результата, только запачкали. И тогда Ленька Плинер (мальчик — акробат труппы «Плинер — икарыйские игры») сбежал в гардеробную (она же мастерская, где чинили аппаратуру) и принес гибкую злую пилу — ножовку. Отпилили пару квадратов и настругали немного крошек. Шоколад был отличный. Полыхало во рту неизвестным вкусом. Американским. Это после лакомств военных лет — черных комочков вара, как жвачка, или жмыха, внешне отдаленно напоминавшего довоенные вафли.

Вечером, кажется, вся Москва толкалась и целовалась на Красной площади. Но это было уже слишком многолюдно, монотонно и пьяно. Бесконечные залпы салюта под крики толпы. Но к салютам (почти ежедневным) уже привыкли за последний год. То тут, то там подбрасывали в воздух военных — качали и славил. Подбрасывали штатских. Подбрасывали женщин — те визжали. Подбрасывали пилотки, шляпы, бутылки, детей... И выше всего взлетали бесчисленные и беспорядочные ракеты. Ноги болели — находились ноги, и еще оттоптали их в темноте солдатскими сапогами. Глаза закрывались от усталости. Но в толпе бродило шепотом: СТАЛИН. Сталин скоро выйдет на мавзолей. Вставали на цыпочки, тянули шеи — может, выйдет, может, увидим, ах, если бы! УРА-А! УРА-А-А! Вот, это он!.. Нет, показалось. Да не дави ты так, держись на ногах, ребят подавишь! Вот, вот — прожектор уперся белым снопом света в трибуну. Сощурились. Ничего не

разобрать! ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ УРА-А-А! Навались! По-о-о-шли побли-и-и-же, а то не увидим. Жми-и-и! Ох, повалился целый ряд. Осторожней вы, женщина поранилась. Помогите-е! УРА-А! ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ УРА-А-А!

Не повезло. Не довелось увидеть Сталина. Но можно было вскидывать вверх портреты, и вглядываться в родные черты, и размазывать по щекам неударимые слезы восторга и благодарности за Победу!

Тем же летом мы снова ехали в Битцу. Вагон набит битком. Шумно. Много веселых и пьяных. Отец и мама тоже веселые. Едим какие-то вкусные пирожки из корзинки и угощаем соседей. И нас угощают — яблоками, что ли? Или огурцами. Два пьяненьких солдата, оба с хриловатыми пронзительными тенорками, постепенно становятся центром внимания. Они и сами чувствуют себя как на сцене. У них уже не разговор, а диалог — для публики. Они подают реплики, и вагон дружно их принимает.

— Были бы валенки, не пили б по маленькой!

— В Азии, в Европе ли всю одежду пропили!

— Ух! За ваше здоровье, Степан Алексеевич!

— И за ваше, Андрей Степанович!

— А чего это у вас, Степан Алексеевич, медалей мало?

— А грудь худая, вешать некуды. А мядали, они у меня усе ув ранце спрятаны.

Ой, как хохочет вагон! И солдатики довольны успехом. Выпивают, раскрасневшись. Точь-в-точь картинка с обложки книжки «Василий Теркин». Как все славно, будто всем вагоном в одни гости едем. «Люблино! Люблино дачное! Люблино-депо, остановки не будет! Следующая — Царицыно!»

— Устали вы воевавши, Степан Алексеевич, что ж вы едете-то с Москвы? Там теперя самое хорошо, в Москве-то. Всем, кто воевал, награды будут давать.

— Э, Андрей Степанович, а сами-то вы чаво тогда с Москвы драпаете как фриц? Вот и получали бы наградку — мядалек, да поболе.

— А это я вас провожаю, Степан Алексеевич. А после вернуса в Москву, приду к товарищу Сталину и скажу: «Вот я весь отвоевался, и ничего мне боле не надо, а дайте мне что положено. А что положено, то вы сами знаете». А товарищ Сталин положит мне руку на темя и скажет: «Отдыхай, Андрей Степанович, теперя отдыхай, а после разыщут тебя и что положено, не сомневайся, вручат».

У всего вагона слезы на глазах, и у артиста на ресницах блеснуло. Умиление. А второй тенорок похрипывает:

— Нет, Андрей Степанович, товарищ Сталин сперва положит тебе руку на темя, а потом маленько придавит, а потом и вовсе пригнет тебя и скажет: «Повоевал ты, ну и правильно, а теперя я тебя так согну, чтоб вспомнил ты, кто ты есть, и знал свое место».

Только теперя стало слышно, как стучат колеса, как дребезжит расхлябанное стекло в окне тамбура. Все разговоры смолкли, и тихо стало в вагоне. И все смотрят, а не видят. Внутрь себя каждый смотрит и не знает, как ему поступить. Это страх. И в меня он проникает, хотя я не вполне понимаю, что, собственно, произошло. Но что-то произошло. Сидит Степан Алексеевич с открытым ртом и никак закрыть его не может. Не то что-то сказал артист. Провалился спектакль. Вернее, не спектакль, а провалился зрительный зал, вагон то есть, провалился в какую-то дыру молчания и тоски.

«Царицыно! Царицыно дачное! Следующая — Красный строитель!»

Ух, как пошел народ на выход! Смотри-ка, это, оказывается, все почти до Царицына ехали. Впереди еще Битца, Бутово, Щербинка, Подольск. Нет, смотри-ка, все в Царицыне сошли. Осталось несколько человек всего. И одинокие солдатики.

И мы с папой-мамой в углу. Только отец сидит какой-то странный. Почесывает то голову, то бородку, плотно губы сжал и смотрит в окно... Мы идем по пыльной дороге к деревне, и еще издалека слышно — патефонный голос поет:

Хороши весной в саду цветочки,  
Еще лучше девушки весной.  
Встретишь вечерочком  
Милую в садочке,  
Сразу жизнь становится иной.

Я очнулся от тяжелого короткого сна. В купе было душно, и подушка была совершенно мокрая. Мое путешествие в Европу началось. Поезд подходил к Смоленску.

### *Смоленск — Минск*

В семидесятые, самые застойные, годы я вдруг стал писать. Прозу. И не статьи, не рассказы, а сразу целые повести. В стол. Без всякой надежды опубликовать и — клянусь! — без малейшего желания их кому-нибудь показывать. Несколько лет они пролежали даже не напечатанные на машинке, а просто в тетрадках, исписанных от руки. Я был слишком занят. Родилась дочь Даша. Начались серьезные трения с руководством города (мы жили тогда в Ленинграде), многое говорило за то, что появился ко мне нездоровый интерес КГБ. При этом я много играл в театре в постановках Г. А. Товстоногова. Впервые стал всерьез заниматься режиссурой. Поставил «Фиесту» Хемингуэя, «Избранника судьбы» Б. Шоу, «Мольера» Булгакова, «Фантазии Фарятьева» А. Соколовой. Очень много выступал с концертами. Сделал несколько больших моноспектаклей.

С середины семидесятых начались запреты. Сперва они касались работы на радио и телевидении, потом перекинулись на кино и, наконец, охватили плотной преградой всю мою деятельность, а значит, и жизнь. Но об этом позже.

Была такая забавная поговорка: «Писатель, если его не издадут, может писать в стол. Артисту хуже: если его не выпускают к зрителю, он может сыграть только в ящик». Так вот, видимо, чтобы не сыграть в ящик, я стал писать в стол. И главным своим произведением (казалось, совершенно непроходимым) я считал повесть «Чернов». Повесть была о страхах — мелких и крупных, об оскудении души в душной атмосфере застойного быта, о подмене и раздвоении личности в условиях тотальной слежки тоталитарного режима. Герой повести раздвигался буквально — на талантливого, некогда даже выдающегося архитектора Александра Петровича Чернова, тянущего ляжку все более тусклой и неустроенной жизни, и благополучного, ничем не обремененного и очень богатого «западного» человека — господина Пьера Ч. Герой и его фантом почти во всем были противоположны. Связующей, скрепляющей их неразрывное единство была тяга к поездам. Чернов заполнил свое холостяцкое жилье гигантским макетом, в котором бегали паровозики, вагончики, составчики по разным замысловатым, отлично выполненным рельефам. А Пьер Ч. спасался от пустоты жизни в купе

комфортабельного трансъевропейского экспресса, который катился и катился через Европу, и, кажется, пути этому не было конца.

Как и мой герой — Чернов, — я был тогда невыездным, как у него, у меня был за границей друг, с которым я продолжал поддерживать контакт, но был полон страхов — обоснованных и мнимых. Путешествие в экспрессе господина Пьера Ч. было тогда тайной мечтой — Александра Петровича и моей. Он ехал через Вену, Женеву, Милан, Брюссель, Гаагу — города, которых я никогда не видел и твердо понимал в то время, что никогда их и не увижу.

Железная дорога прихотливо вилась между странами, границы которых были так легко преодолимы с хорошим паспортом богатого пассажира. Все заграничные подробности путешествия возникали в моей голове из скромных школьных знаний географии и некоторой начитанности. А больше всего из фантазии, в то время почти болезненной. Мне нравились звучные названия: Амстердам, Антверпен, Люксембург, Копенгаген (как я был изумлен, когда через много лет, попав наконец в звучный КОВЕННАVN, я узнал, что ГАГЕН — это измененное ХАВН, то есть ГАВАНЬ, а все вместе КОПЕНГАГЕН — ТОРГОВАЯ ГАВАНЬ. И только! И никакой мистики). Трансъевропейский экспресс в моей повести упирался в море, там кончались пути. Еще одно великолепное название — Барселона. Там и обрывалась железная дорога. Там обрывалась и жизнь обоих персонажей.

Кажется, я перепутал Барселону с Лиссабоном — вот где действительно океан и конец Европы. Но я не стал поправляться. Мне было важнее, что в слове БАРСЕЛОНА на один слог больше, чем в ЛИССАБОНЕ. Да и потом для меня (для всех нас!) и то, и другое было так бесконечно далеко и недостижимо, что... не один ли черт — Барселона или Лиссабон?!

В Минске стояли 15 минут. Было уже темно. Наш вагон «Москва — Берн» был в хвосте берлинского поезда. Нам не хватило ни высокой платформы, ни огня. Под вялым дождем, смешанным со снегом, торговали горячей картошкой и неприятно жирными куриными ногами. Бегали какие-то особенно несчастные мокрые собаки.

Когда поезд тронулся, я окончательно уверился, что в двухместном купе международного вагона еду один. Это было приятно. Мне было совсем по-детски эгоистически радостно и одновременно немного стыдно за свою радость. Собаки бежали за вагоном, и какие-то непонятные люди с большими мешками безнадежно стояли под припустившим сильнее дождем. В купе было тепло, светло. Специально для этой ночи — последней на родной земле — у меня была припасена бутылка водки, которой я ни с кем не собирался делиться. У меня были славные бутерброды и славная книжка на случай бессонницы. Я разложил яства... я отвинтил... я налил... я потерял руки...

### *Минск — Брест*

Вот тогда-то резко отъехала дверь и появился Виталий Геннадьевич, в желом пальто, в кашне и с двумя чемоданами.

Есть люди с таким особенным голосом, который вроде даже приятен — он звучен, он немного, пожалуй, слишком сдобен, но, во всяком случае, недурен. Речь тоже недурна — достаточно культурна, слегка (абсолютно в меру, поверьте!) присолена матерком, а потому не пресна, в какой-то мере, можно сказать, даже юмористична. Одним словом, хороший голос и хорошая речь. Недостаток этой речи, пожалуй, только в ее избытке.

Оказаться с таким человеком наедине в замкнутом пространстве более чем на десять минут — пытка. А попасть в одно купе на двухсуточное путешествие!..

— Будем знакомиться, Виталий Геннадьевич, ведущий профессор, — сказал Виталий Геннадьевич. — Ваше седьмое? А мое восьмое. Чего-то мне ваше лицо знакомо. Я еще в Москве подумал, что вы на кого-то похожи... О, антресоль-то свободная, я туда оба чемодана пихну. А ваши где? Под полкой? Это зря! Они сейчас, тяни их, на этой границе совсем оборзели, что ты! Никаких там под полкой — все на виду должно быть. Я даже каждый раз все замки заранее отпираю. Все для вас, все наружу! Во, классный анекдот! Грузин говорит: «А все равно грузины лучше, чем армяне!» Его спрашивают: «Ну чем? Чем?» «Чем армяне!» Ха-ха-ха! Класс, да? А чего это у вас бутерброды разложены, а выпить нечего? А в стакане это что, вода? Ну-ка, ну-ка... Да это ж пахнет... Это ж водка! А-а... ха-ха-ха... колоссально, а я думал — вода. Стой, тянитская сила, узнал! Вы же актер, да? «Двенадцать стульев», да? Тянитская сила, а я все смотрю и думаю — знакома морда. Колоссально! Жене расскажу — не поверит. Она мне вообще никогда не верит. Чего бы я ей ни рассказал — не верит, и точка! И правильно делает, ха-ха-ха! Ну, чего там бутерброды... Мы сейчас в ресторан пойдем, пока не закрылся и пока на наши деньги. Это только до Варшавы, а потом все — свистец! — только на валюту! Вы сколько в декларацию пишете? Ну, правильно! Я тоже так: сколько положено, столько и пишу. Ни больше, ни меньше. Больше — заметут, а меньше — подозрительно, правда? Ладно, все, пошли в вагон-ресторан. Я приглашаю. У меня этих наших деревянных навалом... Во, видали? Полный бумажник... Кстати, позвольте на всякий случай чего вручить вам мою визитку. Вот, Виталий Геннадьевич... ведущий профессор... и старший консультант... генерального... конструктора... по социологии. А то я, как вошел, сразу смотрю — ну знакомое лицо!

Беда в том, что и мне его лицо знакомо. При посадке на Белорусском вокзале был скандальчик. Возле соседнего — бруссельского — вагона стоял носильщик с телегой, горой нагруженной разнокалиберными вещами и пакетами. Носильщик требовал еще добавочную пятерку, потому что «сами пересчитайте, сколько их тут». А владелец вещей, оказавшийся впоследствии ведущим профессором, был в то время — удивительное дело — совершенно пьян. Он никак не мог в толк взять, чего от него хотят, и совал носильщику рубль. А тот от рубля отказывался и требовал пять. Будущий профессор качался на неверных ногах и говорил: «Ну чего ты, ну чего ты хочешь? Ну нет у меня больше, тянитская сила, ну смотри...» — и показывал бумажник, который был — я сам это видел — совершенно пуст. И это был тот самый бумажник, который он теперь демонстрировал мне, и теперь он был — это же прямо фокус какой-то — туго набит и нашими купюрами, и валютой.

Еще тогда вся эта сценка мне приметилась, и как-то неприятно приметилась: груда вещей, носильщик какой-то заморыш прыщавый и этот здоровый, краснощекий профессор, который пританцовывает на пьяных ногах и все трясет бумажником и карманы выворачивает — ну пусто, ну ни копейки, ну видишь... а между тем покрикивает: давай, Боря, давай, Сережа, давай, давай заноси... там пока на кровати кладите... Молчаливые невнятные Боря — Сережа сновисто таскают тюки и пакеты в вагон. И над всем этим снег хлопьями, и сразу тает, и, как коснется перрона, сразу в грязь обращается.

Я еще подумал: какой скверный наигрыш, какая неправда, как это человек в Брюссель едет с совсем уж пустым бумажником. И что ж Боря — Сережа не могут в конце концов, что ли, четыре рубля наскрести? Потом я решил — пьян в стельку краснорожий пассажир, до самого Брюсселя не проспится. Ан, смотри-ка, в тот же день тут как тут, вроде и вовсе не пьяный, и бумажник, как бочонок.

Сейчас главное — Брест пройти, советско-польскую и потом германо-германскую, там они все нюхают... а остальное ерунда. У меня сын в Брюсселе, старший... все время просит: то привези, это привези... Там у них дорого все охерительно... Ну, я пока по ребятам раскидал... после германо-германской там все нормально будет... за Берлином они уже не рыпаются. Во Франкфурте-на-Майне я все равно к ним в вагон перейду. Да и в Брюсселе-то три дня всего, так... погулять... и в Лондон... на пароме и в Англии. На Би-би-си. А вот интересно, вы Би-би-си теперь слушаете? Раньше это понятное дело. А вот теперь, когда все можно? Вон что творится! Мы ж совсем открылись, а они к нам проникают. Сознание уже практически управляется оттуда. «Свобода» открыто вещает, Би-би-си — и говорить нечего. Изнутри всякая гниль полезла... Это вот вам, актерам, писателям, вам надо не терять влияния! Вы ж смотрите, что с молодежью делается! Но, конечно, в этом застойном дзоте отсиживаться нельзя, открываться надо. Надо выходить на контакт. Потому что экономика в штопоре, но по идеологии мы все равно сильнее. Я осенью читал в лондонском университете лекцию об экстремизме в молодежных организациях. Они рты открыли! Потому что они думают, что мы совсем лапти. А я им два часа на хорошем английском и довольно откровенно — что у нас в Свердловске творится, что в Кургане... Там же фашисты головы поднимают. Нормальная проблема — запросто на диссертацию тянет... Ну они, в Лондоне, меня слушают и прокисают... Видят, что мы не как раньше... что мы о своем больном говорить можем... «Мистер Прахов, мистер Прахов, мы хотели бы услышать развитие темы!» А я говорю: пожалуйста, могу курс прочесть, но параллельно надо охватить средства массовой информации. Пожалуйста, я вам курс, вы мне время на русской службе Би-би-си. Они начали, что, дескать, это разное, это другое ведомство... Ну, ладно... После Рождества и всех их каникул мы пригласили одного из их боссов к нам на две недели... Сделали поездку Москва — Ленинград — Киев — Тбилиси... Попили его, погуляли... И все! Сейчас еду туда — он меня встречать будет. Личный контакт. Наши бывшие пытаются там рыпнуться: «Нам не нужны из Союза, у нас много своих опытных работников...» Сто-оп! У вас диссиденты, а не работники! Это другая квалификация и другая точка зрения! А как насчет объективности, а? Или вас устраивает одностороннее освещение фактов? Хоп! Все! Вот сейчас еду уже конкретно разговаривать... Идеологию мы не должны сдавать ни в коем случае... Экономику просрали, значит, держи порох сухим в идеологии. Кстати, об экономике: если хотите сигареты покупать, только во Франкфурте-на-Одере — ровно через сутки. Там они в два раза дешевле в TAX FREE. Буквально в два раза. Но только на марки. Доллары они не берут... Ну, все, все, пошли в ресторан, отметим знакомство. О-о, буфет идет!.. Ах ты, моя голубка! Что у тебя осталось-то к последнему вагону? Не-е, это не то, это не пиво... пива мы в Германии попьем... О, смотри... виски! Сколько тут? Двести пятьдесят грамм? Давай! И орешков! Сейчас выпьем за начало пути. Видишь, голубка, с кем я еду? Узнаешь лицо? Лицо узнаешь? То-то!

На рассвете была граница.

### *Брест. Стоянка*

Знаете ли вы, что такое граница? Если вы подобно мне советский человек, то вы знаете, что такое граница. Если же вы человек иностранный или наш, но совсем молодой, то вы понятия не имеете, что такое граница.

Граница — предел, черта, за которую НЕЛЬЗЯ. Граница — грань возможного. На границе тучи ходят хмуро. Пограничник в тяжелой шинели, застегнутом на подбородке и надвинутом на лоб островерхом шлеме — герой нашего



детства. Он не спит никогда. Он стережет. Чтобы ни туда, ни сюда. Граница на замке. Это колыбельная наших младенческих лет. Спи спокойно, мой маленький, никто не придет, граница на замке.

**ГРАНИЦА.** Это был магический круг длиной во много тысяч километров. Разве мало тебе места внутри этого круга? Разве не бесконечно разнообразна здесь природа? Разве не свободен ты ходить, ездить, летать и плавать от одной границы до другой? Ты свободен передвигаться повсюду! **КРОМЕ.** Кроме мест заключения и мест, входящих в перечень секретных. Их много, их очень много. Островками, островами и целыми архипелагами они разбросаны повсюду... Но разве без них мало простора? Правда, имеются такие административные осложнения, как **ПРОписка**, **ПРИписка** (к месту службы, к территории, к секретному городу), но это проблемы индивидуальные. А вообще-то **ВСЕ** от края и до края, от границы и до границы,— это твоя страна! Правда, не от самой границы... и не до самой...

Граница — это такая тонкая, такая значительная при этом черта, что уже на дальних подступах к ней начинается **ПРИграницье**. Тут живут особые люди — со специальными документами, со специальными правами и обязанностями. Чтобы обычный «внутренний» человек мог попасть в приграницье, нужно разрешение, некий вкладыш в паспорт. Если тебе выписали и вклеили этот вкладыш, значит, тебе доверяют, значит, ты свободен подойти почти к самой пограничной полосе. И ведь не все же десятки тысяч километров лес, бывают и просветы, и прогалы. Если день не туманный, можно видеть — в это трудно поверить, но, ей-богу, можно видеть — жизнь **ПО ТУ СТОРОНУ ГРАНИЦЫ**.

Вот стоит корова. Она щиплет траву и обмахивает себя хвостом. Но это другая, это не наша корова — по цвету, по размеру, даже, кажется, по форме, это немножко другая корова.

Вот едет грузовичок. Он весь как-то иначе сделан, по другим каким-то физическим и эстетическим законам. Едет себе... и почему-то оставляет меньше пыли, чем наши грузовики. Это, видимо, особое устройство колес... или дорог... Или это такое особое устройство моего зрения, что все, что **ТАМ**, кажется чуть ярче, чуть миниатюрнее, чуть чище... как в цветном предутреннем сне.

Граница — табу № 1. Об этом написаны сотни рассказов и поэм. В границе заключена тайна жизни, последняя ее черта. И потому, наверное, так тянет заглянуть за эту черту, а что же там??? Потому так манит граница и с той, и с другой стороны. Оттуда лезут и лезут шпионы — на планерах, на парашютах, на ходулях, на копытах, ползком, задом наперед. Под видом мальчиков на велосипедах проникают матерые престарелые лилипуты. Под видом заблудившихся охотников, странников, священников идут и идут разведчики и диверсанты.

И вот уже не поручусь я, что эта корова на том берегу вялой речушки не состоит из двух специально подготовленных наблюдателей. И не дам я руку на отсечение, что на крыше того слабо пылящего грузовичка не установлен особый перископ, через который ясно виден весь наш берег, и я, в частности, виден во всех моих подробностях. Манит, манит их всех наша сторона!

Да, но нас-то почему так манит за эту границу — вот вопрос? Прямо скажу — дурацкий вопрос! Почему домашнего кота манит выскользнуть за дверь родной квартиры? Да потому, что интересно: а что там? А мы советские люди. Для нас пересечь границу — это как умереть и воскреснуть! Это Пасха Господня для нас, безбожников. И потому — по неопытности, по незнанию, по невежеству — начинает казаться (ошибочно, ай, как ошибочно!), что *там* **РАЙ**, светлый и бесконечный.

Сейчас-то что, сейчас я уже попривык. А когда в первый раз... в 63-м году, по весне... Ехали мы с двумя товстоноговскими спектаклями — «Варвары» М. Горького и «Океан» А. Штейна,— всей труппой БДТ на целых два месяца за

(глаза зажимаю и головой качаю от неправдоподобности — совсем ЗА) границу! В Болгарию!!! И в Румынию!!!

На пограничной станции Унгены стал поезд. И готовили нас к пересечению границы действительно как к переселению на тот свет. Отдельно от нас стояли бесконечной чередой ДРУГИЕ КОЛЕСА. Здесь начиналась не наша, ИНАЯ КОЛЕЯ. Мощные домкраты — по четыре на каждый вагон — приподняли нас всех, нашу опору — наши колеса — укатили из-под нас, и состав (я не вру, я ведь не вру!) повис в воздухе!.. Потом прикатили другие колеса, мы опустились на них и с этой минуты стали наполовину (нижнюю) уже иностранными. О Боже, какое странное ощущение — стоять на другой, не нашей колее!

Пошли по вагонам суровые проверки, пошли хмурые, как тучи, люди с железной выдержкой и ледяной вежливостью. У нас была хорошая труппа, отличные актеры. Но это ж там, в Ленинграде, мы кумиры и нас знают, а здесь, далеко... кто мы? Никто мы!

Лебедев? Ну и что ж, что Лебедев. Лебедевыми пруд пруди. Евгений Лебедев? Не знаем, мы по театрам не ходим. Что Доронина? Кто Шарко? Что нам Басилашвили, Лавров, Макарова, Юрский... Главный кто? Товстоногов? А он кто? Режиссер? Ну, это вообще никакого интереса. Счастливого путешествия, товарищи артисты! Берегите честь нашей Родины! За мной, в следующий вагон.

Ночь. Никто не спит. Мы все в великом возбуждении. Какое необыкновенное ощущение — впервые ПЕРЕСЕЧЬ ГРАНИЦУ СВОЕЙ РОДИНЫ! Эта Родина так хорошо вырастила и обучила нас, что вот — мы нужны и тут, и там — за границей. Наша Родина теперь такая открытая. Сталин соорудил стену между миром и нами, а теперь... Теперь мы полны свободлюбивых идей, мы везем их с собой, мы открыто говорим о них... Посмотрите хоть пьесу «Океан» Александра Штейна в нашем исполнении в постановке Г. Товстоногова и М. Рехельса. Вы знаете, какие слова говорит там артист Юрский в роли Кости Часовникова? Он прямо говорит Лаврову в роли Платонова: «Нет, если партия — это такие люди, как ты, тогда можно вступить в партию, тогда другое дело». Этот спектакль мы и будем играть по всей Болгарии и по всей Румынии. Они там ахнут. Потому что у нас в стране пошли большие перемены, а у них все еще говорят, что в партию надо стремиться без всяких условий, просто стремиться и по возможности быть в ней. А у нас в Ленинграде, Москве, Киеве... сто пятьдесят раз уже прошел «Океан» Штейна с полными аншлагами, овациями, где артист Юрский в роли Кости Часовникова... Впрочем, это я уже говорил.

А сейчас... в данный момент... как маловажны все наши центральные дела, наши успехи и неудачи, вся наша жизнь с ее мелочной суетой... по сравнению с серьезностью ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ. Всякое пересечение границы есть преступление. В том числе и законное пересечение. Раз переезжаешь — значит, переступаешь, раз переступаешь — значит, преступление!

Так не говорится прямо, но это читаешь во взглядах пограничников и во всей могучей постановке этой государственной мистерии: «НОЧЬ. НАТУРА. УНГЕНЫ».

Последние метры по родной земле. В вагоне невыносимое напряжение тишины. Слышно, как маленькая отставшая железка вякает под потолком. Едем медленно. Ничего не видно за окнами. Только колючая проволока поблескивает. Не выдерживает зам. секретаря партийной организации (хороший актер, между прочим) и густым своим голосом произносит громко: «Эх, русских бы сейчас щец!» «Заткнись!» — выдыхает весь вагон. Щецы хороши, русские еще лучше, но сейчас не щец хочется... сейчас хочется... черт его знает, чего нам всем хочется. Молчать! Смотреть! И слушать! Мы ПЕРЕЕЗЖАЕМ ГРАНИЦУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!

Ярко ударил свет прожекторов. Где, где она? Где мы? Внимание! Лбы влипли в оконные стекла. Ну! Где?..

Будка с часовым... Мост.

Вот! Пошла вспаханная полоса, она, она... Ничейная!

Полоса моя нейтральная! То есть не моя, в том-то и сила, что она уже не моя, она ничья. Ровненькая — каждый след будет виден. Человек пройдет — видно! Кошка пробежит — видно! Муха пролетит... Ладно, хватит ерничать! Кончается полоса.

Медленно идет поезд на чужих колесах.

Ослепительный прожектор прямо в глаза. Не видать!

Зажмурились глаза.

А когда открылись...

Все другое!

Стоят две цистерны — другой формы, не наши. Стоит чумазный смазчик с ящиком и лейкой — все не наше: и ящик, и лейка, и смазчик... И фуражка на нем форменная — не наша.

Боже, какое перенапряжение, какая усталость и какое возбуждение. Мы перешли... мы переехали... мы пересекли!

Эта граница и теперь в моей душе. Я вспоминаю это не для запоздалого осуждения и не для покаяния. Мне нужно это помнить, потому что следы этого остались во мне. В нас. Эта граница не десятилетий, а веков русской истории. Беспредельность внутреннего пространства и закрытость внешнего.

И я не насмешничаю, не издеваюсь. Я стараюсь не быть угрюмым в моих рассказах о прошлом.

Поверьте, молодой читатель, мы вовсе не были слишком уж глупы или трусливы. И совсем не были заводными куклами, лишенными внутреннего содержания. Только вам, нынешним, не понять наших несчастий и наших радостей. Вы не знаете, что такое ухватить почти без очереди («Ну, полчаса всего постоял!») две бутылки водки и палку колбасы. Вы не знаете радости, когда — нет, не купил еще, до этого далеко! — а ЗАПИСАЛСЯ в очередь на холодильник и мой номер в первой сотне! И вы никогда не узнаете восторг, который переживала душа при пересечении границы: мне доверили, я достиг, я дожил до этого... я взлетел!

Дай вам Бог этого не узнать! Но не смейтесь над нами, дети. В вас наши гены. Валяйте, гуляйте... но помните это.

Теперь, когда все перевернулось, когда сотни людей из Омска ПРЯМЫМ рейсом летают на Кипр и в Барселону — отдохнуть пару неделек, когда мой приятель говорит: «Нет смысла ехать в Италию на машине, лечу самолетом, а там найму машину и своим ходом дальше», когда состоятельные (очень, очень состоятельные) люди из Сургута отправляют сорок детей в Париж на пять дней — только побаловаться в Диснейленде, а музеи и там остальное... ну посмотрят через месяцок, еще одну экскурсию организуем, — теперь, когда все так перевернулось, я спрашиваю себя: куда исчезла эта граница? Испарилась? Или приснилась она нам тогда? Или все дело в деньгах? Раньше мы были бедными, а теперь некоторые стали богатыми. Такими богатыми, что для них вообще уже нет никаких границ. Часто слышалось: какие эти западные люди свободные — в поведении, в жестах, в любых мелочах. Сразу отличишь от наших. Теперь наши, бывает, куда более иностранные, чем сами иностранцы... И говорят даже на разных языках, и такие свободные в поведении, что даже расхлябанные. Но в том-то и дело, что все это, КАК они и даже БОЛЬШЕ, чем они. Все это немножко СЛИШКОМ. Опять же говорят: «Нормально, процесс пошел! Со временем все устаканится».

Может быть, хотя не уверен. Не думаю. Я ведь не со стороны смотрю. Я тоже отсюда. Мой XX век большей частью протек в СТРОГИХ ГРАНИЦАХ. Они во мне. Они прошли через меня насквозь. И таких, как я, много, много. Нам нельзя превратиться в заграничных людей. Это притворством будет. Потому что мы, забыв про строгость границы, думаем, что преграды исчезли вообще. А, оказывается, У НИХ, у заграничных-то, у них свои преграды... и стенки, и потолки, и заборы, хоть и плющом увитые, а кре-епкие!

От родителей можно отказаться (это на нашей памяти бывало), а вот перестать быть их потомком... нет. Нетушки!

### *Брест — Варшава*

Виталий Геннадьевич наконец напился всерьез и проспал с храпом наше вторжение в Польшу. Невнимательные либеральные пограничники вколотили нам в паспорта по штампу, невнимательные таможенники подмахнули декларации с одинаковыми разрешенными суммами, и рассвет высветил белую равнину с черными ранками изб, рожиц, станционных строений. Был тот же февраль, но только уже заграничный.

Очень люблю весну. Рад бы вслед за Александром Сергеевичем восхищаться прелестями осени и восклицать: «...Я не люблю весны; Скучна мне оттепель; вонь, грязь — весной я болен...» Но что поделаешь — люблю весну. Ленинградскую раннюю люблю, когда лед на Неве меняет цвет и сквозь зимний автомобильный шум города просачиваются новые звуки — таяния, невнятного журчания, вздохов размораживающейся большой воды. И вдруг понимаешь, что ты не на материке и не на обширной тверди, а на островах, будь ты хоть на необъятной Неве, или на корректной Фонтанке, или хоть на узеньком канале Грибоедова.

И московскую весну люблю. Особенно позднюю, с сиренью в неизменных двориках возле неизменных сараев. Это ж сколько раз все сносили, давая простор небоскрегам! И небоскребы выросли... и состарились... и еще новые гиганты скребут небо, а рядом, внизу, тут же за углом — вот чудо-то! — все те же сарайчики непонятного назначения во двориках, где белье сушится на веревках и небритые мужчины в застиранных майках стучат костяшками домино или сидят бесцельно на скамейках, щурясь на солнце. И сирень, сирень... И вечера стали светлыми... и день все длиннее.

Я видел две особенные весны — Пражскую весну 68-го года и время цветения сакуры в Токио в 98-м. Они совсем не похожи. Они даже не сопоставимы. Поэтому очень важно будет рассказать про обе. Одна стремилась все изменить и перемены сделать необратимыми. У японской весны был другой принцип — ничего не менять и даже ни к чему не прикасаться. Ждать, видеть, смотреть... и знать, что цветению отпущено только две недели. А дальше — весне конец. Одна весна рухнула, другая вечна.

В Праге тогда дышало вдохновение. Все, что ни делалось, было талантливо, и все восхищались друг другом.

Наши спектакли шли в театре «На Виноградах», а поселили нас на другом берегу Влтавы, возле парка Фучика. Между театром и отелем курсировал специальный автобус, но манила улица. Хотелось идти пешком или ехать в трамвае — видеть эти лица, слушать полупонятные возбужденные разговоры. БДТ к тому времени был уже знаменит, и нас окружали репортеры, театроведы. Это были странные интервью. Интервьюеры мало спрашивали, а больше говорили сами, захлебываясь, рассказывали о своих переменах. Свобода! Свобода от слеж-

ки, от цензуры, от госбезопасности, от московских «советников» во всех областях жизни. Свобода от страха. «Может, и ошибаемся, но не боимся. Говорим громко», — сказал мне Богумил Барта, мой старый друг, соученик по Ленинградскому университету, а теперь профессор юридического факультета в Праге. Ироничный Богумил, скептик и насмешник, не мог скрыть восторг, переполнявший его.

А какой был невероятный театральный бум в городе и в стране! Подряд смотрели спектакли в театре «На Забраноу»: «Три сестры», «Иванов», «Царь Эдип», «Кошка на рельсах». Ослепительная режиссура Отомара Крейчи, мощный актерский ансамбль и два несомненных лидера труппы — Томашева и Тишка. Поражающие декорации Свободы.

А театр «На Забрадли»! А «Ревизор» в театре «Чиногерни Клуб» с Павлом Ландовским — Городничим и Олегом Табаковым — Хлестаковым, игравшим на русском языке. Я видел в своей жизни десятка два «Ревизоров» и сам сыграл несколько ролей в разных постановках, но клянусь — никогда так не хохотал вместе со всем залом, как на спектакле молодого тогда режиссера Яна Качера. А увлеченный Леош Сухаржица — актер, режиссер, журналист! А спектакль по Бабелю в театре «На Виноградах»!

Заметьте, очень много играли русских и советских пьес. Но не по приказу, не из-под палки. Слетели с глаз шоры, и появились свежие, яркие интерпретации. Публика ломилась повсюду. Очереди в кассы кино. Знаменитый теперь и полузапрещенный тогда фильм «Поезда особого назначения», гомерически смешная бытовая комедия с тем же Ландовским, едкие первые комедии Формана. Концерты классической музыки в костелах — толпа, яблоку негде упасть.

Франтишек Павличек, директор театр «На Виноградах» и активист дубчековских реформ, говорит: «Смотрите, смотрите, это и есть социализм. Была подмена, была фальшь, а это настоящее. Теперь все будет нОрмалНю!» Хорошо звучит по-чешски подчеркнутое О и Л без мягкого знака — «нОрмалНю»!

Мы едем по стране. Брно, Братислава. Там чуть потише, но тоже бурлит. И снова поездом возвращаемся в Прагу. Уже март, совсем тепло. Настоящая весна. Начало цветения. Мы потрясены. Мы ошеломлены. Мы влюблены в эту страну и в наших коллег из этой страны. Правда, появился некоторый привкус тревоги. В Москве недовольны. Москва сердится. Могучий «старший брат» хмурит брови. На безразмерной Вацлавской площади день и ночь идут митинги.

Пошли слухи, что западные немцы хотят оккупировать страну и чехи якобы готовы открыть границу. Советские газеты обвиняют Чехословакию в антисоветских настроениях.

«Где, где? — кричит Павличек. — Вы разве ощутили антисоветские настроения? — Он хватает Товстоногова и меня за рукава. — У вас сегодня свободный день. Берем машину и едем на границу. Вы увидите сами. Там все спокойно. Какая оккупация?»

Все это громко. И все это страшно. Потому что и их страна и наша — это страны стукачей. Они пытаются от этого избавиться, но пока это только попытка, а у нас стукачество нарастает.

«Расскажите там у вас, что вы здесь видели. Расскажите правду!» — кричит нам на перроне Павличек. Поезд на Дрезден — мы едем дальше, в ГДР. Я не могу забыть последних минут прощания с Франтишком Павличеком. Это не фраза, я и правда все тридцать лет, которые прошли с тех пор, это помню, и жуть охватывает сердце. Закатное солнце било в глаза. Толпа уезжающих и провожающих. В эти дни газетные вести стали совсем тревожными. Павличек почти не спал несколько суток. Глаза красные, воспаленные. Как официальное лицо, он произнес краткую прощальную речь. Стали входить в вагоны. Мы крепко подружились с ним за эти дни и потому обнялись.

«Ну, до встречи... Увидимся... вы звоните, вы пишете... я позвоню, я напишу...» — обычные прощальные слова. Я увидел влагу в его глазах. Может быть, переутомление, а может быть, слезы — так грустно ему с нами прощаться? Но не в нас было дело. «Пора, пора. Увидимся, увидимся», — сказал он. Поезд тронулся. Мы с Георгием Александровичем стояли рядом у открытого окна в коридоре. Павличек, не отставая, шел рядом с вагоном. И вдруг он широко улыбнулся. В сочетании с влажными глазами это было довольно жутко. Это был оскал усталости и боли. Поезд ускорил ход. Павличек побежал. Он поднял руку и, прощально махая ею, с широко открытым, квадратным, как у рыдающего младенца, ртом и неожиданно жестким взглядом мокрых глаз прокричал несколько раз: «Никогда больше не увидимся! Никогда!»

Он оказался прав. Он предвидел.

В конце июля того же 68-го года мы с моим другом Симоном Маркишем были в «Новом Свете». Тогда он был москвичом, а я тогда был ленинградцем. Мы съехались в Симферополе и отправились «дикарями» в поселок «Новый Свет» — восточный Крым, возле Судака. Ходили по горам, купались и пили шампанское. Познакомились с кем-то из руководства и были приняты на шампанском заводе. Были потрясены: никогда, нигде такого роскошного «брюта» не пил. Все «sprumante», которые продают сейчас — это вообще не шампанское. А «Вдова Клико», такая, какую мне удалось познать, ей-богу, хуже. Правда, «Вдова»-то была из магазина, а не прямо из заводского подвала, но все равно «новосветское» осталось недостижимым идеалом 68-го года.

В дощатый домик почты пришла на мое имя телеграмма до востребования: «Тебя вызывают должен лететь Чехословакию отлет восьмого августа целую мама». Я не был тогда да и никогда не был потом человеком, которого лично (!!) посылают за рубеж и который должен (!!) лететь. Однако... однако крайне интересно после весенних пражских впечатлений.

Наш отпуск с Симоном прервался на середине, и я вернулся в Ленинград. Нас посылали вдвоем с московским профессором — театроведом Хайченко — на скромный самодеятельный театральный фестивальчик в город Гронов, на севере Чехии.

Отлет был, естественно, из Москвы. Из других городов Союза тогда за границу не летали. М. А. Швейцер, узнав, что я неожиданно окажусь в столице, спешно назначил несколько смен речевого озвучания «Золотого теленка». Двухлетние съемки фильма закончились весной, и теперь в летнюю жару собрать актеров на озвучание было проблемой. С утра до позднего вечера мы стояли перед микрофоном в темном зале и старались вложить в губы своих персонажей произнесенные нами прежде слова. Михаил Абрамович был весел, требователен и полон сомнений. Делали иногда по двадцать и более дублей. Я все говорил: надо успеть до седьмого, восьмого я улетаю за границу. Зяма (Зиновий Ефимович Гердт) — наш несравненный Паниковский, объехавший со своим кукольным театром чуть ли не весь мир, едко смеялся надо мной: «Вы это Чехословакию называете за границей? Сережа, у вас склонность к чудовищным преувеличениям. Что за паника? Вы едете в Чехо, извините за выражение, Словакию, а я еду в Красную, не при детях будь сказано, Пахру. Какая разница? И день позже, день раньше — не имеет значения».

Мы закончили работу седьмого поздно вечером. Ноги отваливались от усталости. В голове гудело. Но Зяма, как всегда, шутил, а мы хохотали над его шутками. «Прощайте, Сережа! — кричал он. — Ведите себя там хорошо, все время напоминайте себе, что вы находитесь за границей! — И уже во дворе студии: — Не продавайте Родину!.. Дешево!»

С Григорием Аркадьевичем Хайченко мы познакомились при получении авиабилетов и паспортов с визами. Нас посылал СОД — Союз Обществ Дружбы, организация, наспигованная КГБ так, как нынешнее телевидение наспиговано рекламой. Нам в двух словах напомнили, что обстановка ТАМ сложная, что нужно «держатъ ухо остро» и... и все. И ничего больше!

Я думал, что он стукач. А он думал, что стукач я. Ведь кто-то должен был быть стукачом в нашей делегации из двух человек. Мы быстро долетели до Праги. Нас быстро встретили и поселили в Палас-отеле на Панской улице — совсем рядом с Вацлавской площадью. Мы быстро провели встречу в Доме советской науки и культуры — очень быстро, потому что те, кто пришел на встречу с нами, очень торопились. Мы говорили коротко и неинтересно. И все время думали: кто из нас стукач? Мы быстро поспали в отеле и ранним утром выехали на черной машине «шкода». Мы заехали в Страгов монастырь, где работали архивисты, и захватили веселого старика, красивого и неряшливого. Он сказал, что его зовут профессор Владимир Браунер. Он был уверен, что мы оба стукачи.

Мы быстро доехали до крайнего севера страны — всего километров восемьдесят. В городе Гронов в школе возле костела мы поселились в пустующем классе. Шесть кроватей стояли по три в ряд, а учебные столы были вынесены в коридор. Мы будем жить *совсем* на виду друг у друга. Мы толком не знаем, кто из нас стукач. Двое из троих могли подумать, что это я. И, так как я привык доверять большинству, я тоже начинаю подумывать, что это я.

Я пошел в туалет. Он был огромен и совершенно лишен уединения. Большой зал с кафельным полом — и никаких перегородок. Три унитаза, три писсуара, три душа. Горячей воды не было. Голый профессор стоял под холодным душем и брился без зеркала. Лицо его было в мыльной пене. Профессор сказал, что он пойдет «на пиво». Он мне как будто доложил, что он собирается делать. Он думал, видимо, что я стукач.

Я вернулся в класс. Гриша чинно сидел на кровати, положив руки на колени. На нем были черный костюм и синий галстук. Я тоже сел на кровать и сказал, что профессор пойдет «на пиво». И тут же понял, что вот я уже и стукач.

Мы с Гришей Хайченко вышли из школы и очень быстро пошли в лес. Лес был чешский — чистый, прозрачный. На полянке мы сели на пенки и перевели дыхание. До входа наших танков в Прагу оставалось целых двенадцать дней.

Мы этого не знали. Мы не знали еще, что мы узнаем о нашей ошибке — никто из нас стукачом не был. Стукачей хватало без нас. Мы были маленькой случайностью в большой путанице.

От фестиваля в памяти осталась кипучая, творчески и сексуально озабоченная молодежь со всего света с ее неумелыми спектаклями, местный конкурс красоты, где я был членом жюри и с удовольствием разглядывал красавиц, претендующих на звание «Мисс Северная Чехия», и пиво — слишком холодное и слишком вкусное, чтобы можно было остановиться на одном и даже на двух литрах после обеда. Мирная летняя лесная сторона. Сюда, кажется, и газеты не доходили. Правда, появился из Праги озабоченный председатель Общества чешско-советской дружбы и все говорил нервно: «Где доты? Где дзоты? Где укрепления? Какие свастики на домах? Вы видели их? Это же провокация! Это нарочно кто-то нагнетает».

Мы гуляли с нашими замечательными подругами и переводчицами Аленой Моравковой и Мишей Сухаржиловой, пили вино, дышали лесным воздухом и как-то стали забывать и о Праге, и о Москве. Владимир Браунер, наш дорогой пан профессор, политических разговоров сторонился. Он прожил

трудную и, судя по всему, лихую жизнь. Был послом в Эфиопии при Массарике, работал в МИДе. В годы социалистического террора этот блестяще образованный историк и полиглот просто спрятался (так я думаю) в пыльных архивах Страгова монастыря, чтобы там попить и помалкивать. Теперь он разглядывал происходящие перемены с несомненным сочувствием, но и с большой осторожностью.

«За свободу надо платить!» Эта фраза, произнесенная им несколько раз, была серьезным предостережением, и лишь позднее я смог вполне ее оценить.

Фестиваль кончился. Мы вернулись в Прагу. Мы снова жили в огромном Палас-отеле. Последние дни лета, дни прощания. И мы пели нашим переводчикам тут же сочиненную песенку:

Пани, подружки наши,  
Пани, не надо слов.  
Нежно вам ручкой машем.  
Пани, na shledanou! (До свиданья)

20 августа меня на улице окликнули из машины. Я обернулся. Бог ты мой, начались чудеса совпадений этого дня! За рулем сидел Михаил Абрамович Швейцер. Рядом Соня Милькина, его жена и соратник во всех фильмах.

«Какими судьбами?» «А вы?» «Где живете?» «Когда домой?» «Как наш «Теленок», в смысле «Золотой?» «Что делаете сегодня вечером?»

Договорились идти вместе на вечерний сеанс смотреть фильм «Пожар, моя милая!» Формана.

Пришел в гостиницу — телефонный звонок. Алена Моравкова зовет вечером к себе — она закончила перевод «Мастера и Маргариты» и сегодня получила подтверждение, что он идет в печать. И сегодня (все сегодня, 20 августа!) в Прагу приехала Елена Сергеевна Булгакова — она, несравненная, с которой и написана Маргарита. И она будет у Алены сегодня. И хочет меня видеть.

Мы с Еленой Сергеевной знакомы уже несколько лет. С тех пор как я (первым, наверное) исполнил Булгакова по телевидению — отрывки из романа «Мольер». Елена Сергеевна пригласила, и я побывал у нее дома раз и два — там, у Никитских ворот.

Да-а! Ну и вечер намечается у нас сегодня, 20 августа 1968 года, в городе Праге! Смотрели фильм Формана и хохотали. Поднимали рюмки в память Булгакова и в честь Елены Сергеевны на Винарской улочке дома у Алены. Вполпьяна усаживали Елену Сергеевну с сестрой в такси и договаривались повидаться завтра. Твердо запомнили и много раз повторили, чтобы не забыть, название гостиницы, в которой они с сестрой остановились, и тут же забыли. Снова пили за Алену, за Мастера, за Маргариту, за пражскую весну! Мощно ревели самолеты за окном. И что-то слишком часто.

— Что происходит, Алена? Это у тебя всегда так?

— У нас аэродром недалеко. Так что бывает...

— Ну, то-то! А то прямо, как война. Ну-ка давай споем Окуджаву. Где гитара? Начали:

Вы слышите, грохочут сапоги,  
И птицы ошалелые летят,  
И женщины глядят из-под руки.  
Вы знаете, куда они глядят.

Да что ж такое — опять самолет! И совсем рядом, как будто сейчас в окно влетит. Ладно, пора домой двигаться. Ну, что, Гриша, пешком или такси вызовем? А у вас тут сложно взять такси прямо на улице? Что такое, опять самолет?

Вы слышите, грохочет барабан,  
Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней...



— Подожди, Сергей, я сейчас позвоню одной соседке. Она по ночам никогда не спит... Алло, Мирка! Это Алена... Тут самолеты все время... Что, что?.. А это не просто шум с летадло? (Letadlo — аэропорт по-чешски.) А.. так... на shledanou... Она сказала, чтобы включили радио...

По радио мужской и женский голос, сменяя друг друга, говорили возбужденно: «Полностью блокирован аэропорт. Продолжают приземляться транспортные самолеты, и из них выходят танки. Генерал Свобода приказывает войскам не оказывать сопротивления. Призыв к населению — встречайте войска цветами».

Гул в небе стал стихать. Начался рассвет. И мы услышали, сперва отдаленный, а потом близко, на соседней улице, лязг танковых гусениц.

По радио кричали: «Запомните наши голоса! Нас сейчас подменят. С вами будут говорить другие люди. Вас будут обманывать. Мы постараемся обратиться к вам на другой частоте. На частоте свободного радио. Запомните наши голоса. (Были слышны стуки и крики.) Внимание, опасайтесь больших черных машин. В городе идут аресты. Опасайтесь больших черных машин. Запомните наши голоса!»

Передача оборвалась. Захлебнулась.

Совсем рассвело, и мы с Гришей пошли по совершенно изменившемуся городу. Подходы к мостам перекрыты танками. Но пешеходов пропускали. Возле каждого танка толпа людей. Танков много, значит, и толп много. Иногда тягостное молчание танкистов и окружающих. А иногда разговоры и крики и даже воду и бутерброды несут танкистам.

Вот обрывки разговоров:

(На ломаном русском.) «Брежнев сошел с ума, понимаешь? С ума сошел! Тебя что, сюда не пускали? Почему ты на танке приехал?»

Танкист (лицо измученное, злое): «Вас защищать!»

«От кого? Мы тебя звали?»

«От кого, от кого... От фашистов! Они завтра должны были вас захватить».

«На, поешь! Дай там другим своим. Вы откуда, с самолета или с военной базы?»

«Не имеем права говорить».

«Но как вы здесь оказались? Вы знаете, где вы находитесь?»

«В Германии?...»

Я (танкисту): «Послушайте, я свой, из Москвы. Объясните, какой у вас приказ: людей пропускаете, а машины? Они спрашивают: машины будете пропускать?»

«Ничего не знаю, отойдите от машины!»

«Но люди же должны хотя бы понять, что им можно, а чего нельзя! Чего вы требуете?»

«А это какой город?»

«Товарищ, они спрашивают, как им быть, к кому обращаться? Тут медицинский транспорт, им надо проехать».

«Ой, это не вы снимались в кино «Республика ШКИД»? Не можете распиться на память? Такая встреча!»

В эту ночь мы не спали ни минуты. Не спали и днем. Не спали и в следующую ночь. Разговаривали и пили водку, закусывая яблоками. Другой еды как-то не попало. Ресторан гостиницы закрылся по случаю всеобщей забастовки и в связи с отсутствием посетителей. Август — месяц туристов. До событий гостиница была полна, а теперь... Уехали многочисленные немцы, уехали австрийцы, исчезли американцы, французы, скандинавы... Во всем огромном отеле, кажется, остались только мы с Гришей. На нас смотрели с недоумением и плохо скрытой неприязнью.

Мы дошли до вокзала, чтобы узнать, поедет ли поезд на Москву 22-го вечером. На этот поезд у нас были билеты. Однако вокзал был полностью блокирован, и ходил слух, что никакие поезда не ходят и не пойдут по причине все той же всеобщей забастовки.

Мы позвонили в посольство, нам ответили, что не до нас. Мы спросили, а как быть? Нас послали на «три буквы». Транспорт не ходил, и перемещаться в другую часть города можно было только пешком. Периодически слышались выстрелы, по радио все время призывали сдавать кровь для переливания раненым. Во всех храмах звонили колокола.

Бесконечные разговоры, колоссальное напряжение и вынужденное полное бездействие угнетали. «За свободу надо платить!» — не раз вспоминалась фраза и обретала разные смыслы. То она требовала немедленного героического поступка — выйти и громко крикнуть, что... Или добраться до Москвы и там публично заявить, что... Поклясться друг другу, что отныне мы...

А потом... потом уже иначе звучало это: «За свободу надо платить!» Чехи только понюхали свободу, мы только вблизи посмотрели, как они ее нюхают, и вот пришла железная сила...

Что теперь начнется в Москве!.. Какая фальшь, какое вранье... или какое унылое безразличие на годы и до конца дней.

Возбуждение сменялось унынием. И стыд. Все время было стыдно — говорить по-русски, предъявлять советские паспорта, объяснять, что мы возмущены, испытывать страх перед будущим...

Мы пытались по телефону разыскать Елену Сергеевну, но это не удалось. Путались названия отелей, путались номера телефонов. Номер Швейцера не отвечал. Богумил Барта и Алена оставались неизменны в своей дружелюбности, но были совершенно подавлены. Дубчек был вывезен в Москву и после странных кратких и, очевидно, неравноправных переговоров возвращен в Прагу в непонятном статусе. Скоропалительно было создано новое руководство страны, но ходили слухи, что действует другой Центральный Комитет, и в его составе называли моего доброго знакомого — того самого Франтишека Павличека.

Переводчиков у нас не стало, и мы путались, не понимая ни языка, ни обстановки, не в силах принять никакого решения, не имея даже возможности дать знать в Москву нашим близким, где мы и что с нами. Искать контакта с оккупационными войсками было стыдно и неприемлемо. Просить о чем-то чехов — тоже стыдно. Принимающая сторона в лице Общества чешско-советской дружбы исчезла, что было и понятно. Мы еще купили яблок — почему-то много их продавали повсюду, и у нас еще была литровая бутылка водки. Пили и не пьянели.

На следующий день пошли в большой поход по городу, местами бурлящему, местами абсолютно вымершему. Пошли сдавать кровь и искать Елену Сергеевну. Пишу, как было. На станции переливания крови могли дежурить «наши люди». Или могли спросить паспорта и записать данные. Власть в стране двойлась. Последствия любого поступка были абсолютно непредсказуемы.

Когда на Красную площадь в Москве вышли те ВОСЕМЬ героев, это был акт смелости невероятной. Самосожжение. Прыжок в пропасть, взявшись за руки. И тогда думал о них с восторгом и замираньем сердца, и теперь.

Мы шли, доверившись туристской карте, иногда несмело спрашивая дорогу и получая недоуменные взгляды и неясные указания. Вопрос: зачем мы шли? Разве мы не понимали, что с кровью обойдутся и без нас? Понимали, конечно. Может быть, мы хотели поразить своей самоотверженностью людей с кровавой станции? Вряд ли. А может быть, спрашивая по-русски дорогу к станции пере-

ливания, мы всем этим случайным прохожим хотели намекнуть, что не все советские поддерживают вторжение, есть и другие? Как это мелко, думаю я, глядя из сегодняшнего далека, капля в море! Но выплывает уже затертая цитированием, но тем не менее прекрасная чеховская фраза: «Я по капле выдавливал из себя раба». Это лучше, чем: «С этой минуты я перестал быть рабом!» — лучше, потому что честнее. Так вот, это и была первая капля государственного непослушания. Первое миллиметровое отклонение маршрута от указующей стрелки, микроскопическое самоопределение НЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ, А В ГРАЖДАНСКОЙ СФЕРЕ. В конце концов это была абсолютно невидимая и никому не нужная акция. Но мы с Гришей шли и не только ноги пооббивали о камни пражских мостовых, мы еще разглядели друг друга. А это важно. Мы друг другу поверили.

Кровь у нас не взяли. Прием был окончен — раненых оказалось меньше, чем предполагалось поначалу. А вот к гостинице Елены Сергеевны совершенно неожиданно мы вышли. И все описания совпали — что сразу за углом и что напротив обувной магазин. Консьержка указала нам комнату в узком коридорчике. Сестра Елены Сергеевны вчера отбыла в Париж, а сама она сидела в некоторой растерянности посреди уложенных уже чемоданов. Но растерянность ее касалась только простых проблем: будет ли поезд и когда, как добраться до вокзала с довольно объемными вещами? Она мягко, но определенно дала понять, что с моей оценкой случившейся катастрофы вполне согласна, однако обсуждать это считает несвоевременным. Я почувствовал некий ограничитель, запрещающий ей излишнюю эмоциональность в любых обстоятельствах. Может быть, это отголоски благородного стиля прошлых поколений. А может, личный опыт горечи — тех тайных надежд, взлетов и смертельных крушений, которые пережила она с Михаилом Афанасьевичем и после его смерти с его рукописями и посмертной славой.

Алена Моравкова нас не оставила. Это она сообщила в один прекрасный день (то ли прекрасный, то ли ужасный, то ли неясный), что поезд на Москву пойдет. Билеты, даты, номера вагонов значения не имеют, совсем не так много желающих выехать в Москву. Это Алена отвезла нас снова в отель, где остановилась Елена Сергеевна. Мы погрузились и отправились на Главни Надражи. Вокзал был по-прежнему оцеплен танками.

«Дальше мне нельзя», — сказала Алена.

Мы расцеловались. Прошлого жаль не было. Нам было жаль нашего будущего. Тоскливое возбуждение — вот как можно назвать состояние, в котором мы тогда находились. Мы пошли промеж танков, показывая наши паспорта.

Состав подали на первый путь. Провожающих не было. Не было ни объявлений, ни гудков. Поезд тронулся, и медленно, похоронно поплыли за окном серые в дожде пригороды Праги, еще две недели назад поражавшие нас своей веселой нарядностью. Теперь они казались унылыми, обшарпанными, бедными.

(В эти дни и про эти дни Григорий Поженян написал такие строчки:

И ударили вдруг холода  
В середине зеленого лета.  
Никому не понравилось это,  
Но никто ничего не сказал.

Он прочел мне эти строчки через год, и я вспомнил: точно! Точно так было в тот вечер прощания с Прагой.)

Не спалось. Которую ночь подряд не спалось. Известный кинокритик, выбиравшийся с какого-то симпозиума, говорил в коридоре о чехах: «Это их кто-то накачивает, настраивает на враждебность к нам. Против чего забастовка? Что, мы им зла желаем? У нас же общее дело. Нет, кто-то в них сознательно разжигает ненависть к нам, к тем, кто их освободил, к их друзьям...»

«А если друг приезжает в гости на танке, вам не кажется...» — начал я.

В коридор выглянула Елена Сергеевна и настоятельно позвала меня в наше купе. «Не надо говорить, не надо доказывать, — шепнула она. — Они не хотят слышать и не слышат. Значит, и слова пустые».

Мы молча сидели втроем — она и мы с Гришей Хайченко. На столике подрагивали пустые стаканы в подстаканниках и стояла бутылка «Чинзано». Это я купил в баре Палас-отеля в последний момент.

Теперь уже трудно поверить, но в те времена советский гражданин на территории своей страны не имел права иметь в кармане никогда никаких иностранных денег. Если же они почему-то были, он обязан был в кратчайший срок сдать их в соответствующие учреждения. Поэтому тратили за границей все до копейки, как перед концом света. Последний день любой поездки превращался в сплошную истерику — не успею, не потрачу. На этот раз обстоятельства лишили нас всякой возможности что-нибудь купить. Все, что было при нас, оставили друзьям. Но в последний момент вдруг обнаружили еще сотни три крон, и я купил «Чинзано» — в Москву! Дар Европы! Не знаю почему, но тогда именно вермут «Чинзано» казался верхом роскоши и тонкого вкуса. (Пьеса Людмилы Петрушевской с тем же названием была именно тогда написана.)

Так вот, бутылка «Чинзано» стояла на столе, но она была неприкосновенна!

Долго стояли в Оломоуце. Тепловоз ушел, а другой не хотели цеплять. Забастовка шла по всей стране. Потом поезд тронулся. Хлопнули двери, и несколько человек в мокрых плащах быстро прошли по вагону, выкрикивая что-то на ходу. Из купе высунулись немногочисленные пассажиры, и кто-то перевел: «В Россию поезд пропущен не будет!» «Но нас не могут бросить на произвол судьбы. Нас обязаны защитить!» — взвизгнул кто-то в дальнем конце вагона.

Насильник чувствует себя жертвой и испытывает благородное негодование. Как часто потом приходилось наблюдать этот феномен. Да, мы — лично мы — представляли насилие. И этого нельзя было забывать. И нельзя взвизгивать. И нельзя НИ НА ЧТО жаловаться, потому что мы в светлом и относительно теплом вагоне едем по мокрой, оккупированной НАМИ стране. Так я думал тогда. Во мне тогда жило (да и сейчас никуда не делось!) это вечное, воспитанное социализмом «мы». Я — часть. Я что-то значу, но «мы» важнее. Как интеллигент я старался не быть участником агрессивных акций «мы». Я не клеймил, не участвовал в коллективных проклятиях, не подписывал писем осуждения. Но ответственность за эти деяния я полагал необходимым разделить с «мы». Собственно, в этом ощущении и было для меня доказательство моей интеллигентности как синонима благородства. Я не достиг еще великолепного индивидуализма высокоцивилизованного человека, который отвечает только за себя и является перед Всевышним ЦЕЛЫМ, а не частью чего-то. Впрочем, я и сейчас этого не достиг и вряд ли достигну когда-нибудь. Более того, я стал терять уверенность, что этого следует достигать. Конформизм может являться в разных обликах и с разными знаками. А как насчет СМИРЕНИЯ? А оно хорошо или не всегда? А есть ли вообще ОБЩАЯ ВИНА? А действительно ли НЕТ НАКАЗАНИЯ БЕЗ ВИНЫ? Могу ли я достигнуть той степени индивидуализма, когда

говорю только от своего имени и отвечаю только за себя, и НИКТО не смеет говорить от моего имени?.. Так я думаю теперь. А тогда мне казалось только, что визжать нельзя!

Движение укачало, и пришел сон. Утро застало нас в Польше. Границы были нарушены, и никто не спрашивал ни виз, ни паспортов. Пришла сила, и все эти строгости, все эти козыряющие козырные тузы в конфедератках — все оказалось мнимым. Старший брат грохнул кулаком по столу, и мой краснокожий паспорт стал PASSE PARTOU — проход повсюду, и он же билет на все транспортные средства — везде, аж до самой жирной границы того, другого дальнезападного мира...

В Варшаве было солнечно. Мы стояли на открытом пространстве привокзальной площади и ждали, что кто-то спросит нас, кто мы такие и чего нам надо. Меня бесконечно раздражала равнодушная и, как мне показалось, веселая суета этой площади. Город был спокоен. Он смеялся, насвистывал, спешил на работу, покрикивал на детей, кормил их мороженым.

Хотелось крикнуть: «Как вы можете? А Прага? Вы ведь тоже вторглись вместе с нами. Вас там кот наплакал, но ведь тоже вторглись!» — но я заткнул себе рот очередной сигаретой.

Кто-то куда-то пошел выяснять относительно нас. А мы все перетаптывались посреди площади. Гриша неловко повернулся, толкнул ногой и... ударилась горлышком о край каменной тумбы и разбилась вдребезги моя бутылка «Чинзано».

У меня началось что-то вроде истерики: «Да что же это такое! И танки в Праге, и мы непонятно где, и денег ни копейки, и «Чинзано» разбилось, да лучше б мы его в поезде выпили!»

«Успокойтесь, — говорила Елена Сергеевна. Она держалась великолепно. — Обещаю вам в Москве бутылку «Чинзано». Твердо обещаю».

К вечеру нас отправили самолетом. Было уже совсем темно, когда я добрался до квартиры Симона Маркиша на Плющихе. Я курил, говорил и не мог остановиться. Позвонил в Ленинград — маме. Она сказала: «Не приезжай! Тебя тут ждут из всех газет с рассказами. Тебя замучают».

Позвонил Наташе Теняковой, с которой тогда только начинался роман. По ее первому телефонному вскрику, по ее голосу почувствовал именно в этот момент — она все понимает, без всяких объяснений, хочу с ней быть, с ней хочу прятаться до конца дней.

Наутро позвонил Грише и Елене Сергеевне справиться, как они после нашего путешествия. Елена Сергеевна сказала: «Заходите ко мне». Пили чай с коньяком. Потом она протянула мне непонятные чеки.

«Возьмите. Купите «Чинзано» и хороших сигарет, вы столько курите».

«А что это?»

«Это сертификаты для магазина «Березка». Это из гонорара за «Мастера и Маргариту» на чешском языке. Так что считайте, что это маленькая компенсация от Михаила Афанасьевича за все неприятности».

«Березка» была на Дорогомиловке. Швейцар со страшными глазами глянул на сертификаты, на загранпаспорт и пропустил нас с Маркишем. Хватило на многое — две бутылки «Чинзано» и два блока «Кента». Рубль, если он «оттуда», тогда стоил дорого.

Мы с Хайченко пошли в СОД сдавать паспорта. Написали отчет о поездке. Мы решили по смыслу одинаково написать: «Отношение было хорошее. Никаких оснований для вторжения в Чехословакию я лично не видел. Вторжение считаю ошибкой». Дата, подпись.

Равнодушная секретарша швырнула наши отчеты в ящик стола и выкинула наши «внутренние» паспорта. Канула в вечность наша поездка, не щедро оплаченная СОД (или КГБ? Или, как теперь говорят, налогоплательщиками?). Прочел кто-нибудь наше скромное мнение, сделал выводы или все нет?

Никогда не узнал этого друг мой Гриша, Царство ему Небесное! И я не узнал. Когда позже начались неприятности с обкомом и с органами, этот эпизод никогда не упоминался. А впрочем... кто их разберет?

Меня и в Москве сторожило несколько газет. Понятно было, каких формулировок ждут от меня. А героев с Красной площади уже арестовали и собирались судить «за нарушение уличного движения». А в Праге шла активно та самая подмена, о которой кричали дикторы радио в ту ночь: «Запомните наши голоса!» Я запомнил, и потому другие голоса наводили на меня тоску.

В Питер я по совету мамы и при поддержке Наташи не поехал. Маркиш спрятал меня в Дубне — в ста километрах от Москвы. Мне помогли снять там номер в гостинице. Я спал и купался в Волге. Знакомых в этом городе у меня было мало.

Физики бурлили. Я снова спал и купался. Потом один из знакомых, Саша Филиппов, позвал в компанию послушать песни под гитару. Народу пришло много, было тесно. Певец и слушатели сидели вплотную. Пел Александр Галич. Песня «Облака» мне очень понравилась. Были там и другие песни, сатирические, смешные. Но я что-то никак не мог засмеяться.

Душа закрылась.



## **Владислав ОТРОШЕНКО**

---

*За восемь лет моего знакомства с журналом (впервые свою вещь, небольшую повесть, я опубликовал здесь в конце 1991 года) я не раз убеждался — и на собственном опыте, и наблюдая взаимоотношения редакции с другими писателями,— что «Октябрь» склонен интересоваться не просто тем или иным **произведением** прозаика, поэта, критика, эссеиста, а всей работой **автора в целом**. Эта склонность, наверное, отражает реальное положение вещей в литературе. **Писатель пишет**. Вот наиболее простое и самодостаточное из всех предложений, которые могут обрисовать то, чем занимается писатель. В чем осуществляется действие, для писателя цельное по своей сути — в прозе, в поэзии, в эссеистике,— не имеет значения. Понимание этой тонкой истины и определяет, как мне кажется, отношения журнала с писателями.*

*Мне очень приятно и лестно принять участие в этом номере в совершенно ином качестве — впервые опубликоваться в разделе поэзии. Для меня самого это большая и приятная неожиданность, станет ли она таковой и для читателя — не знаю. Но надеюсь.*

## **Пасхальные хокку**

### ***Смотрю из окна вагона***

Деревушка на склоне холма,  
Домиков двадцать — не больше,  
А кладбище — целый город...

### ***На раскопках древнего городища Танаис в устье Дона***

Полуденный зной в степи.  
Корова неспешно лижет  
Сарматской Бабы гранит.

### ***В Родительскую Субботу на кладбище в Новочеркаске***

Сидит у могилы одна —  
Курит папироску старуха,  
Дым из ноздрей пускает.

\* \* \*

Подпрыгнул, клацнул зубами:  
Разозлила снежинка  
Цепного пса.

\* \* \*

Скоро пасхальные дни.  
Могилы украсят цветами —  
Старые и новые...

\* \* \*

«Наверное, горький пропойца»,—  
Думают воробьи.  
На лавочке сплю под солнцем весенним.

\* \* \*

На кладбище пахнет краской.  
Завтра — пасхальный праздник.  
Звенят жестяные венки.

\* \* \*

Пасечник пьян с утра.  
На разноцветные улья  
Сыплется мелкий снежок.

### ***В степи близ Новочеркаска***

Может, ты мне укажешь  
Дорогу домой,  
Огородное чучело!

\* \* \*

Фуфайка отменная, штаны хоть куда!..  
«Подайте за-ради Христа!» —  
Горланит кладбищенский сторож.

\* \* \*

Сколько же чарок, бродяга,  
Сегодня тебе поднесли?..  
Уснул на свежей могиле.

\* \* \*

Первый весенний дождь,—  
Гибнут в сугробах  
Беззвучные капли.

\* \* \*

Нет, не бросит на полдороге —  
В отделение затащит пьянчужку  
Милиционер-муравей.



\* \* \*

Еще не закончился праздник —  
Светится в сумерках ярче луны  
Пасхальный кулич на гробнице!..

\* \* \*

Взметнулась — сейчас улетит...  
Нет, снова над тем же цветком  
Кружит и кружит стрекоза.

\* \* \*

Печален осенний лист,  
Гонимый февральским ветром.  
Еще печальней дрожащий,  
В срок не упавший с ветки.



---

## Борис ХАЗАНОВ

Среди многих более или менее увлекательных профессий, которые мне приходилось осваивать за свою жизнь, была и профессия издателя журналов. Среди многих великолепных замыслов, которые я не осуществил, были капитальные сочинения: «Записки разгневанного редактора» и «Записки расстроганного автора». Но мне всегда казалось, от этого взгляда я не отказываюсь до сих пор, что литературный журнал — это некий сверхавтор. Рано или поздно он начинает распоряжаться и писателями, и редакторами, и даже самим Главным; сам решает, что плохо, что хорошо, превращается в организм, наделенный собственным независимым слухом и зрением, живущий собственной жизнью, и, может быть, это и есть идеальный журнал. Можно подыскать другие сравнения, например, уподобить журнал кораблю, который качается на волнах переменчивой судьбы, то и дело рискует сесть на мель или разбиться о скалы... но воздержимся от таких метафор. В юбилейные дни полагается сказать что-нибудь хорошее, что-нибудь ободряющее.

На банкете по случаю славного семидесятилетия (если таковой состоится) нужен тост с добрым напутствием. Что бы такое изобрести? Я хочу пожелать журналу, чтобы в нем появился Критик. Сочинители не любят критиков. И в то же время каждый писатель мечтает о Критике, как мечтают о женщине, которая тебя «поймет». Писатель мечтает о Критике с большой буквы. О Критике, который любил бы литературу, а не себя в литературе, который много знает, но не превращает свои статьи в выставку эрудиции, о Критике, который был бы абсолютно неподкупен, не боялся оскорбить литературных генералов, развенчать ложных кумиров и хотя бы раз в месяц (разве это много?) откапывал новые таланты. О Критике, который отнюдь не обслуживает литературу, но формирует литературный процесс и определяет лицо журнала. Ибо если журнал — это в самом деле целостный организм, то Критик — его душа. Пожелаем «Октябрю» такого Критика и вообще всяческого успеха и благополучия на радость всем нам.

## Два рассказа

### ГРАНИЦА

Hinüber wall'ich,  
Und jede Pein  
Wird einst ein Stachel  
Der Wollust sein\*.

Один гражданин жил на постое у хозяйки. Гражданин — это, конечно, звучит абстрактно, но история наподобие той, о которой здесь пойдет речь, может случиться с каждым. Другое дело, что для каждого она останется новой.

Этому человеку пошел шестой десяток, время особенное в жизни мужчины, время, когда уходят от жен, когда неясная тревога не дает спать по ночам, когда на темнеющем горизонте вспыхивают зарницы старости. Как бы

---

\* Я уйду туда, где всякая боль превратится в укол наслаждения (Новалис. Гимны ночи).

там ни было, за спиной была целая жизнь. Надо думать, ему было что рассказать, но добрая хозяйка вначале стеснялась спрашивать, а потом привыкла к тому, что он помалкивает, сидит один в своей комнате. И так и осталось неясным, была ли у него когда-нибудь семья, кем он работал и откуда его занесло в эту глушь.

Как все женщины, она была склонна приписывать ему авантюрное прошлое, подозревала любовную тайну, что-нибудь в этом роде, и ее догадки как будто подтверждались фотографиями над письменным столом в комнате постояльца, куда она заглядывала изредка в его отсутствие. Но в конце концов мало ли вокруг нас людей, у которых нет своего дома, своего круга, а все имущество помещается в двух чемоданах? Загадочный ветер носит их с места на место. Они сами волокут за собой свой сиротский уют; каждый раз вынимают из чемодана свой единственный приличный пиджак и вешают на плечики, потом раскладывают бумаги, книги, прилаживают кнопками над столом какие-нибудь птвичьи перышки, какой-нибудь веер из цветной бумаги, на стол ставят женские фотографии, перед койкой — полуистлевшие тапочки, нахлобучивают на лысеющую макушку турецкую феску с кисточкой. Одинокие, они озирают свое жилье, словно ищут знаки сочувствия на голых стенах. И ложатся, и на их лицах с закрытыми глазами, похожими на желваки, с серым полукрытым ртом проступает выражение хитрого счастья, словно и на этот раз им удалось уйти от преследователя, усмешка скромной гордости, оттого что посчастливилось отыскать крышу над головой. До следующего раза!

Мы забыли сказать, что этого человека звали Аркадий, по отчеству Михайлович; имя ничем не замечательное и ни к чему не обязывающее, могло быть и какое-нибудь другое. Однажды он снова собрался в дорогу, хотя сам толком не знал, зачем ему поднимать якорь, ведь никто его не гнал. Но привычный зуд странствий уже не давал ему покоя, неслышный ветер холодил затылок. Против обыкновения он довольно долго прожил на одном месте, хозяйка к нему привыкла, ей не хотелось искать нового квартиранта. Когда он сказал, что съезжает, она возразила: «Авось передумаешь». Он пожал плечами: дескать, ничего не поделаешь. «Присядем», — сказала хозяйка. И они присели по обычаю — иначе не будет пути назад, — она на стул возле опустевшего письменного стола, он на краешек дивана, который несколько месяцев служил ему ложем.

«Что, неохота уезжать?» «Неохота, Марья Ивановна», — признался жилец. «Ну, и не ехал бы». «Надо». «Так уж приспичило? Али соскучился у нас?» Дело происходило в провинциальном городке. Такси стояло перед домом — громоздкий черный автомобиль устарелой марки. Жилец тащил чемоданы, следом хозяйка несла остальной скарб: толстый портфель, коробку с турецкой феской и харчи на дорогу. Шофер сидел в кабине. В этом городе не было принято, чтобы таксист помогал клиенту уложить багаж.

«Так ты, если что, напиши. Если надумаешь вернуться. Буду ждать!» — крикнула она.

«Обязательно напишу, Марья Ивановна», — ответил жилец, высунувшись из машины. Хотя он знал, что обратно через границу его уже не пропустят.

Остался позади город, перестали попадаться остановки автобуса, невидимое солнце клонилось к закату, дорога уходила вниз, в лощину. Пассажир выразил озабоченность относительно переправы. Он слышал, что паром не работает. Водитель заметил, что до реки еще далеко. «Успеем до ночи?» Водитель возразил: «А куда спешить-то».

Пассажир не мог успокоиться: если придется ехать в объезд, то далеко ли? Шофер вовсе не удостоил его ответом, надменно смотрел вперед, в этом молчании ясно выразалось презрение рабочего человека к праздному интеллигенту. Давно уже не было видно признаков человеческого жилья, ехали посреди болот, по обе стороны дороги тянулся кустарник. Колеса разбрызгивали грязь. «Я бы хотел знать, — промолвил кротко, чтобы не рассердить таксиста, Аркадий Михайлович, — если понадобится ехать в объезд, то сколько это приблизительно будет стоить?» «А зачем нам объезд, нам

объезд не нужен». «Значит, паром работает?» «Зачем нам паром?» «Как же мы переедем?» «Надо будет, на закорках тебя перенесу», — усмехнулся водитель.

«Ах вот оно что!» — воскликнул Аркадий Михайлович, когда колымага, миновав лесную заросль, за которой мелькало и пряталось низкое желтое солнце, выехала с ревом на бугор и вдали, над блестящим потоком, показала мост. Несколько времени спустя миновали столб с гербом на щите, машина запрыгала по бревнам, проехала мимо второго столба, одолела подъем и остановилась перед закрытым шлагбаумом. Никого не было. Пассажир держал наготове паспорт.

Шофер погудел. Таможенник вышел, зевая, на крыльцо, сделал знак водителю отъехать в сторону. Дом стоял на краю дороги, которая здесь и заканчивалась; за шлагбаумом начинался сплошной лес. Таможенник приблизился к машине, не глядя протянул руку. Пассажир подумал было, что нужно вложить в паспорт купюру, ему говорили, что так принято, но не решился. Изучение паспорта продолжалось довольно долго, и путешественник начал терять надежду; стало ясно, что в его документе что-то не в порядке. В документах всегда бывает что-нибудь не в порядке, если только они не фальшивые.

Угрюмый офицер вглядывался в пассажира, офицеру могла не понравиться его фотография, могло показаться подозрительным лицо пассажира; фамилия вызывала недоверие, равно как и подпись владельца паспорта; год рождения настораживал; штампы прописок, оттого что они были настоящими, то есть неразборчивыми, выглядели как поддельные; регистрационные номера, пометки должностных лиц явно нуждались в проверке. Кончилось тем, что офицер сунул паспорт в нагрудный карман и поправил на голове фуражку.

«В чем дело?» — спросил испуганно пассажир, вылезая из машины.

Офицер не ответил, точно не слышал вопроса. В спешке, боясь навлечь на себя гнев таможенника, Аркадий Михайлович силился вытянуть из багажника тяжелый чемодан. Никто ему не помог; офицер таможенной службы следил за тем, чтобы все вещи были извлечены из автомобиля, таксист ждал, стоя у открытой дверцы. Таксист получил плату и чаевые, не поблагодарив, уселся на место; хлопнула дверца, черная колымага развернулась и покатила, вихляясь, назад к реке, блестящей под сумрачным небом, как олово.

«Простите, я бы хотел... — лепетал Аркадий Михайлович. — А, собственно, что такое, почему вы забрали паспорт?»

Офицер взял портфель пассажира. Аркадий Михайлович тащил следом чемоданы, кулек с едой, который хозяйка собрала на дорогу, и картонку. Таможня представляла собой длинное приземистое строение с плоской крышей и окнами в решетках, на мачте висел застиранный непогодой флаг, из трубы курился дымок.

«Что-нибудь не так?» — допытывался пассажир.

Офицер не понял.

«Я хочу сказать, что-нибудь не в порядке с моим паспортом?»

«Он вам больше не нужен», — ответил таможенник и удалился. В комнатке за облупленным столом, под портретом главы государства сидел некто в погонах, на которых число звездочек было на одну больше, чем у офицера, встретившего машину. На столе перед начальником вместе с паспортом лежали другие бумаги, к удивлению путешественника, не заметившего, когда они были изъяты: военный билет, справка с места работы, выписка из домовой книги. «Иванов!» — возвысил голос начальник. Иванов, рослый белообрый парень, вошел в кабинет из другой комнаты; начальник кивком показал на багаж. Иванов сунул под мышку портфель и подхватил чемоданы. «И это тоже», — сказал начальник. Иванов сгреб картонку. «А вы оставайтесь здесь. Фамилия?..»

Он развернул паспорт, последовали вопросы, на которые путешественник уже отвечал дежурному офицеру. Начальник таможи производил впечатление интеллигентного человека, не склонного придирается к каждой букве; обращение приятно отличалось от недружелюбной встречи у шлагбаума. Лишь с отчеством Аркадия Михайловича произошла неувязка. В паспорте стояло «Моисеевич».

Путешественник объяснил, что это такой обычай: легче произносить, и вообще.

«Обычай обычаем,— возразил начальник,— а все-таки знаете... В одном документе одно, в другом другое. Уж выбрали бы что-нибудь одно. Вы что,— спросил он, подумав,— еврей?»

Аркадий Михайлович, помявшись, отвечал, что по паспорту он русский («Это я вижу»,— заметил начальник), но, говоря откровенно, сам толком не знает. Имя Моисей тоже в общем-то русское. Начальник скучно взглянул на него и забарабанил пальцами по столу. «Понимаете,— проговорил он,— будь вы хоть татарин, это не мое дело. Только вот... Иванов!»

Иванов воздвигся на пороге.

«Вас надо как-то оформить,— продолжал начальник,— для лиц еврейской национальности предусмотрен особый участок. Также ведь, знаете ли,— он улыбнулся,— обычай. Нарушать не положено... Поищи-ка мне там...— сказал он подчиненному, потирая лоб.— Или ладно. Можешь идти. А вы сядьте, в ногах правды нет».

«Я постою»,— скромно сказал приезжий.

«Нет уж, сядьте, тут дело серьезное.— Начальник таможи зажег лампу на столе и набрал номер телефона.— Дайте-ка мне триста тринадцатый... Занят? Ну, тогда заместителя. Скажите, с таможи звонят. По неотложному делу».

Он положил трубку, застучал пальцами по столу.

«Вот тут,— промолвил он,— справка с места работы... Но ведь вы нигде не работали».

«Я профессор,— сказал Аркадий Михайлович.— Собираю материалы для большого труда».

«Это для какого же труда?»

«Для научного труда. Могу объяснить, только мне кажется, это не имеет отношения к нашему разговору».

«М-да. Профессор. И что же дальше?»

«Я работаю дома».

«Так, может, мы эту справку порвем? — предложил начальник.— Только лишняя путаница».

«А паспорт? — спросил приезжий.— Паспорт вы мне вернете?»

«Паспорт останется в архивном деле. Вам-то он все равно ни к чему».

Аппарат на столе задребезжал.

«Это я беспокою... Тут у меня сидит профессор. Бывший профессор. Так вот, такая петрушка: у него... Вы пока там подождите»,— сказал новоприбывшему начальник и продолжал говорить в трубку.

Посреди просторного зала, где оказался Аркадий Михайлович, стоял длинный оцинкованный стол, вернее, два стола, составленных вместе, на первом были навалены его вещи и папки. Под столом валялся выпотрошенный портфель. В помещении было жарко от раскаленной плиты.

Уже знакомый белобрысый таможенник Иванов стоял у стола. Он успел переодеться, на нем был синий рабочий халат, и все остальные сотрудники работали в халатах. Проверьте, сказали они, все ли тут на месте. Профессор Аркадий Михайлович объяснил, что-де товарищ капитан велел подождать. «А чего ждать-то?» — сказал Иванов. «Он должен выяснить». «А чего выяснять, и так все ясно»,— возразил таможенник, и осмотр начался. Иванов взял из кучи первую попавшуюся вещь, это была рубаха, заметно поношенная, с бахромой на манжетах. Он бросил ее на соседний стол. Далее был осмотрен выходной пиджак Аркадия Михайловича. «Ничего себе, а?» — спросил Иванов, другой подошел и сказал: «А ты примерь». Иванов примерил пиджак. «Носить можно»,— сказал второй таможенник, и пиджак был отложен в сторону.

«Деньги».

«Какие деньги?»

«Деньги, говорю, при вас имеются? Валюта.— Иванов принял от прибывшего тоненькую пачку бумажек, не считая, сунул в карман.— Мелочь,—

сказал он, — можете бросить в кружку». Затем развернул пакет с припасами, еда оказалась ему несвежей, он швырнул кулек в ведро с мусором.

Аркадий Михайлович собрался с духом.

«Знаете что, я вот что, — сказал он. — Я передумал. Я решил не ехать. Пожалуйста, будьте так добры. Верните мои деньги и документы и вызовите мне такси».

Таможенник не ответил, другой подошел и спросил: «Что он хочет?»

«Такси, говорит, вызовите».

В зал вошла карлица, простоволосая баба неопределенных лет, похожая на луковицу. Профессор, сидевший на стуле для посетителей, поспешно подобрал ноги. Она прошла мимо с веником и железным совком, вытряхнула совок в горящую топку и устала на контролеров: там происходило что-то интересное. Иванов, открыв рот, вперился в содержимое раскрытой папки. Другой сотрудник, с охапкой старых рубах, кальсон, носков, которые он собирался запихнуть в плиту, заглядывал к нему через плечо; оба хихикали.

«Чего гогочете-то?» — спросила уборщица.

«А ты сама погляди, баба Собакина!»

«Чего я там не видала?»

«А ты погляди».

«Ну чего, — отозвалась баба-карлица, подтащила табуретку и влезла, едва не зацепившись за край подолом. — Батюшки, это чьи же?»

«Его».

«Ах ты, охальник! — сказала баба, взглянув на прибывшего. — Дай-ка еще погляжу».

«Ха, ха, ха! Хи-хи».

На шум вышел из кабинета начальник таможни.

«Это моя работа, я работаю над...» — пробормотал Аркадий.

«Работал», — поправил его капитан.

Иванов поспешно снял бабу Собакину с табуретки, его коллега понес вещи приезжего к плите.

«Это научный труд, — объяснил Аркадий Михайлович. — У меня есть отзыв действительного члена Академии наук Воложинского и заключение комиссии по охране государственных тайн».

«Ну, положим, это не государственная тайна, — заметил начальник. — Но знаете ли...»

«Сжигать?» — спросил Иванов.

«Погоди. Я сам разберусь. Неси все ко мне».

Груда растрепанных папок с фотографиями, заметками, таблицами была свалена на стол начальника, сам он возвышался в кресле под отсвечивающим портретом.

Профессор Аркадий Михайлович откашлялся.

«Я уже сообщил вашим подчиненным... Мне очень жаль, что я отнял у вас столько времени. Дело в том, что... Короче говоря: я передумал ехать за границу. Может быть, как-нибудь в другой раз. А сейчас я... я хочу вернуться. Пока еще не поздно, дайте, пожалуйста, указание подчиненным. И, если не трудно, распорядитесь, чтобы мне вызвали такси».

Капитан воззрился на профессора.

«Такси? — Он покачал головой. — Такси в это время уже не работает».

Будучи деликатным человеком, он не мог подыскать нужные слова, чтобы перейти к скользкой теме.

«Видите ли, — промолвил он наконец. — Вы, вероятно, знаете, а если забыли, то вынужден вам напомнить. Хранение порнографических материалов преследуется законом».

«Но какие же это порнографические материалы? Это...»

«Как же это так? — продолжал начальник. — Вроде бы серьезный человек, профессор... А это что у вас?»

«Стихи».

«Вы что, поэт?»

«Не поэт, а так... Я для себя пишу».

«Но все-таки. Вы эти стихи распространяли? Кому-нибудь показывали?»

«Да никому я не показывал,— сказал устало приезжий. Он поднял глаза на капитана.— Они там собираются жечь мои вещи».

«Не беспокойтесь. Они свое дело знают».

«Моя феска...»

«Какая феска? А... ну да. Можете не беспокоиться. Хм. Как же нам теперь быть-то, а?»

«Но я же вам объяснил. Это совсем не порнографические материалы».

«А что же это, по-вашему?»

«У меня есть отзывы. Академик Воложинский позитивно оценил мои работы».

«Вот, например, это,— говорил, роясь в папке, начальник.— Ведь это же черт знает что такое».

«Товарищ капитан, вы извините, что я так прямо спрашиваю,— сказал Аркадий Михайлович.— Вы же видите, что наркотиков у меня нет, оружия нет. А это — разве такие материалы запрещены к провозу?»

«Что запрещено, а что нет, на этот предмет есть инструкция. И она не подлежит оглашению. Но я вам отвечу: да, конечно. Запрещены и подлежат изъятию».

«Они жгут мои вещи. Что же я теперь надену?»

«Это другое дело. Обыкновенная санитарная мера. Да и зачем они вам? Они вам все равно больше не пригодятся».

«Я возвращаюсь. Закажите мне такси».

«Вам русским языком сказано.— Начальник очевидным образом начал терять терпение.— Что такое? — спросил он строго.— Я занят!»

Иванов в дверях доложил, что досмотр личных вещей окончен.

«Хорошо, можешь идти... Вы хотели объяснить?»

Посетитель, утомленный жизнью, сидел, опустив голову на грудь,— не то задумался, не то задремал.

«Э-э,— сказал таможенный капитан, заглянув для верности в паспорт задержанного,— Аркадий Моисеевич. Профессор! — Профессор очнулся.— Здесь спать не положено».

«В самом деле? — спросил приезжий.— Я сам не заметил. Представьте себе, я даже видел сон. Как будто я сижу перед вами. И будто вы мне говорите...»

«Угу. Вот я и говорю.— Начальник широко и сладко зевнул, ибо он тоже устал.— Работаешь, отдыха не знаешь... Что там еще?»

В полуоткрытую дверь снова просунулись седые ресницы и бесцветные глаза таможенника Иванова.

«Кругом марш! — зарычал начальник.— И чтоб больше без вызова... Извините,— продолжал он, стуча пальцами,— с этим народом... Так вот. Что я хотел сказать? Забыл. Вот память! Или это вы мне что-то собирались сказать?»

«Мой труд. Рукописи...» — пролепетал Аркадий Михайлович.

«Какие рукописи — стихи, что ль?»

«Труд всей моей жизни. Encyclopaedia Corporis Feminini».

«Это что, по-еврейски?» — спросил начальник.

«По-латыни».

«Ага. А по-русски?»

«Энциклопедия женского тела. Я составляю энциклопедию и уже дошел до ключиц».

«До ключиц?»

«Да. До ключиц и подключичных ямок».

«А вы как,— осведомился с опаской начальник,— начинаете сверху или снизу?»

«В алфавитном порядке. И, как видите, уже дошел до буквы К. Понимаете, товарищ капитан...»

«Да бросьте вы! Какой я вам товарищ?»

«Прошу извинить. Понимаете... женское тело. Вам понятно, что я имею в виду?»

«Вроде бы да,— сказал капитан.— Только я не понимаю: какое отношение все это имеет, так сказать, к нашей действительности? К задачам, так сказать, поставленным перед нашим народом».

«К задачам? О, уверяю вас, самое непосредственное. Самое прямое отношение.— Профессор оживился и стал объяснять: — Так вот, тело женщины...»

Увлечшись, он сопровождал свою лекцию широкими округлыми жестами. Начальник внимал ему, несколько сбитый с толку.

«Не какой-нибудь конкретной женщины, а женщины как таковой — ноуменальной, если так можно выразиться, женщины. Тело женщины может быть рассмотрено с разных точек зрения. С точки зрения искусства — это воплощение гармонии и совершенства. С семиотической — знаковая система. Существует даже астрология женских форм. В самом деле, тело Венеры, или Астарты, или, если хотите, даже любой девушки на улице, рассмотренное на определенном уровне абстрагирования,— это микрокосм, в котором сконцентрирован и отражен макрокосм, то есть Вселенная. Вы постоянно наталкиваетесь на параллели и аналогии, повторения и созвучия. Возьмем хотя бы в качестве примера...»

«Иванов!» — рявкнул начальник таможни.

Иванов появился на пороге.

«Увести».

И профессор Аркадий Михайлович, не успев закончить свою мысль, был довольно бесцеремонно препровожден в зал. Там его ждали.

Действительно, время шло, а он все еще не прошел личный досмотр.

Цинковые столы были очищены, таможенница, величественная усатая дама на высоких каблуках, в мундире, еле сходявшемся на ее груди, в погонах старшего лейтенанта, указала ему на дверь в каморку для обысков. Там сидела на табуретке карлица баба Собакина, чтобы принять от него одежду. Задержанный покосился на женщину.

«Мы не смотрим», — густым голосом сказала таможенница.

«Насмотрелись», — буркнула баба Собакина.

«Белье тоже снимать?» — спросил он, стесняясь своих ветхих подштанников.

Старшая лейтенантша велела открыть рот, велела повернуться спиной.

«Два золотых зуба,— сказала она кому-то,— два из белого металла.— Присев на табуретку, продолжала диктовать: — Средней упитанности, астенического сложения. Мышечный аппарат повышенной дряблости».

Тем временем карлица вынесла одежду задержанного в зал и вернулась в шуршащем клеенчатом переднике, который ей пришлось подвязать под самой шеей, чтобы не наступать на него.

«Ноги расставить. Поднимите... Венерическими болезнями болели?»

«Не болел», — сказал испуганно Аркадий Михайлович.

Шлепая босыми ногами, он проследовал за бабой Собакиной в диагностический кабинет. Здесь было темно и жарко, жужжал аппарат. Аркадию Михайловичу указали на табурет возле двери. Понемногу глаза привыкли к темноте.

Дородная таможенница сбросила туфли, расстегнула и повесила на крючок тесный мундир, форменную юбку и осталась в сорочке, после чего тоже облачилась в клеенчатый передник. Он не доходил ей до колен. Баба Собакина, исполнявшая по совместительству обязанности техника, взгромоздилась на что-то перед пультом управления. «Бочком. Голову наклонить!» — командовала таможенная лейтенантша. Аркадий втиснулся в тесное пространство между экраном и аппаратом. Сверху опустилось что-то и подперло ему затылок. Грудную клетку обхватили металлические лопасти.

«Руки на голову. Не дышать».

Начался внутренний досмотр, во время которого старшая лейтенантша



диктовала незримо секретарю диагностические находки. Слава Богу, думал приезжий, хоть внутри ничего подозрительного не нашли в отличие от паспортного контроля и досмотра вещей. Никаких подделок внутренних органов. Агрегат гудел, видимо, от перегрева. Как вдруг густой голос из-за экрана произнес: «Стоп!»

«Стоп, стоп, стоп,— приговаривала таможенница. Руки в перчатках, просунувшись снизу, схватили за бедра Аркадия Михайловича и рывком повернули боком, потом другим.— Вот тут-то мы тебя, голубчика, и поймали. Собакина! Ну-ка позови капитана».

Капитанские сапоги вошли в комнату и стали рядом с толстыми ногами старшей лейтенантши. Пот струился по лицу задержанного. Начальник спросил сквозь гудение аппарата:

«Где у вас спрятано оружие?»

«Какое оружие?» — растерянно спросил Аркадий Михайлович.

«Не валяйте дурака! Обыкновенное».

«У меня нет оружия».

«У вас в сердце пуля. Ведь это пуля?» — спросил капитан, и таможенная лейтенантша подтвердила:

«А что же еще?»

«Вы, стало быть, хотели покончить жизнь самоубийством?»

Задержанный пробормотал что-то насчет минуты слабости; начальник его перебил:

«Вы покушались на самоубийство. А за незаконное хранение оружия знаете, что бывает? Между прочим,— заметил он,— стреляться тоже надо уметь».

«Но ведь я, кажется, попал?» — возразил Аркадий Михайлович.

«Ладно,— сказал начальник,— попал, не попал, не наше дело. Пиши протокол, пусть распишется».

Подумать только, как много времени занял пограничный контроль! Давно уже сгустилась тьма, тусклая лампочка над крыльцом таможни освещала ступени, где-то над кровлей поник невидимый флаг. Ночь была бездыханной, гниловато-теплой, беззвездной. Странник, босой, в длинной белой рубахе, стоял перед домом.

На крыльцо высыпал весь персонал. Стоял дежурный офицер, тот, который встречал приезжего. С гармонью через плечо, в мундире и галифе стоял светловолосый таможенник Иванов, стояли другие. Вышел и стал между расступившимися подчиненными капитан, начальник таможни. Стояла дородно-величественная старшая лейтенантша, сложив руки на форменной юбке, и где-то между провожающими поместилась баба-карлица с неблагозвучной фамилией Собакина.

Теперь, после завершения ведомственных процедур и формальностей, незачем было проявлять строгость и выдерживать официальный тон, все были настроены дружелюбно, с лаской и сочувствием смотрели на профессора, все желали ему счастливого пути.

«Прощайте и вы,— молвил странник,— не поминайте лихом».

Иванов заиграл на гармонии прощальный торжественный марш, дежурный подошел к рукоятке шлагбаума, заскрежетал ржавый механизм, и полосатая преграда медленно поднялась перед уходящим. Белая рубаха растворилась в ночи, в густой чаще леса.

### **ПОХОЖ НА ЧЕЛОВЕКА**

«Вот теперь совсем другое дело. Вот теперь ты похож на человека. А то скажут: откуда это он явился? Да ведь это какой-то уличный оборвыш. Костюмчик сидит хорошо. Да,— сказала она,— ты у меня, конечно, не красавец. Но знаешь, что я тебе скажу: внешность — это не главное. Есть такая

поговорка: нам с лица не воду пить. Дело не во внешности, а в том, что у человека здесь, — она постучала пальцем по его лбу, — вот это главное!»

Мальчик хотел спросить, если не имеет значения, какая у него внешность, то зачем нужно было так долго его разглядывать, вертеть туда-сюда, одергивать пиджак и поправлять пионерский галстук. Тем более что с такой внешностью все равно ничего не поделаешь. С таким недостатком. Речь шла о самой малости, о ничтожном обстоятельстве, которое будто бы отличало его от других, тем не менее он никогда не рассказывал матери о том, что его ожидает, ведь это значило бы признать, что ничтожное обстоятельство на самом деле имеет огромное значение. Он выглянул из подъезда и убедился, что никого вокруг нет, одни прохожие. Но едва он добрал до Кривого переулка, неся в обеих руках портфель и мешок с физкультурными тапочками, как раздался свист, тот самый свист, от которого всякий раз вздрагиваешь, как от удара бичом, издаваемый особым способом: пальцы в углах рта, нижняя губа поджата, глаза выпучены и вращаются в орбитах. Свист, не оставляющий сомнений в том, для кого он предназначен. Говнюк прятался в подворотне. С такими людьми ни в коем случае нельзя связываться: замахнешься на него, выйдет верзила. Мимо прошагал дядька в сапогах. Ученик ускорил шаг и догнал прохожего, чтобы казалось, что они идут вместе. Тот пошел медленней, очевидно, думая, что мальчишка хочет его обогнать. Впереди был самый опасный двор, но прохожий неожиданно вошел в подъезд. Мальчик остался один, брел вдоль облезлых домов с полуразрушенными подъездами, с пыльными окнами и железными створами ворот; угадать, глядя на эти дома, кто там живет, было так же трудно, как прочесть прошлое на лице старика.

Он уже миновал опасную зону, когда засвистели снова. Коротышка в широченных штанах, с непросыхающей верхней губой, с лягушачьим ртом, куда он засунул чуть ли не все пальцы, выкатился из подворотни, вослед ему откуда-то донесся другой свист. и радостный вопль прокатился по переулку. Главное — не оглядываться.

Не оглядываться, делать вид, что ничего не видишь и не слышишь. Мешок с тапочками бил его по ногам, в затылок попали из рогатки, но ничего страшного не произошло. Он вошел в школьный вестибюль, уже опустевший, где на высоком, выкрашенном под мрамор постаменте помещался алебастровый бюст Вождя с девочкой на руках. В классе большинство уже сидело на своих местах, дежурный возил мокрой тряпкой по доске. Некто, с медным от веснушек лицом, огненноволосый, шатался между партами. «Ты! — сказал он, подойдя к ученику, севшему, как все, рядом с девочкой: это была мера для предотвращения разговоров на уроке. — Линейка есть? Дай линейку». Мальчик вынул линейку. «А румпель-то стал еще длинней, — сказал парень по кличке Пожарник, — дай померяю». Кругом захихикали. «Сука буду, — продолжал рыжий Пожарник, стяжавший славу и популярность своим остроумием, неистощимой изобретательностью и тем, что он в каждом классе оставался на второй год. — Вчера был на сантиметр короче». Громовой смех встретил эти слова, а соседка с презрительной жалостью поглядела на мальчика. «Училка!» — крикнул кто-то. В класс вошла учительница. Все вскочили. Учительница покосилась на доску, где тряпка оставила размашистые белые разводы, уселась за стол и раскрыла классный журнал; началась переключка, фамилии школьников звучали словно впервые; в сущности, они были забыты, вытесненные прозвищами.

Нос был вынужден выйти со всеми в коридор, во время перемены оставаться в классе не разрешалось, за этим следил дежурный. В коридоре висела большая картина: легендарный комдив Чапаев в меховой бурке и заломленной папахе, с саблей, на боевом коне. За окном внизу находился школьный двор, но туда идти было незачем. Стоит только выйти, как все начнется снова. Он стоял в своем новом костюмчике перед подоконником, как бы отгороженный запретной полосой. Кругом все галдело и скакало, и если бы он присоединился к другим, то, возможно, оказалось бы, что запретной полосы не было, но она существовала оттого, что он не мог присоединиться, и с этим уже ничего невозможно было поделать. От него отшатнулись бы, как от заразного больного. И прекрасно. Он надеялся, что о нем позабыли. Первая перемена прошла благополучно.

Урок не интересовал его; он сидел, глядя прямо перед собой, по привычке следя одним ухом за происходящим, как собака, погруженная в дрему, улавливая звуки вокруг, и мог бы при необходимости ответить на вопросы учительницы; но мысли его были далеко. На большой перемене он снова занял позицию у подоконника, напротив Чапаева, развернул бумагу с бутербродом, следя за тем, чтобы масляные крошки не упали на костюм; в эту минуту кто-то невзрачный, малявка из младшего класса, подошел к нему и велел идти туда. «Куда?» — спросил Нос. Малыш показал в конец коридора. Нос отправился с надкушенным бутербродом по коридору и вышел на лестничную площадку, где стоял конопатый Пожарник. «Ребя, кого я вижу! — закричал Пожарник, как будто они увиделись впервые. — А вырядился-то! Ты смотри, как вырядился. Куда? — сказал он, преградив дорогу Носу, повернувшегося, чтобы уйти. — Нам поговорить надо. Это у тебя чего? Дай куснуть». Мальчик молчал.

«Ну дай, — лениво сказал Пожарник, — чего жмотничаешь-то?»

Он вышиб из рук мальчика кусок бутерброда, протянутый ему, и приказал: «Подними».

Нос оглянулся, они стояли вокруг. Он поднял с пола бутерброд и протянул Пожарнику.

«Сам уронил, сам и жри», — молвил Пожарник.

С третьего этажа спускалась учительница. «Мальчики, вы что тут?»

«Да ничего, — сказал бодро Пожарник. — Мы гулять идем, еще десять минут осталось».

«Брось, Пожарник, чего пристал к пацану?» — произнес властный голос за спиной у Носа, выступил человек по имени Бацилла и отодвинул рыжего Пожарника, который без слов подчинился. Нос держал в руках разломанный пополам бутерброд. Человек подошел вплотную.

«Ну-ка, — сказал он, — повернись к свету».

Мальчик озирался.

«Маму твою туда-сюда, ну и рубильник», — задумчиво сказал Бацилла и покачал головой. Все заржали. Бацилла медленно занес руку, дернулся, заставив мальчика отшатнуться, и, как ни в чем не бывало, почесал у себя за ухом; это был старый фокус, неизменно удававшийся.

«Ты откуда такой взялся с таким носярой? — продолжал Бацилла. — Дай-ка подержусь». Мальчик стал отступать и получил от кого-то сзади подзатыльник. Он обернулся: все стояли с невозмутимым видом, один уставился в потолок, другой смотрел в сторону. Нос взглянул на Бациллу, тот пожал плечами, и тотчас кто-то огрел мальчика по уху. И снова все смотрели, скупая, мимо него. Эта игра повторилась несколько раз, в конце концов он свалился на пол и закрыл голову руками. Тут зазвенел звонок. Для порядка его пнули раза два ногами. Он услышал, как они убежали, поднялся и отряхнул костюмчик. Когда он вошел в класс, классная руководительница — это был ее урок — уже стояла за своим столом и, очевидно, ждала его. Она даже не сделала ему замечание. Он пробрался на свое место. Похоже было, что девчонки о чем-то донесли. Не глядя на него, она сказала:

«Дети, вы должны знать. У каждого человека может быть какой-нибудь физический недостаток. Но это не значит, что...» Мальчик не слушал, его мысли были далеко. На уроке физкультуры его тапочками играли в футбол. Дома мать всплеснула руками, увидев пятна. Знает ли он, спросила она, сколько стоил его костюмчик? Мальчик сидел над раскрытой тетрадью и думал о том, как он завтра придет в школу и молча сядет на свое место, и никто не будет знать о том, что произошло, никто даже не догадается до тех пор, пока рыжий не подкатится, как обычно, чтобы начать издеваться над ним, и как он не спеша встанет и, не глядя, не сказав ни слова, размахнется и врежет между рог, так что Пожарник полетит на землю вверх тормашками у всех на глазах; как этот Пожарник поднимется с пола с глазами, белыми от ярости, и бросится на него, и получит снова. И лишь тогда все поймут, что никто с ним больше ничего не сможет сделать, потому что мальчик одет с головы до ног в невидимые латы. И в этих латах он выйдет на школьный двор и встретит там Бациллу, Хиврю, гнилоглазого Лёнчика и других. Мать увидела, что тетрадь пуста, и сказала, что уже девять часов вечера.

После этого прошло несколько дней, и однажды соседка по парте —

помнится, ее фамилия была Осколкина — сказала: «А я знаю, кто это сделал». Произошла сенсация. Явились рабочие с лесенкой. Народ толпился вокруг. Картина с Чапаевым была снята со стены, ее несли по коридору. На носу у героя гражданской войны красовались очки, к усам были добавлены лихо закрученные продолжения, изо рта торчала длинная изогнутая трубка, дымящая черным дымом, как паровозная труба. И в довершение всего бешено скачущему коню был пририсован углем внушительных размеров детородный член. Посреди урока в класс вошел завуч, мы, сказал он, это так не оставим, мы выясним, чьих это рук дело. «Если,— продолжал он,— виновный сам не сознается, то, значит, он трус и недостойн звания юного пионера». Все молчали. «Я жду,— сказал завуч и добавил: — Я хочу, чтобы вы все поняли. Это уже не просто хулиганство, а политическое преступление. Пусть тот из вас, кому известно, кто это сделал, встанет и скажет».

«Откуда это ты знаешь?» — мрачно сказал Нос. Уроки кончились, так получилось, что они вышли из школы вместе.

«Знаю,— сказала девочка.— Только не скажу».

«Значит, не знаешь».

«А я видела».

«Кого это ты видела?» Случай с Чапаевым почему-то произвел на него сильное впечатление и возбудил мысли, еще не ясные ему самому.

После некоторого молчания она заметила:

«Можешь меня не провожать».

«А я и не собираюсь тебя провожать», — возразил он.

«Я с такими не вожусь».

Он пожал плечами. Дошли до поворота, она должна была свернуть направо, а ему предстоял путь по Кривому переулку, который мальчик переименовал в Магелланов пролив. Там, на скалистых берегах, горели зловещие огни, дикие племена следили за мореплавателем.

«И вообще,— сказала девочка по фамилии Осколкина,— это не метод».

«Что не метод?» — спросил Нос.

«Не метод борьбы», — сказала она и побежала домой. Ночью он плохо спал, не мог понять, где он, просыпался, но думал, что все еще спит, у него произошла эрекция, он смотрел на коня, который выставил напоказ свое приобретение, раскорячив задние ноги и задрвав хвост, дело происходило, как выяснилось, в их переулке. И в то же время это был другой переулочек.

В школе продолжалось следствие по делу о Чапаеве, многих вызывали к директору, дошла очередь и до него. Директор был мал ростом, казался хилым рядом с могучим завучем, носившим прозвище Гиппопотам, и говорил тихим, ласковым голосом. «Мы знаем, что это не ты,— сказал директор.— Ты этого никогда не сделаешь, мы знаем. И даже больше того, прекрасно знаем, кто совершил этот акт надругательства. И ты, конечно, тоже знаешь. Ведь правда же? Мы знаем, что ты знаешь. Так что никакого секрета ты нам не откроешь, если скажешь, кто он. И никто не будет говорить, что ты наябедничал». «Это твой долг. Ты обязан сказать», — прибавил басом Гиппопотам. «Андрей Севастьянович, зачем уж так на него наседать? Мы никого силой не заставляем. Хотя можно применить и более строгие меры. Тот, кто отказывается изобличить преступника, сам становится соучастником. Так как же? — сказал директор.— Я жду». Он вздохнул. «Значит, будем играть в молчанку? Ну что ж! Ты сам об этом пожалеешь». Вместо Чапаева никого не повесили, позже, кажется, картина была реставрирована, но память не сохранила подробностей, так или иначе они уже не имели значения.

Следующий день не принес ничего нового, его втолкнули в девчачью уборную, не давали выйти, это была сравнительно безобидная выходка. Ясно было, что они напрягают фантазию, чтобы изобрести что-нибудь поинтересней. После уроков его поджидали у ворот. Не надо было выходить, чтобы убедиться, что его ждут, он это знал заранее. Знал, что они дадут пройти мимо, а потом кто-нибудь громко сплюнет, окликнет его ласковым голосом, кто-нибудь скажет удивленно, как будто только сейчас его заметил: «Паяльник. Не, мужики, бля буду — это Паяльник!» Он притворится, что никого не видит и не слышит, но

перед ним встанет слюнявый, гнилоглазый Лёнчик. Ему зашипнут нос двумя пальцами и начнут водить взад-вперед под общий гогот. Потом кто-нибудь сделает вид, что хочет схватить у него между ногами. Расставит два пальца и ткнет ими, как бы собираясь выколоть глаза. И он уже слышал, как всё кругом ревели и пело:

«Паяльник!»

«Рубильник!»

«Румпель!»

«Руль!»

Почему эта малость имела такое огромное значение? Очевидно, она должна была что-то означать, служила доказательством чего-то. Иногда он тайком гляделся в зеркало, старался увидеть себя в профиль и выпячивал губы, чтобы сделать ее незаметней. Он убеждался, что это не малость. Уборщица прошагала его из класса. Мальчик стоял у окна в пустом коридоре. Уборщица прошагала мимо с ведром и шваброй, он дождался, когда она войдет в учительскую, влез на подоконник и отвернул верхний шпингалет, внизу был школьный двор. Он оглянулся — уборщица стояла в дверях учительской и восхищенно смотрела на него. Он раскинул руки, прыгнул и полетел, сначала над двором, перемахнул через крышу, сделал круг и увидел под собой ворота, там стояли Пожарник, Лёнчик, еще кто-то, у всех разинуты рты от удивления. Нос парил над школой, внизу собралась толпа; он жалел о том, что не захватил с собой что-нибудь такое, но тут очень кстати оказалось под рукой ведро, принадлежавшее уборщице, и он вылил грязную воду на голову Пожарнику, а сам полетел дальше.

Неожиданно подошла Осколкина — откуда она взялась? — и сказала, что знает, как выйти из школы так, чтобы никто не заметил. Она сама много раз так выходила. «Зачем?» — спросил мальчик.

«Так. Для интереса».

Она добавила:

«Мало ли что. Может, пригодится».

По черной лестнице спустились в подвал, все оказалось очень сложно и очень просто, она нащупала выключатель, с силой толкнула разбухшую дверь, они поднялись по крутым ступенькам наверх и неожиданно очутились где-то на задворках; как назывался этот переулочек, сейчас уже невозможно припомнить.

«Можешь не волноваться», — сказал Нос, — я тебя провожать не буду».

«А я и не волнуюсь. Что, испугался?» — спросила она.

«Мне на них наплевать. Я все равно уйду из школы». Эта мысль внезапно пришла ему в голову, как все замечательные мысли, и он решил обдумать ее на свободе, в спокойной обстановке. Но сейчас он подумал, что девчонка смеется над ним исподтишка, над ним невозможно не смеяться, подумал, что ей будет стыдно, если кто-нибудь их увидит, и сказал:

«Слушай. А чего ты ко мне вяжешься?»

«Дурак! — Она обиделась. — Совсе я к тебе не вяжусь. На кой ты мне сдался?»

«Так бы сразу и сказала».

«Ему, дураку, помочь хотят, а он...»

«Ну и пошла подальше!» — сказал мальчик.

Он вернулся домой позже обычного, а на следующий день заявил матери, что больше не пойдет в школу.

«Как это так — не пойду?» — возмутилась она.

«А вот так! Не пойду — и все».

«Пойдешь, как миленький».

Он презрительно усмехнулся.

«А в чем дело?» — спросила она.

Он ответил: ни в чем.

«Ты от меня что-то скрываешь. Ты знаешь, — спросила она, — что значит быть человеком без образования?»

Нос пожал плечами.

«Ты хочешь мести улице? Хочешь пасти свиней? Ты добиваешься, —

сказала мать дрогнувшим голосом,— чтобы я всю ночь не спала, плакала и завтра пошла на работу с головной болью?»

На этом разговор прекратился, вечером она увидела, что он делает уроки, и промолчала. Мальчик сидел над тетрадями, но в действительности умел делать несколько дел сразу. Он думал о том, что подвал может пригодиться и вообще этот способ — подарок судьбы. Да, большие идеи приходят в голову внезапно. Его жизнь обрела смысл.

Тщательная конспирация есть закон и залог успеха; все последующие дни он был занят продумыванием подробностей, нужно было предусмотреть все неожиданности. Но тут ему пришла в голову гениальная по своей простоте мысль, что разыскивают лишь того, кто скрывается. Тот, кто действует открыто, не вызывает подозрений. Инстинкт подсказал ему меру необходимого соотношения осторожности и отваги. В школе открылся буфет, мать выдавала ему деньги, но надо было быть последним идиотом, чтобы стоять в очереди, в толпе голодных и галдящих учеников, вообще туда ходить. Не говоря о том, что у тебя могли в любую минуту вышибить из рук завтрак, сбросить на пол тарелку, выхватить бутерброд. Так ему удалось в короткое время скопить достаточную сумму. С плетеной бутылкой он отправился в лавку и закупил необходимое. Расчет был правильный: никто не обратил на него внимания, когда спокойно и чинно он нес бутылку — разумеется, не по Кривому, а по тому самому переулку, в котором они тогда оказались с Осколкиной. Накануне решающих событий, на уроке, Нос поглядывал на училку, на других, видел огненно-рыжую голову Пожарника, сидевшего впереди на первой парте, как положено второгоднику, и ощущал себя господином жизни и смерти. Тайна вознесла его над всеми. С соседкой он не заговаривал, хотя ему очень хотелось ее удивить.

Так и подмывало сказать ей: а вот завтра кое-что увидишь. Нет,— и он сделал бы вид, что раздумывает над окончательным решением,— нет, послезавтра. Она спросила бы с равнодушным видом: что увидишь?

Такое, ответил бы он, что ты никогда в жизни не видела.

Тут она перестала бы притворяться. Что ты задумал? Скажи мне одной! — вскричала бы она.

Сама увидишь.

Нос подумал, что, пожалуй, стоило бы предупредить ее в последний момент, но как это сделать? На уроке он отпросился в уборную, чтобы провести последнюю рекогносцировку. Тут он понял, что риск все же велик. Он засекал время на больших часах, висевших в коридоре, спустился, поднялся, вся операция должна была занять от пяти до семи минут. Когда прозвенел последний звонок, он подошел к классной руководительнице, держась за щеку, и предупредил, что завтра, наверное, не придет в школу. Зубной врач положил ему мышьяк, чтобы убить нерв, но боль становится все сильнее, он даже не знает, дотерпит ли до завтра. Она подозрительно взглянула на него, принесешь, сказала она, справку от доктора.

Жди, думал мальчик, тебе она все равно уже не понадобится.

Но Осколкину все-таки надо было предупредить. Он догнал ее. «Слушай,— сказал он.— Только поклянись, что никому не скажешь. Клянешься?»

Она воззрилась на него, сделав круглые глаза.

«Клянешься?» — спросил Нос.

«И не подумаю! — сказала она презрительно.— Чего это я буду клясться?»

«Ну, не хочешь, как хочешь».

«Сначала скажи».

«Дура! Это в твоих интересах».

«А в чем дело?»

«Я завтра не приду»,— сказал Нос, подумав.

«Ну и что?»

«Мне к зубному надо. Он мне мышьяк положил, сволочь».

Несколько времени шли молча. У поворота она сказала: «Ну, я пошла».

«Ты тоже завтра не приходи»,— сказал мальчик.

«Чего это?»

«Я говорю, не приходи, поняла? Сиди дома. Вопросов не задавать!»  
И он зашагал прочь.

Он расстрелял взбунтовавшуюся команду и приказал сжечь мятежное судно. Дождавшись весны, он вышел на оставшихся трех кораблях из устья Параны и двинулся на юг, не теряя из виду берег, в уверенности, что найдет проход к океану, и в самом деле достиг пролива и дал ему свое имя. И когда наконец, после долгих блужданий, под неусыпным надзором враждебных племен, засевших в ущельях, корабли Фернандо Магеллана прошли сквозь пролив, перед ними открылся спокойный, бескрайний океан.

Мальчик вышел из дому раньше обычного времени, с портфелем и мешком, в котором лежали физкультурные тапочки, во избежание дорожных инцидентов сразу выбрал окольный путь, вышел к Чистым прудам, пересек трамвайную линию, побродил по дорожкам безлюдного бульвара, несколько позже его можно было увидеть перед особняком Латвийского посольства, он стоял, любуясь замысловатым гербом на дверях. Было все еще рано. В половине девятого он оказался на задворках, отсюда было слышно, как в школе прозвенел звонок. Ошалелый школьный звонок, одно из худших воспоминаний жизни. Нос прошел, держась у самой стены, к низкой железной двери и спустился в подвал. Чувство времени руководило им, как если бы в мозгу у него работал хронометр; в восемь часов сорок пять минут он прикрыл за собой дверь подвала и стоял в самодельной маске, которая завязывалась сзади веревочкой, на площадке перед лестницей, прислушиваясь к звукам наверху. Некто, его направлявший, инстинкт-хронометр, подал сигнал, и тотчас Нос пошел вверх по ступенькам, держа в одной руке плетеную бутылку, в другой портфель и мешок с тапочками, выглянул в коридор, после чего сложил свои вещи на пол и облил их. Все так же спокойно, с ровно и точно работающим механизмом в мозгу, он шел, наклонив бутылку, по коридору, пока не кончился керосин. С бутылкой нечего было делать, он оставил ее на подоконнике. Затем он вернулся к черному ходу, вынул заранее приготовленный бумажный жгут, чиркнул спичкой и, швырнув жгут в коридор, бросился вниз по лестнице в подвал, сорвал с лица маску, выскочил наружу, не теряя времени, чтобы не пропустить волшебное зрелище, обогнул квартал; несколько минут спустя он чинно шагал обычным своим путем со стороны Кривого переулка к воротам школы.

Тут его постигло великое разочарование. Ничего не было. Ничего не происходило, окна школы блестели на солнце, подъехал с урчанием грузовик, шофер высунулся из дверцы, кто-то там отворял створы ворот и пререкался с водителем. Издалека послышалась сирена. Нос взгляделся и чуть не завопил благим матом от радости: в окнах первого этажа дрожало пламя! Сразу в нескольких окнах, и там, и здесь. Ему хотелось прыгать, плясать. Вместо этого он стоял на тротуаре, на противоположной стороне, и, слегка прищурившись, с каменным лицом наблюдал за происходящим. Горел весь нижний этаж, и, значит, им всем на втором и на третьем уже не спастись. Посыпались стекла, кто-то выбежал из подъезда, люди метались по двору, красная пожарная машина никак не могла въехать, грузовик толчками выдвигался из ворот, вторая машина стояла посреди переулка, пожарные разматывали шланг. Между тем густой черный дым валил из окон второго этажа. Толпа обступила мальчика, он протиснулся вперед, милиционеры отесняли зевак с мостовой, вой сирен заставил всех повернуться. В конце переулка из-за угла вывернули еще две машины. Санитары с носилками проталкивались между людьми в касках и брезентовых робах, чей-то начальственный голос командовал в мегафон. Нос выбрался из толпы. Он шагал, сунув руки в карманы, перешел трамвайную линию, миновал бульвар, шествовал по Покровке, шел без всякой цели, глядя перед собой, сумрачный, одинокий, как адмирал, свободный, не нужный никому и ни в ком не нуждающийся.



*Стал я автором «Октября», потому что не смог быть автором «Нового мира»: «Казенную сказку» сокращал по указанию его редакции до 180 страниц из шестисот написанных — столько требовалось ответсеку, чтобы заткнуть в одном из номеров дыру, — но написал, по сути, новую вещь, сохраняя как можно единственное ее звучание; следующей была «Митина каша» — невеликий рассказец, чьи хождения по мукам могли сделаться содержанием для новых «записок покойника». Ну а «Конец века» был уже отвергнут «Новым миром» без мучений для автора.*

*И вот с рассказом о бездомном и сам остался в литературном мире без определенного места жительства. Но ни смыслом, ни формой поступаться после этих экзекуций стало для меня больше невозможно. А уже писал «Дело Матюшина» — и все повисло в пустоте. С журналами, кроме «Нового мира», еще не имел ничего общего и даже не представлял, где бы могло найтись для меня место. Там, где опубликуют «Конец века», может вместиться и «Матюшин» — лишь это и понимал. Хотя внутренне от журналов только и ждал новой экзекуции. Наверное, поэтому сам никуда не обращался, и около полугода в моей жизни царил гнетущая тишина.*

*Первым звонком, что оборвал эту тишину, стал звонок из незнакомой мне редакции «Октября». А все дальнейшее известно, потому что после того, как в третьем номере за 1996 год был опубликован в «Октябре» рассказ «Конец века», путь мой литературный — на страницах журнала. Свел меня с «Октябрем» все же не случай. Моим учителем в литературе был и останется в полном смысле один человек — Николай Семенович Евдокимов, который выбрал меня когда-то в свой семинар и привил исподволь очень многое, из чего сложилось мое отношение к литературе и творчеству. Евдокимов был связан с «Октябрем» всей своей литературной судьбой. Здесь публиковалась многие годы его проза. Здесь он долгое время работал и как литсотрудник. И Николай Семенович, зная о моих мытарствах, передал меня с рук на руки в «Октябрь» как своего ученика.*

*А привыкать в «Октябре» пришлось только к тому уважению, которым здесь без чинов и званий окружают своего автора. Вскормленному легендами о «новых мирах», о «целой литературной эпохе», о «чести и совести нашей литературы» было очень трудно привыкать к самому простому. К примеру, непривычно было слышать: «Мы благодарны нашим авторам...» И я благодарен всем людям, кто работает над журналом, и благодарен всем людям, кто его выписывает и читает.*

## Запой, или Сказка о последнем казаке

РАССКАЗ

**Т**ем человеком оказался не кто другой, как Илья Перегуд... Русский громадный мужик, который выпивал водку так, будто утолял всякий раз жажду, и брезговавший пить обыкновенную воду — то она воняла воблой, как он утверждал, то была теплой, «пархатой», по его незлобивому выражению. Для



солдат он был Ильей, дядькой Ильей или еще Ильичом, что ему нравилось больше, потому что звучало внушительней. Для дружков он был Илюхой-казак, а дружился он, бывало, с последней дрянью — хоть с туберкулезом, если имелась бы за компанию чекушка. По казенной надобности к нему обращались «гражданин Перегуд», а если с уважением, то «товарищ Перегуд», как в похвальной грамоте. Отчество же утратилось. Он сам обретал свое отчество с трудом, для чего залазил в удостоверение личности и безрадостно восклицал: «Тьфу ты... Егорыч!» Он был проклятым сыном, к которому имя отца цеплялось разве репейником.

Перегуд вспоминал, что жили они с отцом в станице. Мать померла рано, а хозяйство у них было богатое. Поживали они с отцом дружно. Но как-то отправился старик в Ростов, на колхозном рынке ягодой торговать, а воротился на пустом возу в обнимку с молодой бабой. Обжился с той бабой, но сына не разлюбил. Говорил при ней: хозяйство Илье оставляю, а он пускай решает, как с тобой после смерти моей быть, может, в дому и оставит.

Как время прошло, баба эта со стариком стомилась, а на сына позарилась. И то она поначалу мать из себя хитрила — обнимет, поцелует в лоб, слово ласковое скажет. Но вдруг не удержится — и засосет в губы. Илья боялся жаловаться на нее отцу. Старик-то прикипел в ней душой, хотя и подобрал в Ростове голый да босой, будто батрачкой нанял.

А мачеха разозлилась, что Илья ей противится, остервенела. Когда отца нет, то скинет рубаху и ходит голая по дому, так что Илья без отца из дому-то бежит. Но и с отцом — урвет минутку, когда тот выйдет, и задирает подол: «Нака, сынок, глянть, что я тут прячу для тебя, для милого...» Вот и намучился Илья, изнемог — и поведал отцу что было, как на духу. И отец, не раздумывая, поверил сыну.

Бабу исполосовал нагайкой. Сказал ночевать в хлеву, а наутро чтоб следа ее жабьего не было. А проснулся — слышит бабий крик из хлева. Вбежал и видит, что сын будто бы на мачеху навалился, будто бы рубаху на ней разорвал и ползает, а она под ним надрывается, кричит. Старик тогда позабылся от гнева. Хватил он сына своего жердью по голове. А когда очнулся Илья, то не было у него уж ни отца, ни родного дома.

Баба еще с вечера клялась старику, когда нагайкой крестил, что Илья оговорил ее в отместку, что осталась отцу верна, а ему ничего не досталось. И старик уж сыну не спустил: бездыханного, взвалил на лошадь, так что лошадь задичилась, и сvez трупом в милицию. А когда сына осудили, что насильовал, то пожил старик годик — и помер. Дом, подворье, хозяйство с двумя лошадьми, свиньями, садом, огородом достались той поганой бабе, которая и женила его на себе, будто убила. Молодая вдова продала все чохом, не постояв за ценой, и бежала налегке из чужой, пограбленной ею станицы.

Илья Перегуд хлебнул в лагерях горя до кровавых слез, но выжил природной своей силушкой. Отсидел три года, уцелел, а остальной срок ему облегчили, сплавив зеком, хоть и бесконвойным, на черную неоплатную работу.

Отсидевшись он на Карагандинке, так что и трудовые будни его протекали в казахстанском степном крае, в маленьком и чистом городишке Абай, где использовали его как шахтера. Но к поденной работе его душа никак не лежала. Так и не привык Илья подыматься, когда прикажут, и делать, что прикажут.

Расходуя постылое земное время, Илья держался возле двух вещей, которые остались для него святыми, потому как при самой крайней нужде не могли быть пропиты: казацкого чуба да казацких усов. «Я казак, я с Дона, слышали такую реку?» Невозможно было оторвать глаз, когда он это говорил! Его сваренная в водке, щербатая образина мягчела, морщины расплывались, будто круги по воде, ярче всяких красок изображая то, о чем вспоминалось как бы глубоким

стариком, хотя Илье от роду было едва ли сорок лет. И казалось, помести его в топку, чуб с усами и там не сгорят, а из пылающих углей выглянет сам Перегуд — и огонь загудит, запоет: «Рекуууу...»

Казахстанские степи были для него благодатней родины, будто теплое светлое небо для птицы. Для казахов, кочующих с колхозными стадами, всякий гость дорог — напоят, накормят, дадут кров... Кумыса вдоволь. А еще ведь существует арака, которая крепче русской водки, ей-ей!

Освободившись с принудработ, Илья Перегуд подъяедался в степях от Караганды до Жезказгана, от Уральска до Балхаша. Исстари враждовавшие с казаками, степняки побаивались Перегуда, с этими его усами и чубом, но со временем полюбили его. Перегуд позабыл русскую речь, выучился охотиться на степную дичь, пить без отвращения кумыс, но работник он был плохой, и хозяева им тяготились. А зимой кочевья уходили в колхозы, где валом было русского народу и казахов, уже оседлых. За все-то им отработай, заплати. А попадешься к русскому, тот норовит скотом сделать, в хлеву на цепь посадить.

Так что зимой Илья перебирался из степей в городишки да шахтерские поселки, но повсюду имелось начальство, которого он не выносил на дух, и платили мало, и негде было жить. Влюблялись в него бабы, но каждая норовила на себе женить, только тогда соглашаясь поить, кормить да в своем дому прописать человеком. А для Перегуда женитьба была тем муравьиным усилением, которого он не хотел да и не мог над собой совершить. Ведь это же и дети пойдут, а на что они ему? Ведь это хозяйством обростешь, а на что ему хозяйство?

Душа его была ни вольной, ни дикой, а произрастала, как вечная трава, что пробивается порой даже на голых камнях. Все разом потеряв, Илья Перегуд и не подумывал строить жизнь заново. А водка и так, без усилий, доставляла ему радость, без ненавистного муравьиного труда. Когда он пил вдосталь, то дни ходили на праздники. Припадая к горлышку звонкой бутылки, будто к материнскому кормящему белоснежному сосуду, он ощущал восторг, известный только младенцам. Перегуд отродясь знал все о водке — как ее гонят из риса, пшеницы, гнилых яблок, древесной стружки, старого бабьего тряпья и кислых щей. Он же утверждал, что если ничего из этого не окажется под рукой, то выгонять ее можно, замешивая землю водой. Да раз плюнуть, чтоб забродило! И как чудесно выпивалась им первая стопка после пробуждения. Проникала внутрь, будто голый, чуть вылупившийся птенец. С минуту Перегуд блаженствовал, запрокидывая чубастую голову и чувствуя теплое трепетание внутри. Стопка за стопкой птенец подрастал, уже расправляя крылья в его груди, которая делалась от этого широкой да чистой, будто небеса. А после Илья взлетал! Взлетал сильной, вольной птицей с жаркими, поющими перьями, с бубенчиками на вороненом хвосте. Подымаясь на захватывающую дух высоту, откуда и земля казалась не больше сморщенного грецкого ореха, душа казацкая парила или купалась в текущих ручьями ветрах — пропахшая табаком, водкой, речной сыростью Дона и копченая дымом казацких станиц.

Можно сказать, что Илья Перегуд пил из вечного своего страха перед трезвостью. То ли это был душевный недуг, предвестье белых горячек, то ли от старелого невежества, но Перегуд утверждал, порой с пугающей страстью, что есть в мире такая страшная сила, которая хочет всех казаков истребить. Эта сила называлась у него «лягавой», точнее Илья высказаться не умел, и означала тот недобрый порядок, что заставляет человека слушать и повиноваться.

Случилось как-то Илье Перегуду заблудиться в степи, переходя от стойбища к стойбищу в поисках животворящей своей араки, и, мучимый трезвостью, слег он на половине пути. Думал передохнуть. Пересохшая глотка зудела, так что ее хотелось расчесать или же выдрать. Но палящее степное солнце тугими

огненными жилами скручивало ему руки, отчего он валялся на земле и жевал горькую худосочную траву, до которой мог дотянуться ртом.

И вдруг из-под земли вырос волк... Мелкий, с жесткой рыжей шерстью, походившей на кабанью щетину, и с бородкой, которая, как пыль, въедалась в глаза. Острая, клинышком, с чужой наглостью — эта бородка придавала его широколобой тупой морде яростное выражение. Волк поглядел на Перегуду слезливыми человеческими глазами и заговорил с ним рыком: «Пора тебе наконец хозяев своих бояться, пора хлеб съеденный обрабатывать, довольно уж погулял». Ничего бы так Илью не проняло, как то, что заговоривший с ним в безлюдной степи волк вонял воблой: духом трезвым и солоным, точно кровь. Или в бараке лагерном вонь такая. Постиг тогда Илья, что это сам лягавый с ним заговорил. У них каждый — вожак, и он был одним из железношерстной их стаи, что питается живыми людьми.

И вскочил Перегуд на ноги, побежав прочь от лягавого волка, выбиваясь из сил. Волк же, загоня казака, потрусил за ним на некотором расстоянии, точно бы отставая, даруя надежду, отчего Илья как раз выдыхался. А лягавый и ждал, чтоб казак сам сдох. Бежал Илейка с версту, потом на животе полз, за траву цепляясь, а волк прогуливался за ним следом и, когда Перегуд изнемог, сдох, встал над ним и опять заговорил: «Пора тебе наконец в хозяйский хомут впрягаться. Все уж впряглись, и мы на них землю пашем, кормим их, чтоб голодали. Или ты еще не понял, что наша правда на Земле? Или еще веруешь, что сам себе хозяин?»

Перегуд притворился мертвым, но сердце в спертой страхом груди билось во всю степь. Харкнул волк смешком, но рассердился, что казак его обмануть хотел. Говорит: «Пора тебя наконец сожрать. Нет от страха твоего никакой пользы, кроме костей да мяса. Будем теперь наведываться и отрывать по куску, сколько нагуляешь костей да мяса». Урвав тот самый кус, волк отпрыгнул от орущего Илейки и чавкнул звонко пастью. Удовольствия от проглоченного волк не получил, одним куском он и не мог бы насытиться — то было его работой, его лягавым долгом. Поглядев с отвращением на живую муку казака, он вдруг поднялся на задние лапы, став огромным, и пошагал куда-то в степь, куда ему было надобно.

Илейку нашли казахи, которые охотились в этих местах. Его свезли в стойбище и отпоили кумысом. Исповеди его степняки не поверили. И не потому, что волк, явившийся будто бы Илье, говорил человеческим языком. Но с рождения знавшие свои земли и звериные повадки, казахи отвечали казаку, что волк не мог завестись в их безводной степи. Что волки не живут там, где нет близко открытой воды. Потому степняки порешили, что был Перегуд пьян, раз волк ему почудился. А выгрызли из него кус мяса земляные крысы, когда на земле валялся. Казахи же Илью добросовестно выхаживали, и он еще с месяц наслаждался в их стойбище аракой, а ничего лучше и не пожелал бы себе.

Но волчье рыжее рыло все помнилось Перегуду, будоража страхом, когда больше не наливали ему в степях и когда отказывались уже наливать в городишках, и он едва выпрашивал у работяг кружку тухлого пива. И вот опять пованивало воблой, и Перегуду думалось, что отыскивают и травят его лягавые.

И еще с лагеря снился Илье все годы один и тот же сон. Что выпил он водки и гуляет в белой нарядной рубашке по родной земле. И вдруг подходят к нему стражи порядка, хватают, кидают в окованный вонючим железом кузов той машины, что похожа на гроб. Прямо из кузова, вытряхнув душу, бросают в громадный мертвый дом, внутри которого все железное и ржавое и опять же потягивает воблой, будто в доме старухи живут. Потом раздевают догола и обливают из шланга ледяной водой, точно он обосрался; такие бабы дебелие обливают, что

похожи на мужиков. Голого, мерзлого, его на совесть замешивают сапогами эдакие здоровячки. Почти что убитого тащат волоком, спать распяливают на коечной дужке, прикручивая к ней руки — то ли проволокой, то ли гитарной струной. А наутро бреют в наказание, уродуют под машинку. Вещи будто возвращают, но без пуговиц, их-то пооборвали, насмехаясь: «Погляди на себя, сволочь, тебя же аннулировать надо, ты же родину позоришь». Поглядел, а рубаха и грязная, и рваная, вся в крови.

Снося все пытки, Перегуд в этом своем сне никогда не мог выдержать того, что его чуб с усами сбивали зубастой злой машинкой, и просыпался от пережитого в те мгновения ужаса. Измученный сном и явью, будто загнанный, Илья Перегуд сдался: сознательно продал лягавым душу, как полагал, чтобы они его не истребили. Случилась эта бесхитростная сделка в Угольпункте, в барачного типа общежитии для лагерных работников, куда Илью вынесла пьяная дорога и где он, пьянствуя с вертухаями, со слезами упросил новых дружков, чтоб пристроили к себе в лагерную охрану.

Может, это и случилось по пьянке, но, нанявшись в охрану, Перегуд прослужил много лет. Служил вертухаем, прозванным в лагере за свою нечеловеческую силу Кувалдой.



*Сыновьих чувств у меня к журналу нет, есть искренняя симпатия. Замешана она главным образом на том, что в «Октябре» больше, чем где бы то ни было, понимают, что литература есть не только результат, но и движение, и процесс. Понимают — и поэтому не имеют манеры «заворачивать» рукописи сколько-нибудь зрелых литераторов, справедливо полагая, что автор сам в ответе перед читателем за процесс. Меня, во всяком случае, ни разу не «заворачивали», но это делает честь не столько мне, сколько журналу «Октябрь», который в результате такой политики и богаче, и шире прочих.*

## Русские анекдоты

**В** те достопамятные времена, когда нашим людям не полагалось более или менее экзотических путешествий и факт существования, положим, Канарского архипелага принимался скорей на веру, экипаж читинского авиаотряда как-то выполнял рейс Магадан — Уфа. Разбежались, взлетели, заняли эшелон, и уже пассажиры оживились в предвкушении завтрака на борту, что по той поре представляло собой целое приключение, как вдруг один гражданин, совсем даже невидный, похожий на соседа по этажу, поднялся со своего кресла, кашлянул и сказал:

— Всем оставаться на своих местах! При малейшей попытке сопротивления — ваших нет!

И с этими словами он вытащил из кармана пиджака ручную гранату артикула Ф-1.

Пассажирам стало ясно, что это угон и воздушное судно неизбежно меняет курс, но поскольку народ в самолете собрался тертый, главным образом вахтовики, то ничего похожего на панику не возникло и даже один вахтовик спросил:

— Это... куда летим?

Угонщик в ответ:

— Летим, товарищи, в Пакистан. Первая причина, что больше нигде не принимают, а в Пакистане, говорят, принимают, потому что это исламское государство враждебно настроено против нас.

— А чего? — сказал кто-то из пассажиров.— Пакистан тоже давай сюда!

— А то нет! — согласился другой.— Ведь это та же самая заграница, продажная любовь там, упадочная музыка, показное изобилие товаров повседневного спроса и прочие удовольствия типа базар-вокзал!

— Причем сколько потом будет впечатлений, воспоминаний, разговоров разных, ведь это шутка сказать — съездили в Пакистан! И за измену родине нам скорее всего не впаяют срок!

По рядам прокатился веселый ропот, поскольку всем показалось весьма заманчивым безнаказанно побывать за границей, да еще за те же деньги, в обход формальностей и невзирая на социальный состав семьи. На радостях никто даже не пожалел, что в сложившихся форс-мажорных обстоятельствах вряд ли удастся позавтракать на борту.

— Только одно обидно,— сказал кто-то из пассажиров,— ни одна зараза нам не поверит, что мы съездили за границу, скажут типа: кончай травить!..

— Есть такое мнение, что поверят, если, конечно, предъявить в качестве вещественного доказательства какой-нибудь сувенир.

- Это... сувенир купить нужно. Только, спрашивается, на что?!
- Интересно, у пакистанцев наши рубли в ходу?
- Это вряд ли! Чувствует мое сердце, придется на валюту менять рубли.
- А если не сменяют?!
- Это мой-то славный колымский рубль?! Пускай только попробуют не сменять!

За этими разговорами про угонщика подзабыли, как-то оттерли человека на задний план. У того даже появилось в лице что-то похожее то ли на разочарование, то ли на обиду, и, только когда его пригласили для переговоров в кабину экипажа, к нему вернулось сравнительно жесткое выражение, и он ушел, с опаской неся гранату перед собой.

Кто-то из пассажиров сказал:

- Вообще Пакистан — это, конечно, не лучший вариант, потому что там живут мусульмане и у них лютует сухой закон.
- Подумаешь, напугал! Да у меня с собой два чемодана водки!
- Это... а если срок дадут за нарушение законности?
- Не впервой.

Вахтовики еще предавались мечтам и соображениям, когда появился командир воздушного корабля и приятным голосом сообщил:

— Все в порядке, товарищи. Сдался властям этот придурочный террорист, так как нам удалось уладить кое-какие его бытовые проблемы, и поэтому экипаж продолжает рейс.

Во всех трех салонах наступила нехорошая тишина. Наконец кто-то из пассажиров сказал:

- Пускай он выйдет, мы хотим глянуть ему в глаза!
- Вот именно! Пускай он выйдет, мы ему скажем, что он мерзавец и негодяй!
- Нельзя, товарищи, он сейчас как бы под домашним арестом...
- Тогда передайте ему типа общественное мнение, что он вместе взятый мерзавец и негодяй.

Для кого одиночество — одиночество, для кого — воля, а есть еще и такие, кто извлекает из одиночества положительный результат.

Сереза Мыслин извлекает из одиночества положительный результат; обыкновенно на третий день после того, как жена с дочкой съедут на жительство в легочный санаторий, когда с ним вдруг сделается грудная тоска и покажется, будто на свете существуют только груды грязной посуды, залежи нестиранного белья и ручной попугайчик Кока, когда невыносимо захочется как-то набезобразничать, он выпивает полбутылки водки и садится за телефон.

Затея состоит в том, что он набирает первый пришедший ему на ум номер и по возможности заводит продолжительный разговор. Например, набирает он номер 243-26-14 и с замиранием сердца слушает длинные гудки. На том конце провода снимают трубку и говорят:

— Алё?

Сереза Мыслин спрашивает:

— Лену можно?

— Ошиблись номером,— отзывается абонент.

Сереза Мыслин опять набирает номер 243-26-14, и опять ему говорят:

— Алё?

— Лену можно?

— Какую Лену?!

— У вас их что, много?

— Ни одной нету! Набирайте правильно номер!

Опять звонок и опять:

— Алё?

— Лену можно?

Непродолжительная пауза, а затем ответ:

— Я думаю, можно. А почему бы, собственно, нет?.. Если Катю можно, Наташу можно, то, вероятно, и Лену можно. Почему нет?.. Ты знаешь, мужик, народный стишок:

Какая барыня ни будь,  
Все равно ее... того!

— Я, честно говоря, поэзию не люблю. А чего ее любить, тем более что в жизни стихами не говорят.

— Ну и что, что не говорят?! Вообще это какой-то грубо-утилитарный подход к проблеме, ведь в жизни, положим, не танцуют па-де-де и тем не менее балет обожают все.

— Па-де-де в жизни танцуют, только оно называется — краковяк.

— Пусть даже так, но все равно это будет исключение из закона, утверждающее закон. Видите ли, искусство и жизнь взаимосуществуют как бы параллельно, в непересекающихся плоскостях.

— Не понял...

— А чего тут особенно понимать?! Рельсы, если их взять в перспективе, пересекаются только в нашем воображении. Так и тут. Жизнь — процесс, искусство — результат, жизнь не питает искусство, в то время как искусство питает жизнь.

— Как это не питает?! А если, допустим, меня срисовывают на портрет?

— Все дело в том, что не столько вас срисовывают на портрет, сколько художник демонстрирует свое видение природы, а то и поднимается до абстракции, до объекта вообще, не имеющего никакого отношения к действительности, и тогда он производит чистую красоту. Поскольку чистой, сформулированной красоты в природе нет, то мы имеем право утверждать, что жизнь не питает искусство, в то время как искусство питает жизнь.

— Что-то вы больно путано рассуждаете...

— Вовсе нет. Но если вам непонятно, скажу иначе: главная задача искусства состоит в том, чтобы постоянно напоминать человеку о его происхождении от Творца. Тут логика такая: коли я способен сочинить симфонию, то, следовательно, и ты способен что-нибудь сочинить, если я по-своему бог, то и ты по-своему бог, только давай, стремись.

— К чему стремиться-то?..

— Да к тому, чтобы хоть чуть больше козы походить на своего создателя, на Творца! Сказано ведь: будьте, как Отец ваш небесный, то есть всемогущим во благо, милостивым, не помнящим зла, любящим ближнего, как самого себя, по крайней мере неспособным зарезать соседа за пять рублей!

— Может быть, это все-таки ненормально?

— А я о чем?!

— Ну ладно,— примирительно скажет Сережа Мыслин,— беру эту тягомотину, как говорится, на карандаш.

Вообще он не кончил даже начальной школы, поскольку в нежном возрасте сбежал из детского дома и скитался до самого призыва в армию по стране, но за то время, что жена с дочкой перебивали в легочном санатории, кое-какое образование получил.

---

Москва, Балаклавский проспект, угловой дом, за которым скрывается обыкновенный новомосковский дворик, именно композиция из детской площадки, гаражей рифленого железа, группы пожилых тополей, стола для доминошников, двух десятков автомобилей, тронутых ржавчиной, бетонной будки неизвестного предназначения плюс куст черемухи, куст сирени. За столом для доминошников сидит мужик в вязаной кепке, курит и неодобрительно смотрит на соседа по лестничной площадке, который из ворованного штакетника мастерит что-то вроде палисадничка для цветов. Мужик в кепке смотрел, смотрел, а потом сказал:

— Ученые пишут, что через десять тысяч лет на месте Москвы будет сплошное море...

При этих словах в глазах у него появляется тонкая грусть, как если бы ему нечаянно подумалось о покойных родителях или вообще о жизни, прошедшей зря.

— Представь себе: ни Балаклавского проспекта, ни кинотеатра «Октябрьский», ни площади трех вокзалов — одна вода!

— Ну и что? — спрашивает сосед, продолжая тюкать по дереву молотком.

— Да так, ничего... — говорит мужик и пронзительно смотрит вдаль.

Подъехал крытый грузовичок, и шофер с напарником стали выгружать из него подержанный холодильник, кряхтя, сопя и сдержанно матерясь.

— Суетятся люди, — сказал мужик. — А я, наверно, скоро даже телевизор прекращу смотреть. Тем более что он у меня не работает. Верка говорит: давай чини. А я говорю: чего его чинить, если все равно через десять тысяч лет на месте Москвы будет одна вода...

В поселке Красноармейский Тотемского района Вологодской области вышел из строя водопровод. Жизнь здесь была до того скучная, что сначала это событие поселковых даже развеселило, но чем дальше, тем пуще веселье уступало смятению и тоске. И немудрено, поскольку за водой нужно было ездить в соседнюю деревню Новоселки, что само по себе занято, однако новоселковским эти визиты в скором времени надоели и они выставили у околицы кордон из наиболее отъявленных мужиков. Тогда совсем приуныли поселковые, и, кстати сказать, напрасно: им бы, дурням, знать, что если народ доведен до отчаяния, то обязательно жди чудес.

Совсем приуныли в Красноармейском еще и по той причине, что ни за какие деньги нельзя было достать даже сравнительно доступные дренажные трубы. Украло было трубу заводского типа на камнедробилке, располагавшейся километрах в пятнадцати от поселка, но буквально на другой день приехала милиция, добычу отобрали, а причастных к похищению обещали пересажать.

Тогда послали гонца в район; является гонец к секретарю районной партийной организации.

— Так и так, — говорит, — несмотря на заболоченность почв и круговорот воды в природе целый поселок погибает от жажды, как бедуины какие, ни дать, ни взять! Помогите, товарищ секретарь, добыть сто метров дренажных труб!

Секретарь отвечает:

— Несмотря на сравнительно плановое хозяйство, таковых в наших резервах нет. Сто пар резиновых сапог — это хоть сейчас, а труб для водопровода — этого у нас нет.

Пришлось в область послать гонца; приезжает гонец в Вологду и ходит по городу некоторым образом окрыленный, потому что видит — кругом вода; однако к вечеру настроение у него упало, так как, оказывается, в области шел месячник по борьбе с пьянством и алкоголизмом и ни в одной инстанции нельзя было заикнуться про водоснабжение на селе.

Тогда стали слать письма куда ни попадя и даже послали цидулку в Верховный суд. Кое-какие пришли ответы, включая отписку от мелиораторов из города Кокчетав, но красноармейским было от этого не легче, поскольку они не́бом чувствуют: воды как не было, так и нет.

И тут случилось прямое чудо; именно как-то под вечер с неба свалился гражданин Соединенных Штатов Америки, некто Уильям Дабс, как потом выяснилось, миллионер, который самосильно совершал кругосветное путешествие на собственном дирижабле, потерпел аварию над Вологодской областью и приземлился в окрестностях поселка Красноармейский, как раз между зерносушилкой и памятным камнем в честь 50-летия Октября. Отношения между нашими странами к тому времени потеплели, и господина Дабса не только не посадили в



холодную, а, напротив, прислали из района капитана госбезопасности для безопасности и услуг.

В Красноармейском американцу оказали такой горячий прием, что тот сначала даже оторопел: и поселили-то его в кабинете председателя поссовета, и понесли всякой снеди, и за чем-то новый велосипед подарили, и фельдшерницу из медчасти послали его ублажать, и в тот же вечер напоили самогоном до такой степени, что к ночи у него отказал язык. Разумеется, радушие поселковых было, по нашему обыкновению, бескорыстным, но тем не менее в души к ним закралась та задняя надежда, что американец наладит водопровод. Сдается, в простоте душевной они рассуждали так: если он американец и миллионер, то что ему стоит наладить водопровод, ведь основал же швед Рюрик русскую государственность, и разве не при немке Екатерине наша Россия стала опаснейшей из держав...

Достоверно не известно, оправдались ли эти ожидания или нет, но вот что известно точно: в помещении поссовета, в красном углу, висит портрет американца, нарисованный по памяти здешним киномехаником, а школьники по сию пору пишут сочинения в его честь.

У Коли Воронкова была замечательная жена: и готовила-то она отлично, и свободно говорила по-испански, и была писаная красавица, но, главное, она считалась выдающейся кактусисткой своего времени и страны. На подмосковной даче в районе станции Отдых супруга понастроила оранжерей и многие годы вела в них кропотливую родительскую работу, а впрочем, и в открытом грунте у них росли разные экзотические цветы. Последним ее достижением в области флористики был экзотермус обыкновенный, который она поднимала самозабвенными трудами и обхаживала так, как у нас в хороших семьях обхаживают вкуче новорожденных, кормильцев и заслуженных стариков.

Одно в ней было плохо: строга была Тамара Ивановна и всячески помыкала своим супругом, вплоть до того, что он не смел без разрешения сходить на станцию за сигаретами, или вот, например: ему хочется посидеть под черемухой и помечтать о Венеции, а она заставляет его копать.

Долго ли, коротко ли, а прорвало-таки Николая, и он с отчаяния решил мстить. Кабы он знал наперед, что месть послужит к вящей славе его супруги, что в результате ее имя попадет в добавочный том Британской энциклопедии, он, конечно, отказался бы от коварной своей затеи, однако ему был неведом один закон, который вообще не постигают государственные деятели, всякого рода реформаторы и озлобленные мужья: хочешь сделать пакость, а выходит благодеяние, и равномерно наоборот.

Месть его была поистине ужасная, а именно: по ночам он вставал с постели и нарочно мочился на экзотермус обыкновенный в расчете его сгубить. Целый сезон он поливал растение, и в итоге к сентябрю поднялся этакий долговзый зеленый ежик, увенчанный цветком сказочной красоты. Чудеса селекции себя показали в том, что экзотермус обыкновенный менял свой запах в зависимости от времени суток: утром он пахнул общественной уборной на станции Отдых, а к вечеру смесью перегара, махорки и сапога.

Неподалеку от порта Хайфа, в одном маленьком городке, таком то есть маленьком, что там даже школа была одна, с утра до вечера кипят страсти. Будь то в кафе «Привоз», в универсальном магазине Ребиндера или на городской площади, под сенью финиковых пальм, везде можно услышать одно и то же — именно воспаленные прения, замешанные на памяти о былом. Положим, в разгар рабочего дня встречаются на улице Жаботинского двое старичков в соломенных шляпах — у одного в руках метла, другой с переноской, — раскланиваются, и пошло:

— Погода-то какая стоит, просто благодать, другого слова не нахожу!

Пряитель ему в ответ:

— А в Ленинграде в это время у них дожди.

— А у нас Бог дает настоящую погоду, без этих советских штук.

— Вы какого Бога имеете в виду: Бога-отца или Бога-сына?

— Я имею в виду нашего народного бога Яхве. И вообще чего вы меня задеваете, не пойму!

— Я вас не задеваю, просто мне удивительно, как некоторые умники умеют перестраиваться на ходу.

Яша Шекель, задумчивый господин, который много лет не может понять, почему их городок представляет собой единственный населенный пункт на севере страны, где бывают перебои с девяносто пятым бензином, сидит на пороге своего антикварного магазина и с ехидным вниманием подслушивает стариков; двое полицейских стоят в стороне и тоже прислушиваются к разговору, но эти с раздражением, переходящим в откровенную неприязнь.

— Вы на что намекаете?

— Я, в частности, намекаю на двадцатый съезд партии, когда появилось столько сторонников ленинской этики, сколько их не было при вожде. И всё главным образом из специалистов по рубке дров. А те, которые смолоду были верны ленинским нормам партийной жизни, не вылезали из учреждения по адресу: угол Воинова и Литейного, Большой дом.

— Ну и глупо! Потому что всякий текущий момент диктует свои права. Раз ты боец партии, то должен соответствовать платформе, лозунгу момента, будь то хоть «Комсомолец — на самолет!».

— А как насчет партийной совести?

— Партийная совесть — это когда ты как вкопанный стоишь на линии ЦК!

— А что, если с самого процесса Промпартии эта линия устремляется не туда?! Что, если она идет вразрез с идеалами коммунизма и торжества созидательного труда?!

— Какие идеалы? Какого коммунизма? Очнись, товарищ!

— Я-то еще в тридцать шестом году очнулся и понял, что с разными перевтышами нам в коммуны не по пути!..

Ну и так далее, в том же духе. Уже скоро обеденный перерыв, на улице появляются очумевшие прохожие, солнце жарит, за углом, в переулке, шумит базар. Полицейские постояли, постояли, сказали старикам что-то обидное и ушли. Яша Шекель покосился на них и молвил:

— Что-что, а антисемитизм в Израиле — это перебор.

Когда у нас пошла полоса взаимных неплатежей, в правлении колхоза «Верный путь» мужики за головы схватились, поскольку было решительно непонятно, что делать с очередным урожаем льна. Два года тому назад, когда товарооборот еще осуществлялся по формуле Карла Маркса, колхоз, что называется, клещами вытащил из льнокомбината по сто сорок рублей за тонну, в прошлом году комбинат за лен ни копейки не заплатил, но, правда, прислал четыре вагона дров, а нынешней осенью мужики за головы схватились, потому что пить-есть как-то надо было, но то ли деньги в государстве перевелись, то ли повсюду остановилось ткацкое производство, то ли что-то приключилось с магнитным полем Земли, только лен и даром никто не брал.

Но — велик русский Бог — мало-помалу наладилась такая взаимосвязь: один номерной завод в Курске менял порох на лен, который он отправлял куда-то за рубежи, порох зачем-то потребовался ливенскому хлебзаводу, на такую очередь, имевшему некоторый излишек горюче-смазочных материалов, на такие вещи позарисала ПМК № 17, предлагавшая взамен медицинский спирт, а в медицинском спирте остро нуждалась 2-я городская больница имени 10-летия Октября, — таким образом колхозники из «Верного пути» получили возможность целый год бесплатно лечиться во 2-й городской больнице имени 10-летия Октября.

Этот причудливый результат сельскохозяйственного производства не то чтобы устроил колхозников, а скорее развеселил. Прежде лечиться у них времени как-то не находилось, даже отчасти зазорным считалось из-за какой-нибудь невидной болячки таскаться туда-сюда, а тут словно какая муха их укусила: все заговорили вдруг о болезнях, принялись выискивать у себя хвори и почитать популярную медицинскую литературу, подтрунивали друг над другом, осуждали народное целительство и как прежде всем обществом выходили на полевые работы, так теперь целыми автобусами стали ездить лечиться во 2-ю городскую больницу имени 10-летия Октября.

Во-первых, все колхозники от мала до велика прошли обследование на предмет болезней неявных, каких-то, впрочем, не обнаружилось ни одной, во-вторых, поставили пломб у зубного врача, где надо и где не надо, в-третьих, повадились ходить на занятия лечебной физкультурой, в-четвертых, все впрок повырезали себе аппендиксы, в-пятых, несмотря на протесты окулиста, стали носить очки. Из-за наплыва колхозников у дверей кабинетов образовались непреходящие очереди, но они и в очередях не теряли времени даром, а заводили меж собой тот или иной поучительный разговор.

— И как это крестьянство существовало до революции, когда медицинское обслуживание было в сельской местности на нуле?

— Зато дед мне рассказывал, при царе колбасы этой было, хоть ж... ешь!

— Это, конечно, да.

— А потом коммунисты окончательно отменили колбасу и вместо ее ввели двадцать пятый час суток под названием «политчас»!

— Зато при коммунистах существовала справедливость и медицинское обслуживание на селе!

— Это, конечно, да.

— Еще при них существовали деньги, десятки, помню, пятерки, трешницы зеленые и рубли. Колбасы точно не было, но деньги, сколько помнится, были, не в больших количествах, но всегда.

— Зато при демократах опять появилась эта самая колбаса!

— А денег нету...

— Это, конечно, да.

И вся очередь засмеется, хотя смешного тут, кажется, ничего. Вообще какая-то смешливая это была пора, какой старики не помнили с самой коллективизации, когда в сельмаге появились первые соевые конфеты и кулак Станислав Манок из поляков поставил у себя на задах нужник. Даже председатель колхоза Сергей Иванович Барсуков, вообще человек хмурый, и тот, бывало, вдруг рассмеется ни с того, что называется, ни с сего. Его спрашивают:

— Ты чего, Сергей Иванович, такой веселый?

— Да вот подумалось: а если бы нам за лен предложили бесплатные ритуальные услуги, что тогда?

Но на следующий год колхоз «Верный путь» поменял лен на шаровые опоры для «Жигулей», и эта негоция вызвала такой приступ веселья, что у троих членов правления от смеха разошлись швы.

---

В начале семидесятых годов, когда кое-где проявились студенческие неудовольствия в связи с вводом наших войск в соседний Афганистан, в Свердловском университете обнаружилась подпольная организация, которая распространяла машинописные листовки определенно подрывного содержания, хотя и не скажешь, что чересчур. На проверку оказалось, что вся организация состоит из вечного студента Ивана Рукомойникова, лохматого очкарика, который почему-то, вероятно, из фронды, на польский манер выговаривал букву «Л». Впрочем, на допросах он больше молчал. Допустим, дознаватель его спрашивает:

— И не стыдно вам, понимаешь, пакостями заниматься, когда ваши ровесники проливают в Афгане кровь?

Рукомойников молчит.

— Молодежь, понимаешь, участвует в великих стройках, живет полнокровной жизнью, а вы пасквили сочиняете, распространяете клевету...

Рукомойников молчит.

— И откуда вы только такие беретесь, очернители, не пойму! Все не по-вашему, все не так!

Рукомойников молчит.

— Ну скажите, чем вы конкретно недовольны?

— Честно? — вдруг спрашивает Рукомойников.

— Ну, разумеется, честно!

— Всем.

Задолго до того, как упразднение цензуры сказалось на состоянии нашей атомной энергетики, некто Ковалев увлекся причинно-следственными связями в области промышленного труда. Тогда социологии только-только дали вздохнуть, и с этой наукой случилось что-то вроде кислородного отравления, по крайней мере ее шатало от крайности к крайности, например, от мальтузианства к неоромантизму, и в верхах уже задумались, как бы опять ее запретить. После, вследствие одного несчастного случая, Ковалев прекратил заниматься всякой чепухой, но в шестидесятые годы он ушел в свою социологию, что называется, с головой. В конце концов он до такой степени наострил, что, исходя из учения отцов-основателей, мог где угодно обнаружить стойкие причинно-следственные связи, хоть между остановкой главного конвейера на Кременчугском автомобильном заводе и сменой партийного руководства в Улан-Удэ. Тем не менее сомнительно, что ему удалось бы вывести взаимозависимость между качеством нитрокраски одесского химзавода и вывихом второго шейного позвонка.

В то время, когда Ковалев заканчивал свою кандидатскую диссертацию, ему дали новую двухкомнатную квартиру в районе речного порта, и всем бы она была хороша, кабы не краска отвратительного серо-зеленого цвета, которой были выкрашены ванная, кухня и туалет. Ковалев решил первым делом устранить эту недоработку, купил в хозяйственном магазине две бутылки ацетона для смывания краски и вылил его в оловянный таз; в свою очередь, жена Ковалева, академически рассеянное создание, подумала, что в таз налита вода, которую она загодя приготовила для стирки, да подзабыла, и замочила в ацетоне мужнину нейлоновую рубашку, белую с голубыми полосками, каковая была ему особенно дорога; когда Ковалев заметил на дне таза пуговицы от рубашки, он все понял и до такой степени расстроился, что пошел искать по ящикам сигареты, хотя давно уже не курил; тем временем жена, осознав ошибку и всю глубину вины, смесь ацетона и рубашки с отчаяния вылила в унитаз; Ковалев заперся в туалете, закурил сигарету и бросил под себя спичку — в результате раздался взрыв; дверь сорвало с петель, а сам Ковалев вылетел из туалета с тяжелыми ожогами нижней части тела и вывихом второго шейного позвонка.

Как уже было сказано, в итоге этого несчастного случая Ковалев охладел к причинно-следственным связям в области промышленного труда. Однако, сдается, он прежде всего потому к зазобе социологии охладел, что для него не осталось тайн. Даже когда в результате обретения действительного избирательного права у нас начались опасные тектонические процессы, когда возрождение национального и расового самочувствия привело к резкому увеличению дорожно-транспортных происшествий, когда из-за свободы слова водку стали по карточкам выдавать, и все диву давались, до чего причудливо у нас работают причинно-следственные связи, Ковалев только кривился в печальной, пророческой улыбке и говорил:

— Ребята, это еще не всё.

Провожали в трехмесячное плавание старшего механика Володю Клейменова, доброго малого, книгочея, холостяка, но не убежденного холостяка, а так... чтобы ходить в моря, не беспокоясь за свою честь. Водка, как говорится, текла рекой, ели свежесваренных раков, песни пели и так жарко препирались, что вынуждены были открыть настежь окна, поскольку в комнате было как-то тесно от голосов.

— Чего можно ожидать от коммунистического режима, если коммунист — психически неполноценное существо?! Сейчас объясню почему: потому что для него характерен сдвиг в нормативной шкале ценностей, например, коммунист, по учению, человека не любит, человек для него — зло, которое нужно как-то преодолеть. А любит он пролетариат, прогрессивную общественность, свободолюбивые народы мира, то есть такие забубенные абстракции, что по сравнению с ними Троица конкретна, как колбаса!

— Я что-то не пойму, что ты проповедуешь,— классовый мир, блин?!

— А хотя бы он и классовый мир проповедовал, тебе-то что?

— А то, что мой дед у Буденного воевал!

— Лучше бы твой дед хлебушком занимался. Потому что в результате сотрудничества сословий возникает «шведский вариант», а в результате классовых распрей — одна пара ботинок на четверых! Помню, мужики, в детстве у нас с братьями была одна пара ботинок на четверых...

— Нет, блин, ты говори прямо: да здравствует эксплуатация труда капиталом, так?!

Одним словом, провода затянулись, и Володя Клейменов наутро не спавши явился в порт.

Отсутствовал он ровно три месяца, за это время где только не побывал, переболел гонконгским гриппом, спас второго помощника, вывалившегося за борт, в Куала-Лумпуре посетил публичный дом, в Малаккском проливе наблюдал пиратское судно, правда, издалека. И вот приходит он из порта домой с плетеным чемоданчиком, купленным в Макао, открывает дверь своей комнаты и видит: водка опять же течет рекой.

— Бесконечно правы были славянофилы, когда говорили, что русский человек по природе социалист. Только он, собака, в каком смысле социалист? В том смысле, что у него скромные потребности, ему не нужно, чтобы было хорошо, поскольку это вообще хлопотно, ему нужно, чтобы только сносно, и в этом мы видим залог победы Великого Октября!

— В этом-то вся и загвоздка, блин! Всем хорошо быть не может, всем может быть только сносно, а это уже не так тревожит классовое чутье...

Наконец Володю Клейменова заметили, один из приятелей посмотрел на мореплавателя и сказал:

— А, это ты...

Володя обиделся, но смолчал.

---

Вот что представляет собой поселок городского типа со странным названием Стеклодуб: пустыри, заросшие лебедой и усеянные остатками каких-то металлоконструкций, между ними четыре улицы, которые под разными углами сходятся к двухэтажному зданию поселкового совета, выстроенному из силикатного кирпича, перед ним клумба с бюстом вождя, покрашенным серебрянкой, чуть правее — вечно закрытый пивной ларек; дома тут строят из бруса и обшивают вагонкой, кроют их шифером, который скоро берется мохом, а из печных труб на другой год начинают расти кусты; улицы в поселке почему-то широкие, как проспекты, только, разумеется, немощеные, отчего в сухое время года над ними курится черноземная пыль, точно земля горит, а в ненастное время года, как говорится, ни конному не проехать, ни пешему не пройти.

Скука тут страшная, поскольку в поселковом доме культуры два года тому назад обвалился потолок, ну разве что случится пьяная драка между шабашниками и огольцами со стеклофабрики, которая обсуждается после на все лады, или в очередной раз повыбивают все стекла в филиале ливенского механического техникума, или в магазине завезут какой-нибудь экзотический товар вроде специальных машинок для бритья ног, или ненароком кто-нибудь угорит. Единственная поселковая достопримечательность — Витя Самоходов, которого все держат за здешнего дурачка.

На самом деле Виктор Андреевич Самоходов — человек дельный, изобретательный, неравнодушный, только в Стеклодуве ему как-то тесно — просто рвется душа, и всё... Со скуки он выучил эсперанто и в ознаменование этого дела воздвиг у себя на задах памятник Заменгофу, поставил на крыше ветряк, вырабатывающий электричество, акклиматизировал хлебное дерево и держал в сарайчике муравьеда, на которого водили смотреть детей. Жена говорила ему «вы» и стояла за его стулом, пока он ел.

Наконец Самоходов надумал построить в поселке свое метро. У этой затеи была занятная предыстория: еще до четвертого повышения цен на водку Виктор Степанович подал в поселковый совет проект о преобразовании филиала ливенского механического техникума в политехнический институт; местная администрация, разумеется, этот дерзкий проект отвергла, и между сторонами возникла распря, которая с течением времени переросла в устоявшуюся вражду; так как Самоходов чуть ли не ежедневно ходил в поссовет скандалить, он как-то себе сказал: «Чем каждый день протирать подошвы, лучше я построю себе метро».

Сначала Самоходов решил рыть тоннель от дома до поссовета, но потом в нем заговорила общественная жилка и он положил протянуть линию через весь поселок, от стеклофабрики до конторы «Заготзерно». Поскольку Виктор Андреевич был человеком дела, он в самое короткое время подготовил необходимые расчеты и чертежи, произвел пробное бурение недр и под Октябрьские праздники семьдесят шестого года принял застроить свое метро. Конечно, о щите не могло быть и речи, поэтому проходка велась сравнительно дедовским методом: кирка, лопата, тачка для откатки, лесной крепеж.

Едва ли не в тот же день, когда Самоходов впервые воткнул штыковую лопату в землю, председатель поссовета Воробьев вызвал к себе милиционера Пяткина и сказал:

— Слушай, лейтенант, как бы нам этого психического обуздать?

Лейтенант Пяткин с детства побаивался Самоходова и поэтому сразу не шелся, что бы ему сказать.

— Это до чего озорной народ! — продолжал тем временем Воробьев. — Ежели его своевременно не прижать, то он самосильно космический корабль построит и улетит! Или прорвет подземный ход до норвежской границы! Или научится гнать из воздуха самогон!

— Я думаю, тут надо действовать хитростью, — сказал, призадумавшись, лейтенант. — Посадить его нельзя, так как состав преступления не просматривается, привлечь к административной ответственности тоже нельзя, потому что он нас по судам затаскает, но можно, например, командировать его в область на предмет преобразования техникума в институт.

— Ну и что дальше?

— А ничего. Просто назад он больше не вернется, когда почует такой простор. Там у него будут и Норвегия, и космос, и самогон.

Как в воду глядел лейтенант Пяткин, хотя его прогноз исполнился не вполне.

Тем временем Самоходов копал тоннель: изо дня в день, по восемь часов в сутки, опираясь на метод — кирка, лопата, тачка для откатки, лесной крепеж. Таким манером он занимался метро полгода, пока не сдал. Сдал же он вот по какой причине: ушла от него жена; какое-то время она терпела у себя на усадьбе строительство метрополитена, но потом не сдюжила и ушла.

— Всё! Не могу больше, Виктор Андреевич, — сказала она, прощаясь. — Я вас три года прошу, как человека, починить стульчак в уборной, а вы строите то электростанцию, то метро!

Не то чтобы Самоходов обеими руками держался за свою жену, и даже она ему надоела своими упоминаниями о сломанном стульчаке, но такое неожиданное предательство уложило его в постель: он не ел, не пил, смотрел в потолок, думал о женском коварстве и горестях вообще. Подняла его только повестка из поссовета, куда он немедленно явился, получил на руки командировку в область и сразу повеселел.

Позже, уже в Орле, он неожиданно-негаданно взял в заложники заведующего областным отделом народного образования, причем так и осталось неизвестным, с какой целью Самоходов пошел на такой отчаянный поступок, но, видимо, с высшей целью, и ему дали приличный срок. Впрочем, сначала его отправили на психиатрическую экспертизу, а после дали приличный срок. Характерно, что эксперты не только признали Виктора Андреевича вменяемым, но и подивились его способности нетипически рассуждать. Например, его спрашивали:

— Скажите, зачем нужен в поселке политехнический институт?

Он отвечал:

— Понимаете: рвется душа — и всё!

Вот история женитьбы Алексея Коровича, которая складывалась не так остро, как в пьесе «Свадьба Кречинского», но тоже несет в себе драматическое зерно.

Много лет тому назад к Коровичу-деду, одному из последних участников штурма Зимнего дворца, приехал из Чистополя его давний товарищ, также старый большевик, а с ним внучка Любовь и ее подружка Вера, немного похожая на Любовь. Внучка большевика сразу приглянулась Алексею Коровичу, то есть с первого же взгляда на нее в нем что-то хорошо екнуло и сам собой завелся пронизывающий мотив. Старые товарищи выпивали помаленьку, сколько возраст позволял, слушали песенки своей молодости, как-то:

У меня есть тоже патефончик,  
Только я его не завожу...—

и то предавались воспоминаниям, то почему-то разговаривали о любви. Так, Корович-дед говорил:

— В наше суровое время нам, конечно, было не до лирики, потому что все силы уходило на строительство и борьбу. А зря! То есть не то чтобы зря, а «война войной, обед обедом», как говорит наш рабочий класс.

— Да,— вторил ему товарищ,— найти избранницу, единственную из тысяч,— это большое счастье, от которого зависят биография и судьба. Мало того, что она приготовит и стирает, она еще, если что, с передачей очередь отстоит!

— Но, как известно, великое всегда соседствует со смешным. Помню, двадцать шестого октября, в тронном зале, гляжу — сидят в уголку две изнасилованные барышни-ударницы из женского батальона и горько-прегорько плачут. Так зачиналась любовь в новую историческую эпоху, когда заявил о себе победивший пролетариат.

В свою очередь, Алеша Корович нервно молчал, не спускал глаз с внучки большевика и вслушивался в свой пронизывающий мотив, словно в нем содержалась разгадка какой-то тайны.

И надо же было такому случиться, чтобы на другой день Алексей Корович угодил в камеру предварительного заключения за то, что он сделал постовому милиционеру заслуженный реприманд; как нарочно, накануне вышел указ «Об усилении борьбы с хищениями на железнодорожном

транспорте», и против Алексея было возбуждено уголовное дело в связи с исчезновением на станции Москва 3-я цистерны цельного молока, а на самом деле за то, что он сделал постовому милиционеру заслуженный реприманд.

Как только его выпустили под расписку о невыезде, он так крепко запил, что на четвертые сутки уже не мог вспомнить своего отчества, тем не менее роман с внучкой большевика как-то сам собой развивался в желательном направлении и долго ли, коротко ли завершился законным браком. Молодой супруг еще по инерции попил с месяц и окончательно протрезвел.

Едва он вернулся к нормальному образу жизни, как в один прекрасный день в гости к молодым приезжает из Чистополя его собственная жена... Алексей Корович сходил проведать, кто же тогда на кухне посуду моет, — оказалось, подруга Вера, немного похожая на Любовь.

Впрочем, Алеша Корович скоро смирился с этим недоразумением. И правильно поступил: они прожили с Верой долгую, счастливую жизнь, нарожали сыновей, собрали большую библиотеку, построили дачу в Малаховке и умерли в один год.

В мастерскую к скульптору Семену Фиалко два раза в неделю приходил убираться один деклассированный человек по прозвищу Бармалей. Постоянно жил он, кажется, на Киевском вокзале, питался бог знает чем, и поэтому заработком у скульптора дорожил: был аккуратен, исполнительен и являлся точно в назначенные часы. Когда Семен Фиалко просыпался ближе к вечеру и начинал похмеляться смесью пива с лимонным соком, глаз его всегда умиляла безупречная чистота, он даже трезвел не столько от своего пойла, сколько от ощущения чистоты, но, правда, ему часто мерещилось, будто бы на полках недостает кое-чего из его бесчисленных миниатюр. И действительно, падок был Бармалей на мелкую пластику и небезгрешен по части преступного барыша.

Положим, является в мастерскую человек в кожаном пальто по щиколотки, наживший состояние на спекуляциях керосином, поначалу пугается богатырского храпа, который производит пьяный Семен Фиалко, спящий на антресолях, а потом уважительно говорит:

— Вы и есть знаменитый скульптор?

Бармалей отвечает:

— Я!

— Рад знакомству!

— Про себя я бы этого не сказал.

Человек в кожаном пальто пропускает колкость мимо ушей и продолжает в том же приветном духе:

— Я бы хотел приобрести одну из ваших прелестных миниатюр.

— Не думаю, что вам это по карману. А Впрочем, можете посмотреть. Вот, например, работа, изображающая великого Гоголя за письмом. Это Гоголь стоит, перед ним конторка, на ней свеча...

— По-моему, это больше похоже на пишущую машинку довоенного образца.

— У меня, разумеется, нет времени проводить с вами просветительскую работу. Впрочем, могу сказать: художническое видение предмета зачастую подразумевает эклектический метод отображения, который может соединять в себе авангард, экспрессию и критический реализм. Вот только господам, отравленным буржуазной культурой, этого не понять.

— У буржуазной культуры тоже есть свои достижения...

— Ну разве что хиромантия и канкан.

— Позвольте: а Бэкон? а Мильхаузен? а Дали?!



— Это все так... рождественские открытки для простаков. Настоящая культура рождается на пустой желудок, от страдания, недаром Россия находится в авангарде мирового изобразительного искусства. Я бы даже так сказал: последняя в Европе по-настоящему культурная нация — это, конечно, мы.

— Довольно странно такое слышать в стране, где совсем недавно спички не зажигались и трудно было купить порядочные штаны.

— А при чем здесь штаны?! Впрочем, очень даже при чем: в том-то и разница между нами как представителями антагонистических классов, что наши все больше про экспрессию, вы главным образом про штаны! Нет уж, лучше мы с голым задом будем ходить, но одновременно с глубоким сознанием того, что последняя в Европе по-настоящему культурная нация — это, конечно, мы.

— По-моему, все-таки лучше ходить с прикрытым задом и одновременно с культурной гипотезой в голове.

— Тогда это уже будет не Россия, а черт-те что!

— Однако, согласитесь, что это странно: Шагал по причине ночных арестов, Тышлер от недоедания, Зверев вследствие перепоя — это даже как-то не по-людски.

— Ничего не поделаешь: такой уж своеобразный нам предначертан путь.

— Ну, не знаю: вон, например, в Бельгии — все одетые ходят, но изобразительное искусство, однако, на высоте...

— Ну и катись в свою Бельгию, чего ты ко мне пристал!

Человек в кожаном пальто пожмет плечами, развернется в недоумении и уйдет. На антресолях заворочается скульптор Фиалко и минуту спустя спросит осипшим голосом:

— Ты с кем это сейчас разговаривал, Бармалей?

— Ошиблись дверью,— ответит тот и так страшно сверкнет глазами, налившимися кровью, что лучше этого феномена не видеть.

Но чаще всего Бармалей в прения с покупателями не вступает и продает мелкую пластику по таким смехотворным ценам, что те впадают в приятный шок.

---

К Елене Сергеевне Потрошковой, работнице багажной службы аэропорта Шереметьево-2, подбегает вспотевший француз и с симпатичным акцентом ей говорит:

— Представьте, моих чемоданов нет! Я, видите ли, прилетел рейсом Париж — Москва, а чемоданов, представьте, нет!

Елена Сергеевна дала французю такой совет:

— А вы поищите на том конвейере, где выдают багаж прилетевшим из Улан-Батора. Там они, вероятно, и ездят туда-сюда.

Француз подозрительно на нее посмотрел, но все же решил воспользоваться этой верояцией и исчез. Через пять минут он объявился, волоча свои чемоданы, которые были настолько изящны, что мало отвечали существительному «багаж».

— Позвольте задать вам вопрос,— сказал он.— Как вы угадали, что именно в секторе Улан-Батор — Москва мои чемоданы ездят туда-сюда?

— Видите ли, я здесь просто давно живу.

— Не понял, но все равно спасибо!

— А теперь позвольте мне вам задать вопрос: зачем вы сюда приехали?

Француз помялся-помялся и говорит:

— У вас такие писатели хорошие...

На эту декларацию Елене Сергеевне было нечего возразить.

---

Писатели у нас точно хорошие, во всяком случае, у них есть ответы на все вопросы, и если даже не на все, то на коренные — ответы есть.

Выступал как-то писатель Зуев в библиотеке имени Добролюбова, ему из зала и говорят:

— А чего вы, собственно, занимаетесь ерундой? Какая польза от вашей литературы, если вы все придумываете от себя? Вы нам, товарищ писатель, дайте учебник жизни, укажите средства борьбы со злом! А то они увлекаются описаниями природы, а где искать счастье — про это нет!

Зал возбудился и зашумел.

— Понимаете, какое дело,— сказал Зуев.— Или учебник жизни, как, например, «Анти-Дюринг», или литература — это одно из двух. И про счастье ничего определенного не скажу, а вот что литература оберегает читателя от несчастий — тут налицо медицинский факт.

— Как так?

— А так: сидишь себе в уголке, почитываешь книжку, и в это время кирпич тебе на голову не упадет — раз, в милицию по недоразумению не попадешь — два, в семье мир — три, деньги целы — четыре, не обидел никого — пять!

Зал молчал.



## Юрий БУЙДА

---

*К тому времени, когда мне удалось перебраться из прибалтийского Калининграда в Москву, в моем письменном столе лежала толстая пачка рукописей — рассказов, повестей, эссе, более или менее готовых к печати, и тоненькая пачка «конвоя» — отрицательных отзывов из журналов от Урала до Питера. К тому времени, и говорю я это безо всякого кокетства, я уже привык относиться к подобным отзывам с наглым спокойствием, не исключавшим, впрочем, и доли достойного смирения: во-первых, думал я, все равно напечатаете, и скоро, потому что уж мне-то, профессиональному газетчику-администратору, через руки которого проходило ежегодно около двадцати тысяч писем, бросалась в глаза вибрирующая неопределенность всех этих «нет»; во-вторых, и в этом заключалась доля достойного смирения, спасавшего, надеюсь, не только от психушки, но и от бытовой мании величия («непризнанный гений» — сладостной неопределенностью это выражение соперничает с предварительным диагнозом в психбольнице, где студентом я успел поработать в ночных санитарах), я исходил из простейшего соображения: если не печатают — значит, не нравится, то есть мне не удалось убедить в своей талантливости тех, от кого зависит публикация в журнале.*

*В августе 91-го, скучливо поглядывая на шедшие по мосту кантемировские танки, — а я тогда служил в газете, занимавшей здание напротив Микояновского мясокомбината, — я дописывал эссе о русском самозванстве, вдыхая наркотический запах только что вышедшего экспериментального журнала «Соло» с тремя моими эссе. Поздней же осенью я позвонил в журнал «Октябрь», чтобы узнать о судьбе рассказов, которые редакция вроде бы приняла, но не определилась со сроками публикации. Заведующая отделом прозы успокоила меня: «Мы вас печатаем в третьем номере 92-го года. Это точно, есть верстка». Поблагодарив, я уж было собрался вернуть трубку на рычаг, но собеседница продолжила: «Как я вас понимаю: первая публикация! Вам, наверное, хотелось еще и еще раз услышать: да, мы вас печатаем, — еще и еще раз. Не так ли?» Моя наглость устояла перед смирением, которое, в свою очередь, запечатало мои уста молчанием, как выражались писатели почтище нас. «Так я повторяю: мы вас печатаем!» — с неподдельным восторгом завершила наш разговор достойнейшая «октябристка». Я бережно опустил трубку, со снисходительной усмешкой посмотрел в угол, где пускали слюны совершенно обалдевшие наглость и смирение, и вернулся к русскому самозванству.*

*С первых «октябрьских» гононгаров я купил себе штаны, спортивные ботинки и бутылку подозрительно чистой водки. С тех пор, как уверяют сами «октябристы», я стал для них своим. Верю: кто в то время, кроме людей, публично наплевавших на росписовское начальство и зарегистрировавших первый свободный литературный журнал в России, мог приютить авантюриста вроде меня? Ей-богу, мы стоили и стоим друг друга.*

*«Октябрь» выпускает книжку за книжкой, то погружаясь в авангардизм, то взлетая к высотам холодной классики. Живут они так же, как и остальные журналы: трудно найти хорошую прозу, хорошую поэзию, критику и публицистику. И тогда появляюсь я... Или Вячеслав Курицын. Или Павел Басинский. Или Олег Павлов. Или какой-нибудь другой «или», произведения которого, конечно же, ни в какие ворота не лезут. И «октябристы» поступают самым разумным из всех неразумных способов: строят эти самые ворота, то есть придумывают новые рубрики или склоняют автора к грехопадению, заставляя сочи-*

*нить «ну что-то вроде предисловия» к собственным творениям. В общем, у «октябристов» еще немало возможностей дать фору изданиям что модернистским, что классическим, что — и это особенно важно — себе, любимым, уже научившимся, кажется, использовать лавровые венки по прямому назначению: что за сун без славного листочка!*

## П о с л е д н и й

РАССКАЗЫ

### ОТ БОГА

Антон Федорович Буравлева хорошо знали и недолюбливали во всех московских редакциях. В коротких брючишках, болтавшихся вокруг тощих волосатых лодыжек, в каком-то вечно перекошенном плащике, едва доставшем до колен, с робким и ласковым выражением на плохо выбритом костлявом лице идиота, он бочком входил в редакционные кабинеты своей скачущей походкой и, не глядя на хозяев, предлагал свежие стихи. Стихов не брали. Антон Федорович пытался спорить с журналистами, утверждавшими, что написанное им в лучшем случае графомания, в худшем — черт знает что такое. Он воспевал витаминные качества красной свеклы и в рифму протестовал против обнищания народа. Его гнали, не предложив чаю, хотя Антон Федорович где-то читал, что даже непризнанных поэтов в редакциях принято угощать чаем.

С утра до вечера он бегал по газетам и журналам все с тем же робким и ласковым выражением на костлявом лице, все в тех же жалких брючишках и косом плащике. Устав, устраивался где-нибудь на уличной скамейке и съедал булку, роняя крошки на колени и глядя пустыми глазами поверх всего.

Однажды какой-то санитарный журнальчик взял у него стихотворение про крысу, чтобы, как сказала сотрудница в берете и громадных черных очках, использовать в целях санпросвета. «Может быть,— уточнила она, немного подумав.— А может, и нет».

Стихотворение состояло всего из двух строк:

Крыса, товарищи, паразит.  
Лучшее средство от крысы — крысид.

В другой раз его стихотворение было опубликовано в маленькой газете, считавшейся органом русских авангардистов. От счастья Антон Федорович так растерялся, что не сразу нашел имя, которым можно было бы подписать творение. Ему не хотелось увековечивать фамилию Буравлев. Его огорчало, что все звучные имена были давным-давно разобраны: Пушкин, Державин, Маяковский... Даже пресное имя Блок, словно выхваченное из какой-нибудь инструкции по эксплуатации экскаватора, и то давно принадлежало небезызвестному поэту. В конце концов он подписал стихотворение инициалами А. Б., испытывая грустное и приятное чувство унижения, которое у русского человека служит источником если не счастья, то уж удовлетворения точно. Иногда он воображал себе будущих историков, ломающих головы в поисках ответа на вопрос: «И какой же это великий поэт спрятался за инициалами А. Б.?» — и глаз его набухал слезой.

В редакции ему бесплатно подарили десяток экземпляров газеты, на четвертой странице которой черным по белому было напечатано:

Обыкновенно самки красят морды.  
На нижние конечности они  
Прозрачные одежды надевают.  
Растительность на голове не бреют.

Стихотворению был предпослан заголовок — «Таковы женщины».

Никакой женщины у Буравлева не было. Та, с которой он так и не нажил детей, ушла от него лет пятнадцать назад, оставив его посуливающим в однокомнатной квартирке. С тех пор Антон Федорович жил один. Весной, когда авангардисты напечатали его стихотворение, он подобрал на улице маленькую собачку, которая всегда смотрела на хозяина робко и ласково. Буравлев назвал ее Музой, хотя на улице, чтобы не смешить народ, кликал Муськой. Антон Федорович и Муза питались сосисками, хлебом и кефиром.

Набегавшись по редакциям и наслушавшись обидных слов, Антон Федорович к вечеру добирался домой, снимал черствые черные ботинки и засохшие носки и подолгу отмачивал ноги в горячей воде с марганцовкой. А поздно вечером набирал семь нолей и знак, которого не было на телефонном диске, и разговаривал с Богом.

— Я передал им Твое послание, и они опять обозвали его графоманской тряпней...

— Что ж, терпи,— отвечал Бог.

— Я ведь даже не могу сказать им, что я от Тебя... Может, Ты и впрямь избрал не того? Может, я и правда графоман?

— Об этом я скажу тебе за миг до твоей смерти,— отвечал Господь.— Так что выбор за тобой. Хочешь — пиши стихи. Хочешь — выпиливай лобзиком...

После таких разговоров Антону Федоровичу хотелось одновременно кричать, плакать и смеяться. Или даже покончить счеты с жизнью. Но вместо этого он стелил себе на узком плешивом диванчике, прислонив к стенке две подушки: большую — для себя и маленькую — для собачки. Заворачивался в одеяло и со стовом засыпал, согретый дыханием Музы.

## ТОННЕЛЬ

Мы работаем втроем — я, Бушлат и Напильник (такие уж имена они себе придумали). Двое роют, один относит землю к вертикальному стволу, откуда ее забирает транспортер. Ежедневно нам спускают еду, время от времени — сменный инструмент. Однажды Напильнику прислали почти новые штаны, но вообще-то одежкой нас не балуют. Впрочем, мы не жалуемся, понимаем, что не заслужили.

Поначалу мы работали нехотя, но через месяц втянулись и даже отказались от выходных: на нашем календаре за пятницей следовал понедельник. Нам понравилось это дело — копать и носить, копать и носить. За смену мы успеваем пройти до десяти метров. Быстрее всех работает Бушлат, осторожнее — я. Напильнику больше нравится таскать землю: он романтик. Иногда он развлекает нас воспоминаниями о том, как мы начинали, как в конце второго километра нас завалило землей... Мне нравится исследовать предметы, которые нам попадают по пути: остатки древних фундаментов, ржавые патронные гильзы, кости людей и доисторических ящеров; чьи-то окаменелые, застывшие в страстном поцелуе губы я взял себе на память, но не сказал об этом товарищам.

Когда силы оставляют нас, мы усаживаемся вокруг маленького магнитофона и слушаем записанные на пленку свои сновидения месячной или полугодовой давности. Это забавляет нас: Боже, какие мы были. Это вдохновляет нас.

С каждым днем мы увеличиваем продолжительность трудовой смены и все строже контролируем качество работы. Мы порицаем Бушлата за спешку, меня — за чрезмерную осторожность, Напильника — за расслабляющий романтизм, граничащий с нерадивостью. Мы сократили время, отведенное на сон. Пищу решили принимать не чаще одного раза в день. Еженедельно бьем друг друга: уж больно плохо трудимся.

В конце второго года пути мы единодушно одобрили предложение Бушлата: не тратить время на вырубание ниш для туалета, а справлять большую и малую нужду где придется. На этом мы сэкономили время и силы.

В начале четвертого года Напильник так надолго задержался у очередного вертикального ствола, что нам пришлось отправиться на поиски. Оказывается, ни с того ни с сего он задумал дать деру. Мы сбили его лопатами с транспортера и отнесли в тоннель. Теперь мы стали привязывать Напильника к себе длинной веревкой. Он кричал, что хочет знать, куда мы роем. Мы били его. Однажды он напугал нас диким воплем: «Свет! Я вижу свет!» Так мы узнали, что он ослеп.

Однажды мы услышали, что кто-то роет нам навстречу. Это нас взволновало. После непродолжительной, но плодотворной дискуссии мы здорово подналегли и взяли гораздо ниже и левее. Вскоре убедились, что встречные звуки затихают. Нас, слава Богу, не преследовали. Нам стало немного труднее: приходилось то и дело отбиваться от животных, нападавших из темноты. Возможно, это были змеи: они так странно плакали, умирая.

Напильник провалился в пустоту. Мы пытались вытащить его, но извлекли из дыры только обгорелый магнитофон. Работа замедлилась. Теперь я копал, Бушлат с удовольствием взялся относить землю к вертикальному стволу. Вскоре он погиб — надо ли рассказывать, как?

Теперь я рою один. Землю рассыпаю тонким слоем за собой и тщательно примаинаю ее. Впереди еще много работы. Разум твердит, что длина тоннеля не превышает продолжительности моей жизни. Но сердце верит: тоннель бесконечен, как смерть.

### **БРОНЗОВЫЙ НОЖ**

Этот нож когда-то я сделал своими руками, хотя, в сущности, по-настоящему делать ничего и не пришлось: найденную в школьной мастерской прямоугольную бронзовую пластинку достаточно было просто подровнять напильником. С тех пор вот уже пятнадцать лет бронзовый нож валяется на моем письменном столе, изредка — и все реже — используемый для разрезания книг (забытое удовольствие), а чаще как закладка. Мне было бы жаль его потерять, как жаль расставаться с мелкими привычками, совокупность которых создает иллюзию полноты жизни, а иногда прикидывается роком (с присущей мне выспренностью думал я). Этот кусочек металла вызывал столько ассоциаций: мечи, кубки, фибулы, рака святого Зебальда, Гиберти, Троя, Гесиод... Он напоминал о детстве, о маленьком полугородке-полупоселке, где я родился и вырос. Поэтому, когда я стал мало-помалу приходить в себя после болезни (колеблющаяся температура, пляшущий на груди слон) и не нашел на привычном месте бронзовый нож, отчаяние мое, усугубленное расстройством нервов, как писали люди не чета мне, не знало границ.

Уже давно в каждой утрате, будь то всего лишь пуговица от старого костюма или листок календаря с загадочным вензелем, мне видится нечто роковое, бесстыдно напоминающее о необратимости времени и непредсказуемости будущего — будущего, в котором застревают утраченные вещи, свободные от всяких обязательств перед прошлым, то есть передо мною. Пропадают фотографии, на которых я запечатлен юным и умным, пропадают книги, так и не прочитанные, а бывает — и не купленные...

Переживая горечь утраты, которая представляется вовсе не комичной, слабый после болезни, я сижу у окна, выходящего во двор, и придумываю историю о пропавших вещах, чтобы создать хотя бы иллюзию обладания и тем самым поддержать надежду на встречу (иллюзорное бытие Парменида, в котором Зенон поместил свою ужасающую стрелу).

Впрочем, я не придумываю историю, для вымысла я еще слишком слаб, — я ее наблюдаю. Мне помогает женщина. Ранним утром она выбегает из подъезда (молода и красива), торопливо пересекает двор — асфальтовый

прямоугольник, образованный П-образным домом и рядом пыльных тополей вдоль тротуара, — на несколько минут задерживается в телефонной будке на углу и почти бегом направляется к троллейбусной остановке. Я ее не знаю, знать не хочу и знать, вообще говоря, и не должен. Где она служит, замужем ли, есть ли дети — это не нужно. Вечером она возвращается и снова на несколько минут застревает в телефонной будке. Иногда она вылезает возле этой будки из машины — кажется, из одной и той же, но с седьмого этажа мне не видно, целует ли она того, кто ее привез. Случайно или нет, но автомобиль всегда останавливается так, чтобы его нельзя было разглядеть из той части дома, где живет женщина, хотя возможно, что это я выдумал. Однажды в воскресенье я увидел эту женщину гуляющей с ребенком — девочкой лет пяти. Они остановились на широком тротуаре, женщина принялась что-то объяснять девочке, показывая рукой на пыльные тополя и дом. Прежде чем скрыться за углом, она зашла в телефонную будку. Тем временем девочка знакомилась с собакой, которая влекла за собой тощего высокого мужчину, издали похожего — как две капли воды — на меня.

Через несколько дней, когда духота в городе стала невыносимой, а над крышами повисла бескрайняя темно-фиолетовая туча, эта женщина выпрыгнула из резко затормозившей машины «Скорой помощи» и помчалась к дому, придерживая руками наброшенный на плечи белый халат. За нею едва поспевали двое мужчин с чемоданчиком и нелепой кислородной подушкой. Спустя некоторое время они вернулись к машине, оживленно болтая и смеясь. Почему-то мне вдруг взбрело в голову, что у женщины должен быть хрипловатый волнующий голос.

Итак, жила она в П-образном доме или нет? Если нет, приезжала к любовнику или навещала тяжелобольного? Если да, кем приходится ей мужчина, подвозивший ее на машине до дома? А девочка? Ее — или его? — дочь? От кого она прячется? Кому звонит из автомата? О чем могла бы рассказывать девочке, прогуливаясь перед нашим домом? И какое отношение ко всем этим сюжетам имеет история, рассказанная соседкой, о найденном в запущенной квартире мужчине, убитом ножом?

А наутро из того подъезда вынесли и погрузили в лиловый автобус кремный гроб. Среди одетых в черное людей, сгрудившихся у автобуса, я пытался взглядом отыскать ту женщину, но не нашел. А когда автобус тронулся, я вдруг заметил машину — за углом, возле телефонной будки. Из машины вылез молодой мужчина. Закурил и потянулся. Когда автобус, набитый людьми и венками, выехал со двора, мужчина сделал шаг навстречу. Автобус остановился, из него вышла женщина в черном. Они обменялись несколькими словами, и женщина направилась к автобусу. Мужчина догнал ее, схватил за локоть. Не оборачиваясь, она стряхнула его руку и захлопнула за собой дверцу. Мужчина проводил взглядом автобус, посмотрел на часы и скрылся в телефонной будке. Через минуту он выскочил оттуда как ошпаренный и бросился к машине.

Чтобы лучше видеть, я приподнялся на локте и нечаянно сбросил с подоконника книгу. Как на грех, это был растрепанный том Шекспира с бронзовым ножом-закладкой, раскрывшийся на том месте, где Анджео «а партэ» признается в своей страсти к Изабелле. Как заманчиво ту историю наложить на эту! Я задумчиво взвесил нож в руке. Конечно же, это был уже другой нож. Тот же самый, но другой. Быть может, разминувшись со мною, он пролил чью-то кровь...

Я думал о сокровенном смысле двух-трех чужих судеб, едва различимые контуры которых на несколько мгновений выступили из тумана, чтобы тотчас исчезнуть. Важны не сами судьбы, но связи между ними: не может быть, чтобы эти трое (не считая ребенка) не были как-то связаны между собою. Банальный равносоставленный треугольник можно рассматривать как неисчерпаемый пифа-

горейский символ. Я посмотрел на нож. Впрочем, быть может, они никак не связаны. Совсем не исключено, что я наблюдал не одну, а две-три автономные истории с тремя-четырьмя женщинами, с двумя-тремя мужчинами. В этом случае число связей становится головокружительно бесконечным, а история утрачивает смысл. Если... если единственной связью и единственным «смыслом» не стал вот этот нож, живший неведомой мне жизнью, пока мое время стояло на месте, увязнув в болезни...

### АППЕНДЭКТОМИЯ

Боли начались еще в пятницу, резко усилились в ночь на субботу. Кое-как добравшись до кухни, выпил чашку горячего молока и почувствовал себя лучше. Лицо стало мокрым. Таблетки не принимал — боялся. Весь следующий день не выходил из дому. Не читалось и не спалось — смотрел телевизор. На ночь опять выпил горячего молока. С позвонившей из Ялты женой говорил то печально, то раздраженно.

Утром он с трудом подошел к окну, долго смотрел на лужи. От страха светлые шейные мышцы, боль отдалась в уши.

Издали увидев «Скорую», пробирающуюся между автомобилями через огромный двор, он наскоро оделся и спустился в парадное. Женщина в белом помяла его живот слева, потом быстро провела ладонью от печени вниз. Он вскрикнул.

В приемном покое его провели за занавеску, велели раздеться и лечь на тахту. Вытертый линолеум пола, облупленные, в потеках стены (приемный покой располагался в полуподвале), серые простыни... Ему стало не по себе. Пришел врач с вислыми рыжими усишками, глядя в сторону, сказал, что у него аппендицит, возможно, разлитой, консервативное лечение отпадает, нужна срочная операция. Молоденькая медсестра, соорудив серьезную гримаску, тупой бритвой обрила ему живот, всунула резиновую трубку в нос — его чуть не вырвало, когда трубка полезла в горло. За занавеской кто-то хрипло сказал: «Реанимация? Приготовьтесь принять перитонит». Он не глядя подписал какие-то бумаги. Дали куртку, повели наверх. В операционной велели раздеться. Кожа покрылась мурашками. «Неужели у вас там никакого халата нет?» — сердито спросил врач. Санитар смущенно ответил: «Есть один... и тот бэу...» Ему помогли взобраться на операционный стол, накрыли простыней до подбородка, раскинутые крестом руки привязали марлевыми жгутами, в правую вену воткнули иголку, придвинули капельницу. Было холодно и страшно. «Осмотрите, пока хирурги моются. — Кажется, анестезиолог улыбался. — Вас будут оперировать под общим наркозом, так что вы ничего не почувствуете... Во рту сохнет? Голова кружится?» Он так волновался, что ничего не чувствовал, но ответил: «Да, немножко». Врач удовлетворенно кивнул: «Это лекарства». Ему вдруг захотелось что-нибудь напоследок запомнить. В открытое окно была видна цветущая ветка каштана. «Хоть бы птица на ветку села», — подумал он.

Очнулся в реанимационной палате, все еще с резиновой трубкой в носу и марлевыми жгутами на руках. В окне поверх ширмы была видна цветущая ветка каштана с сидящей на ней птицей. «Неизвестная доставлена утром, — сказал женский голос за ширмой. — Отравление. Промыли, прокололи, но до сих пор не может проснуться». «Разбудите!» — раздраженно потребовал мужской голос. Владелец его вышел из-за ширмы и уставился на нового пациента. Медсестра назвала его имя, фамилию, год рождения, и он обрадовался, что за время, которое провел в наркотическом беспомыслии, все осталось по-прежнему — и имя, и возраст, и цветущий каштан... «Оперирован по поводу острого флегмонозно-



го аппендицита». «Уберите это... и это... И дайте ему подушку!» Врач ушел. Медсестра выдернула трубку, сняла жгуты. «Ничего,— сказала она устало.— Часа через два-три вас переведут вниз, в обычную палату. После аппендэктомии жизнь не меняется — продолжается». Ему принесли утку. С огромным трудом, преодолевая режущую боль, он сполз с кровати и минут пятнадцать тужился, пока не помочился.

В послеоперационной палате он провел десять дней. Его кормили невкусной пищей, вводили пенициллин. Ходить было очень трудно. В больничном буфете купил пачку сигарет, но курить не хотелось. Обрадовался: наконец-то можно бросить. Через день посылали на перевязку «с врачом». Молодая хирургиня с красивым мужским лицом пыталась зондом, загоняя его в шов. Перед выпиской она обнаружила твердую припухлость и снова прошла зондом весь шов.

День выписки совпал с возвращением жены из Ялты. Она была удивлена и огорчена («Зачем не дал телеграмму? Что за ребячество!»), трогательно ухаживала за ним. Они вместе удивлялись перемене его вкусовых ощущений: все блюда казались ему жутко пересоленными, чай теперь он пил с сахаром да еще и с конфетами. Вечерами, гуляя с женой, он молчал, не слушая ее болтовню. По утрам, когда она уходила на службу, бродил по улицам, где раньше никогда не бывал. В одном из переулков он познакомился с некрасивой женщиной, к которой и ушел после болезненного разрыва с женой. В новой квартире книг почти не было. Выходные дни они вместе пролеживали в постели, читая вслух тонкие журналы, попивая кофе (хотя его сердце стало бурно реагировать на возбудители) и занимались тем, что Хемингуэй со стыдливым пафосом называл «любовью». По вечерам он ходил в кино — один. Он заговаривал с женщинами на улице, некоторые были не прочь продолжить знакомство. Надолго запомнилась рослая брюнетка, которая требовала, чтобы он причинил ей боль. Он избил ее с наслаждением. Запах ее кожи вспоминался и после прекращения знакомства. Была еще одноногая пьяница, немисливо гордая и готовая на чудовищные унижения (и он равнодушно соглашался на это). Однажды в какой-то кочегарке, выпив для храбрости, она попыталась убить его, но лишь поранила. Он милосердно задушил ее и закопал в куче угля. Иногда, редко, он заходил к бывшей жене, раза два или три оставался ночевать, но вид старой квартиры, сотен книг любовно подобранной библиотеки не вызывал у него ни раскаяния, ни хотя бы ностальгии. Он не мог больше без раздражения и скуки слушать Стравинского, зато часами с наслаждением внимал Березовскому и Веделю в исполнении юрловского хора. По ночам он смеялся во сне, но не верил женщинам, когда они ему об этом говорили. Снилось вода. По утрам он сочинял стихи, но листки с записями чаще всего сжигал.

Каждую субботу ездил к морю. Подолгу сидел на песке с закрытыми глазами, лицом к прибою, и нельзя было понять, спит он или бодрствует. В конце июля уволился и переехал к новой подруге, жившей в приморском городке. Новую работу он искать не стал. Кое-как позавтракав, отправился на берег, а как только установилась жара, даже ночевал иногда на песке в нескольких метрах от воды. Он перестал обращать внимание на свою внешность, ходил в лохмотьях, вызывая недоуменные взгляды бюстителей порядка. В августе он окончательно перебрался на пляж, устроив себе логово между валунами. Ползал по мокрому песку, уже без помощи рук, оставляя глубокий извилистый след. Изредка женщина, с которой он жил, приносила ему еду, но чаще он сам добывал пропитание, охотясь на мелководье за камбалой и медузами. С каждым днем заплывал все дальше и плавал все увереннее. Наконец 11 сентября, на закате дня, он почувствовал, что достаточно надышался воздухом, и сверкнув чешуей, скрылся под водой.

## ГОСТЬ ИЗ АНДОРРЫ

...существо это... всей своей внешностью похоже на человека, умеет произносить несколько слов и проделывать разные забавные штуки.

*Дж. Свифт. Путешествия Гулливера*

Он умер вовсе не потому, что с ним плохо обращались. Он умер сам: сунул голову в веревочную петлю и вышрыгнул из окна своей комнаты. Нет, мы ему не мешали — мы уже попривыкли к его чудачествам и не трогали его. Но к исходу третьего дня из него потекло: оказывается, он умер. Мы закопали его в землю и сделали все, что положено. Несколько дней дети бегали на то место, но он так и не пророс.

Когда его привели к нам, мы сразу сообразили, что это Гость из бескрайней Андорры. Внешне он был неотличим от нас. Звуки его языка были точно такие же, как и у нас, и комбинировал он их так же, как мы, но понимать друг друга мы научились не сразу. При этом глагол «понимать» я употребляю, разумеется, в узком значении: понимать речь.

Мы отвели ему комнату на втором этаже, куда он всегда упрямо поднимался по лестнице. Спал он на кровати, вызывая острую жалость у домочадцев. Справляя нужду, снимал часть одежды. Жидкую пищу ел ложкой, твердую — вилкой, проделывая все это за столом. Что ж, мы ему не препятствовали.

Каждый день он уходил из дома и бродил по городу, всякий раз непременно посещая зоопарк, хотя, побывав там впервые, он громко кричал по ночам (это время его сна), а днем не прикасался к пище.

Лебедя, жившего за домом, он упорно называл птицей, имея в виду такие признаки животного, как перья, крылья, клюв и способность к полету. Щуку именовал рыбой, а когда мы привели ему рыбу, спрятался в подвале, откуда, не выходя на уговоры и музыку, не выходил пять дней.

Мышь он называл мышью.

Смешное веселило его, грустное — печалило, что немало нас забавляло.

Долгое время он ходил по пятам за нашей шестой средней дочерью. Однажды они поднялись наверх, в его комнату, он снял с нее одежду, разделся сам и лег на нее сверху. Когда мы поинтересовались у дочери, зачем они все это делали, она ничего не смогла объяснить. Тогда жена и остальные дочери попросили Гостя проделать то же самое и с ними, но он отказался и, кажется, расстроился. Но уверяю вас, женщины не хотели его обидеть.

Книги он читал. У него была тетрадь, в которой он рисовал. Мы уж было решили, что он разбирается в живописи, но и засомневались: почему же тогда он не интересуется нашим гаражом? Музыка он слушал — да, так и говорил: слушать музыку. При слове «небо» смотрел вверх.

Однажды он сказал, что лет через тридцать — сорок наверняка умрет. Всякого можно ждать от человека, который говорит знакомым «здравствуйте» и садится на стул задницей. Когда мы пилили дрова или лепили жирафов, он хватал нас за руки и умолял — дословно — «не делать этого».

Каждое утро он умывался, употребляя для этого мыло, и чистил зубы, и дошел до того, что дети не выдержали и предложили его помыть так, как это принято у нас, по-настоящему. Он заплакал, а вечером выпрыгнул из окна с веревочной петлей на шее. Жаль, что после этого он умер. Но подождем весны: быть может, он еще расцветет.

## КОШКИ И КРЫСЫ

Дом был новый, однако не прошло и месяца после заселения, как в нем завелись кошки и крысы. Особенно много их было в первом подъезде. Ничейные кошки орали по ночам на чердаке, а крысы денно и ночью сновали по залитому

тухлой водой подвалу, вызывая у новоселов дрожь омерзения. Кошки были тощие, мускулистые и вечно голодные, а крысы, все как на подбор, бесхвостые и паршивые, что являлось признаками новой крысиной породы, как уверял нас вертлявый мужичонка из тринадцатой квартиры.

Люди не поднимались на чердак и вскоре перестали претендовать на подвал, и так продолжалось вплоть до того дня, когда крысы покусали мальчика из девятнадцатой квартиры. Принесенный домой, он впал в сон и стал пухнуть, пока не распух до объема комнаты и уже не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Его распухший бок выдавил окно и выставился наружу, удивляя прохожих. Живот выпер в прихожую, мешая домашним пользоваться туалетом и ванной.

После этого Тринадцатый обежал весь подъезд, созывая мужчин в поход. Вооружившись ковровыми выбивалками, ножами и пустыми бутылками, они ворвались в темный подвал, сокрушая все на своем пути, направо и налево убивая крыс, которых обнаруживали по звуку. Внезапно откуда-то сверху полилась горячая вонючая вода, и мужчины были вынуждены ретироваться. Выяснилось, что исчез очкарик из восьмой квартиры. Его долго звали, несколько смельчаков сунулись было снова в подвал, но воротились ни с чем. Тринадцатому и Сороковому поручили утешить жену Восьмого, что они и сделали. Поход на кошек был отложен.

Не успели люди прийти в себя, как подъезд подвергся ответному массивному нападению крыс. Паршивые бесхвостые твари в мгновение ока захлестнули лестницы, ворвались в квартиры и сожрали всех собак, белых хомяков, сидевших в стеклянных банках, и говорящих попугаев. В седьмой и двадцать четвертой квартирах — видимо, по ошибке — слопали всю обувь, включая домашние тапочки с меховыми помпонами, а в тридцать девятой — пианино. Затем крысиные полчища ринулись на чердак, где их встретили тощие мускулистые коты. Схватка была короткой и безжалостной, с обеих сторон были убитые и раненые. Не достигнув цели, крысы убралась восвояси, попутно откусив деревянный протез у старика из шестнадцатой квартиры, вышедшего покурить на лестничную площадку.

Чтобы отпугнуть тварей верхних и нижних, Двадцать Первый стал через каждые полчаса выставлять перед своей дверью дымовые шашки, запас которых у него был, видимо, неисчерпаемым. Люди опасались покидать квартиры. Когда Одиннадцатый отважился на это, он поскользнулся на картофельной кожуре, ударился виском о выключатель и скончался, не придя в сознание. Сорок Третий, услышав шум на лестнице, просовывал в дверную щель ружье и стрелял волчьей картечью. Многие же просто заколотили и законопатили двери, а некоторые даже замазали пластилином замочные скважины. Для сообщения поначалу пользовались самодельными веревочными лестницами, но после того, как дородная Семнадцатая сверзилась на асфальт и умерла, от них отказались. Выход нашел Тринадцатый: он пробил стены, сделав проходы-лазы в соседние жилища. Вскоре почти все квартиры были соединены такими ходами.

Тридцать Второй и Тридцать Третий разбросали по лестнице обильно приправленные ядовитым лимонадом куски хлеба, и не прошло и дня, как в квартиры стал просачиваться сладковатый запах гниющего мяса. Подъезд заполнили мухи. Дом содрогался от ударов.

Под покровом ночи бежали Пятые, забывшие в спешке одного только старика, который задумчиво курил в туалете и не слышал, как его близкие покидали квартиру через окно. В назидание трусам, по предложению Тринадцатого, старика решено было расстрелять, для чего у Сорок Третьего под расписку было одолжено ружье, возвращенное владельцу тотчас по завершении акции.

Вонища на лестнице усилилась до того, что людям пришлось прибегнуть к помощи респираторов — как правило, самодельных. И только Четырнадцатый щеголял в настоящем противогазе. Впрочем, когда Двадцатая согласилась ответить ему взаимностью, он преподнес ей противогаз в качестве свадебного подарка, сам же довольствовался носовым платком, спрыснутым духами «Красная Москва».

В квартирах с первого по пятый этаж из кранов потек горчичный мед, жульнически разбавленный сахаром, тогда как на верхних этажах из кранов струились фиолетовые чернила «Радуга». Чистую воду пришлось добывать из унитазов.

Двадцать Третий, разломав платяной шкаф и изрезав льняные простыни с вышивкой, смастерил крылья, собрал дорожный чемоданчик (пижама, зубная щетка, мыло «Орфей» в бумажке, десяток презервативов, бритва «Микма», носки, полотенце, сорок два рубля с мелочью, паспорт и четвертый номер «Вопросов литературы» за 1984 год) и прыгнул с балкона. Жильцы наблюдали с балконов, как он, тяжело взмахивая скрипучими крыльями, удаляется в сторону Рязани-Товарной. В соседних домах зажигались огни. На горизонте клубились багровые облака — радиоактивные, уверяла всех Восьмая, так и не оправившаяся после исчезновения мужа.

На балконе у Сорок Первого поселилась птица со свиным рылом. Иногда он подкармливал ее через форточку леденцами.

Люди плохо спали и видели только чужие сны.

Когда в подъезде появился Черт, внезапно умер распухший мальчик из девятнадцатой квартиры. Его похоронили в цветочных горшках, предварительно удалив кактусы и помидорную рассаду. Черт поселился в опустевшей пятой квартире. Он ел сырую картошку, читал Достоевского и болел за «Спартак». С его появлением кошки и крысы пришли в страшное возбуждение. Наконец, дождавшись, когда он выйдет на лестничную площадку справить нужду, звери снизу и сверху хлынули на лестницу, в несколько мгновений обглодали владыку преисподней (тогда-то и выяснилось, что хребта у чертей нету), после чего с остервенением набросились друг на дружку.

Через час Тринадцатый выглянул за дверь. На лестнице было пусто. Как выяснилось, кошки сожрали крыс, а те, в свою очередь, сожрали кошек. Отпраздновав это событие, люди взялись приводить подъезд в порядок. И порядок навели, но, хотя ступеньки и площадки вымыли с керосином, шампунем и даже с сахаром, мучительный, изматывающий, постыдный и вызывающе слабый запах остался...

## ПОСЛЕДНИЙ

Сто тысяч человек — это не много, если они правильно рассредоточены и заняты делом, а их быт продуман до мелочей. Плюс охрана, иногда жестокая, но всегда бдительная. Если бы не охрана, они давно перессорились бы. Из-за женщин или из-за пищи. Ребилы и даты, каменотесы и счетоводы получали равное количество еды, развлечений и палочных ударов. А главное, все они в равной степени участвовали в строительстве Башни. С утра до вечера скрипели повозки, подвозившие битый камень. Для Башни, призванной поразить воображение жителей плоскогорья, пожирателей желтых лягушек, — призванной достигнуть неба — ну, вы знаете эту байку, популярную среди плотников, пьющих вино, в которое они тайком подмешивают толченый песок.

Иногда со стороны жаркой пустыни, чью жестокую безмерность по-настоящему ощущали лишь старики да беременные женщины, налетали разрушительные ураганы, оставлявшие после себя поваленные постройки и переверну-

тые повозки. Люди вновь прокладывали водопровод, укрепляли свои жалкие жилища из песка и соломы и сочиняли песни, исполненные страха перед судьбой и потому — прекрасные. Их пророки, по ночам ползавшие между домами, чтобы не заметила охрана, говорили о грядущем Последнем Урагане и в доказательство правдивости своих слов взглядом прожигали тонкий кусочек кожи, отличавший девушку от женщины. Таких считали святыми, с ними спешили совопиться, чтобы на рассвете побить камнями.

В полдень шестого месяца Тха по десяти поселкам великой стройки разнеслась весть: один из ста тысяч строителей Башни — Бог. Разумеется, были заданы все приличествующие случаю вопросы: правда ли это? зачем Он явился? кто Он? Были тотчас высказаны и предположения, за неимением лучшего сошедшие за ответы: Он явился, чтобы спасти; чтобы помешать строительству Башни; чтобы наказать начальника Третьего поселка за похотливость. Но, поскольку практической ценности эти предположения не имели, большинство сосредоточилось на вопросе «кто Он?». А для этого было необходимо попытаться ответить на вопрос «что есть Бог?». Было предложено множество вариантов ответа, от банальных и рассчитанных лишь на внешний эффект до еретических и чрезмерно приближающих к сути. Бог — это тень будущего в настоящем. Это все, что не Бог. Бог — это Башня, какой она предстает в воображении сразу ста тысяч строителей и какой она никогда не будет. Бог — это план Башни, это строительство Башни, это натертая пятка возницы и дневная бессонница каменотеса, это предполагаемый и возможный результаты строительства, обреченность строительства на неудачу, осознание этой обреченности и, вопреки всему, стремление к завершению постройки: все это, вместе взятое, и есть Бог.

Были предложены остроумные способы выявления Бога. Некоторые были претворены в жизнь — разумеется, безрезультатно. Например, посреди всех десяти поселковых площадей были начерчены совершенно одинаковые круги, внутри которых землю присыпали тончайшим слоем рисовой муки, строго-настрого запретив кому бы то ни было ступить за черту внутри круга. Тысячи глаз дено и ночью бдительно следили за белыми кругами, но на седьмой день во всех поселках одновременно в центре круга обнаружили отпечаток чьей-то ноги. Наблюдатели были вне подозрений, поскольку шпионили друг за другом. Значит, этот след и был следом Бога. Но его самого уловить не удалось.

Тогда попытались перепутать значения слов, чтобы поймать Его в сети безумия. Например, договорились словом «рыба» обозначать понятие «любовь», а словом «любовь» — понятие «смерть вечером в воскресенье» и т. д. Но вскоре поняли, что Бог имеет дело не с названиями предметов, но с их сущностями и единственное слово, сущность которого ему неподвластна и недоступна, это слово — Бог.

Были испытаны и другие способы, но, повторяю, безрезультатно. Тогда у многих вновь возникли сомнения в существовании Бога — во всяком случае, в его присутствии среди этих ста тысяч людей. Охране с трудом удалось подавить беспорядки и пресечь бесчинства.

Быть может, впрочем, успокоению способствовал и некий Рут, который продемонстрировал доказательство бытия Божия. Во вторник он на глазах у всех преодолел расстояние от ворот поселка до колодца за десять минут, тогда как в четверг то же расстояние — за тридцать минут, да и то с преогромным трудом, а в субботу — снова за десять минут, правда, в обратном направлении, то есть от колодца к воротам. Разница во времени убедила последних маловеров и колеблющихся в существовании Бога.

Бурная активность, однако, сменялась апатией. Бог мог оказаться строителем или охранником, начальником Третьего поселка или женщиной. Более того, кое-кто, вспоминая опыт Рута, догадывался, что в предложенной системе доказательств он мог быть Богом с полудня до заката и только по средам, но никогда по пятницам; женщина была Богом, пока одета; ребенок, швыряющий камнем в собаку, был Богом, а ребенок, швырнувший камень, переставал быть Богом; каменотес мог быть Богом только в нужнике у Восточных ворот Башни, тогда как начальник охраны — всюду, но только мертвым... Бог мог быть великим, красивым, мудрым, ничтожным, милосерднейшим, жесточайшим, наконец — никаким. Отсюда был всего один шаг — и его сделали, ибо ничего другого не оставалось — до признания Богом всякого. И тогда отчаявшиеся предложили самый простой способ, позволяющий безошибочно установить, кто же — Бог. Ну да, разумеется, тот, кто останется в живых. Надо ли рассказывать о вакханалии убийств, пьянства, насилия и разврата? О смертях по жребию? Об изнасилованных и съеденных детях? О самоубийствах с цветочными венками на головах? Потом дело смерти упорядочили. Огромная очередь выстроилась к печам, поглощавшим строителей и охранников, блудниц и пророков. Пока не осталось никого, кто мог бы свидетельствовать о Боге, который, как и ожидалось, был всего-навсего последним.



## Евгений ПОПОВ

---

Как и всякий другой писатель, я был молодым. «Молодой писатель — это тот, кого не печатают», — говорила тогда Людмила Петрушевская.

Нынешним, действительно молодым писателям, пожалуй, затруднительно понять, зачем это отдельные представители **тех самых поколений**, отрицательно относясь к реалиям развитого советского социализма, тем не менее кротко ходили по редакциям в напрасном чайнике опубликоваться, а не ухнули в андеграунд в самом начале своего так называемого «творческого пути» или («чтобы не было грустно») вовремя не подожгли красное сельцо Кремль вместе со всеми его обывателями-коммунистами. Кажется (что, может, и хорошо), их пока еще не окрепшим сознанием с трудом осваивается и тот непреложный факт, что журнал «Октябрь» был в свое время оппонентом журнала «Новый мир», пока все не было сметено могучим наводнением «перестройки», а «толстые» журналы уцелели лишь благодаря Джорджу Соросу, которого благодарные россияне тут же обвинили в «далеко идущих целях» и геишфтмахерстве. **То самое поколение** для новичков, наверное, на одно лицо, как белые колонизаторы для бывших представителей освободившихся стран «третьего мира».

Вот почему лично я думаю, что прошлые литературные нравы могут быть адекватно поняты и соответственно судимы лишь современниками тех нравов, признававшими правоту слов свихшегося чиновника Мармеладова, который говорил, что человеку, дабы он окончательно не свихнулся, нужно место, куда он может пойти. Пришли, осмотрелись, ушли. «Октябрист» Владимир Максимов, исключенный из Союза писателей и пару раз принудительно побывавший в психушке, в феврале 1974 года уехал на Запад и основал антисоветский журнал «Континент», а публиковавшийся в «Новом мире» Александр Солженицын написал «Архипелаг ГУЛАГ», после чего в том же феврале того же 1974 года был выслан из страны СССР. Шли годы. В «Октябре» посмертно напечатали Владимира Коржера. Так что чего уж там считаться сегодня!

Поэтому сегодня, в канун юбилея журнала, я решил вспомнить молодость и предложить читателям «Октября» тексты тридцатилетней давности. Предлагаю их с робостью, ибо совершенно не представляю, как отнесется к этим старым сочинениям новое поколение редакционных «строгих юношей».

Добавлю лишь, что тексты эти (совершенно аполитичные) в урочные времена вдосталь погуляли по редакциям, но не пришились ни к одному редакционному двору или столу, отчего публикуются впервые.

Кроме того (и это самое главное!), я надеюсь на окончательное разрешение одной старинной тайны.

Сочувствующая служащая Союза писателей недавно рассказала мне и Виктору Ерофееву, что, когда нас, исключенных «за «Метрополь», восстанавливали в 1988 году, то вопрос в очередной раз повис в воздухе, так как ровно 50 процентов писательских руководящих «товарищей» были против пребывания идеологических негодяев в такой почтенной организации, а 50 процентов были «за». Но тут явился опоздавший к началу заседания нынешний редактор «Октября», и дело решилось в нашу пользу.

Пользуясь случаем, публично говорю «спасибо» Анатолию Андреевичу Ананьеву — ведь он к тому же, несмотря на свое высокое общественное положение, не участвовал и в изначальной травле «Метрополя» (1979), как это сделали некоторые его не менее именитые коллеги,

*впоследствии сменившие свою советскую ориентацию и ставшие отдельными высокими столпами упомянутой «перестройки».*

*А молодым людям я напомним, что 1969-й — это не 1937-й, 1979-й — не 1969-й, а 1988-й — не 1979-й, но и не 1999-й. Потому что Россия — это все-таки не СССР, потому что «цыпленки тоже хотят жить» (перманентно), и тот, кто в них за это бросит камень, непременно попадет в себя. Потому что «Октябрь» уж наступил, граждане вновь свободной России с ее «неокрепшей демократией» и перманентным бардаком.*

# Новая атмосфера

РАССКАЗЫ

## БОГ ДИОНИС, ЦАРЬ МИДАС И Я

1

**К**ак известно, царь Мидас был в древнегреческой мифологии богом производительных сил природы, богом буйного сока, циркулирующего во всех растениях, во всех, но главным образом в виноградной лозе, из плодов которой делали и по сей час продолжают делать различные алкогольные напитки.

В древнегреческие времена существовал и культ Диониса. Культ — это значит, что сильно боялись, уважали, почитали Диониса, поклонялись Дионису, совершали связанные с его именем обряды.

Такие, например, как различного вида жертвоприношения — благодарственное жертвоприношение, умиловительное жертвоприношение, искупительное жертвоприношение.

По случаю Диониса в ходу были также магические жесты, формулы, молитвы и другие примеры человеческого мракобесия, направленные к явному возбуждению суеверия среди масс населения. Примеры, как в зеркале отражающие неправильный социальный строй древнегреческого общества.

И вообще из всех культов культ Диониса особенно отличался своим испуганным и оргастическим характером. Бог-то он бог, но хорошенькая же шушера его окружала. Все эти сатиры, силены, вакханки.

Сатиры, они все по той же мифологии считались полубогами. До богов они не дотянули, во-первых, потому, что их было много, а во-вторых, что имели они довольно отвратительный на любой вкус козлиный облик — козлиные рога, козлиные уши, козлиные ноги, козлиный хвост.

Даже то, что сатиры играли на дудке, не прибавляло им благородства, потому что играли сатиры мерзко. Пьяные, зеленые, трясущиеся от алкогольных напитков, они вечно преследовали своей любовью целомудренных нимф — наяд, ореад и дриад, которые являлись женскими духами соответственно вод, гор и деревьев.

А взять, к примеру, силенов. Они тоже считались фантастическими существами, спутниками бога Диониса. Пьяные, лысые, они ездили на ослах, и вид у них в отличие от сатиров был весь конский — конские ноги, конский хвост, конские уши.

И ведь именно они, силены, повлияли на формирование личности бога Диониса: научили его пьянствовать, разводить пчел, играть на дудке. Но избави нас какой-нибудь другой бог от подобных спутников!

Не хочется грубить и писать резкие фразы, хочется писать мягко и вежливо, но что касается вакханок, то эти опьяненные вином женщины имели такой низкий моральный уровень, что их определение и описание кратко и просто — это были шлюхи.

И вот вся лихая компания во главе с богом с утра до ночи и ночью пьянствовала, орала, танцевала непристойные танцы, дудела в дудки и флейты, гонялась за наядами, ореадами и дриадами. А народ их уважал, а народ их почитал, а народ их в культ возводил.

Так они и жили.



И крутился там среди прочей пьяни некий царь Мидас, тоже порядочный сукин сын.

Он называл себя царем, а поскольку все это происходило очень давно, то он с тех пор так и считается, видите ли, «легендарным фригийским царем».

— Что же это за страна такая, Фригия? — позволили бы мы себе спросить царя и, конечно, не получили бы никакого вразумительного ответа.

Он говорил бы, наверное, так:

— Вроде бы это была Малая Азия, Анатолия, западный полуостров Азии, почти что нынешняя Турция. Омывалась Черным, Мраморным, Эгейским и Средиземным морями...

— Не слишком ли много морей, Мидас?

— Да, да. Многовато, а также проливами Босфорским и Дарданеллами.

Вот. Видите. Восточная граница у него почему-то проходила через Батуми, население непонятно чем занималось. Вроде бы сплавом продуктов по воде. Занималось сплавом продуктов по воде, а реки, из которых наиболее значительной была река Кзыл-Ормак, являлись несудоходными. Странно получается. И вообще, если Батуми, так пускай будет Батуми. Это в Грузинской ССР. Если Турция, так пускай будет Турция. Если Малая Азия, так Малая Азия, а вот насчет Фригии — вопрос, таким образом, все же остается открытым. Ну и черт с ней, с Фригией!

И пускай этот самый Мидас называл себя царем Фригии, если ему так уж это нравилось, и пускай его считают легендарным царем Фригии, если это так принято. Это в конце концов их дело.

Не важно даже и то, что однажды Мидас присутствовал при музыкальном состязании покровителя подрастающей молодежи бога Аполлона с Паном — богом лесов и покровителем стад. Оба играли на свирелях, и Мидас спьяну сказал, что музыкальная культура Пана ушла значительно вперед, за что обозлившийся Аполлон дал Мидасу ослиные уши, и Пан ничем ему помочь не мог, так как сам, будучи пьяным после хвалебных слов собутыльника, уснул мертвецким сном.

Но не важно это все, не в этом дело.

А дело в том, что Мидасу в периоды просветления часто приходили в голову весьма замечательные мысли. Поэтому, видимо, не зря память о Мидасе сохранилась в сердцах народа. Видимо, имели смысл жизнь и страдания Мидаса. Да и остальные, Дионис с компанией, были все-таки, что ни говори, необыкновенные существа. Ведь народ кого попало богом считать не будет.

Так вот. Однажды, в минуту просветления, Мидас вдруг увидел, что живет он очень плохо.

Страна Фригия почти не существует, так как находится неизвестно где. Сам Мидас — вдали от Родины. Эмигрант. Денег нету. Очень и очень плохо. Мидас задумался.

Мидас думал о том, что, конечно, можно и дальше жить так же, то есть пьянствовать, играть на дуде, бегать за нимфами и спать с вакханками, просыпаясь от крика: «Эвоэ».

Но Мидас хоть и сукин же был сын, но имел все же некоторую царскую гордость.

И поэтому ему в голову пришла уж совсем дикая фантазия.

Ему вдруг представилось, что как бы это было хорошо, если бы у него вдруг стало очень много денег, то есть золота. Чтоб у него было золота больше, чем у любого другого.

— Вот бы мне, если бы, чтоб я, как что возьму в руки. Или вообще. Прикоснусь, так чтоб любой предмет, он сразу бы превращался в золотой, в монету, — сказал опухший от водки Мидас и заплакал, как дитя.

Плакал он настолько долго, что бог Дионис, случившийся рядом, пожалел беднягу и с целью, чтоб он не портил веселья остальной бражке, наградил его свойством, о котором вслух мечтал пьяный плакса.

Но всем известно, что уж если кому не повезет, так это навсегда.

Пример тому — Мидас.

Он в золото превратил очень много предметов, пока не захотел чего-нибудь покушать и попить.

Каково же было изумление несчастного, когда пища и питье при его прикосновении тоже обратились в золото. Он уж и так и сяк. Пробовал пить и кушать прямо ртом, не помогая себе руками, но из этого, ясно, ничего не вышло. Кругом было сплошь одно золото, а хотелось кушать.

Мидас завопил, пришел Дионис и, мигом оценив сложившуюся ситуацию, повелел, чтобы положение вещей вернулось в свое прежнее состояние.

Дионис, утешая Мидаса, приглашал его выпить или побегать за нимфами, но бедняга отказывался. Он в ответ лишь трясся. У Мидаса случился инсульт.

С инсультом Мидас слег и лежал в течение долгого времени. Конец Мидаса вообще печален. После инсульта он так и не оправился. Все время проводил в постели, лежа пластом. Старые друзья отвернулись от Мидаса. Ведь у них одно было на уме — выпивка и промискуитет.

Родственников и слуг у Мидаса не осталось. Приходил из сострадания какой-то пустынный, который относился к своим добровольным обязанностям по уходу за Мидасом крайне неаккуратно. Лишне говорить, что он был все время пьян в стельку на последние Мидасовы денежки. Мидас впал в крах и нищету. Единственная ценная вещь осталась у него — больничное судно из драгоценного нефрита, последний подарок отвернувшегося друга — бога Диониса. Да и то в драгоценном сосуде вечно кисла Мидасова моча. Вскоре царь весь покрылся язвами и, не вынеся подобной жизни, умер.

И пускай этот трагический случай, произошедший в Древней Греции, послужит хорошим жизненным уроком всем любителям выпивки и легкой жизни всех времен и народов!

### 3

Только вы, пожалуйста, не думайте, что на этом и заканчивается мой рассказ. Это была бы грандиозная ошибка с моей стороны, если б я закончил рассказ смертью Мидаса.

В самом деле, что там за Мидас, Аполлон, Дионис, Пан! Они жили настолько давно, что, может быть, их и вообще не было. Может быть, все эти ихние истории придуманы в ванне развращенными римскими бездельниками.

Я считаю, что писатель должен писать только о себе. Я вам про себя хочу рассказать. Мидас и Дионис кончились, поэтому и для меня настало время.

Я родился во время второй мировой войны с немцами. У меня недавно сгорел Дом народного творчества. Я окончил Московский государственный библиотечный институт. Приехал в сибирский город К., где получил однокомнатную квартиру с телефоном. Номер телефона 2-54.

Я, к своему большому сожалению, окончил библиотечный институт, поэтому теперь меня гнетут интеллектуальные заботы. Вопросы добра и зла меня гнетут. Чести, конечно. Совести. Думаю также, принимать или не принимать гармонию, связанную со слезой ребенка.

Это очень усложняет мою жизнь. Приходится думать о греках, о римлянах. А на что они мне?

Дом народного творчества у меня сгорел. Я был его директором.

Сам я, граждане, долгое время проживал в безверии и фанатизме, а потом у меня сгорел Дом народного творчества, и я поверил сразу во всех богов.

Меня, как Дом народного творчества сгорел, сразу же из него выгнали. Выгнали, несмотря на то, что я руководил им, будучи молодым специалистом. Здесь налицо явное нарушение Кодекса законов о труде. Меня не имели права выгнать. Я должен был усердным трудом заслужить себе очищение.

Сейчас я вынужден работать библиотекарем в Доме офицера с окладом шестьдесят рублей в месяц, чего я страсть как не люблю.

Я после пожара и своего позора поверил во всех богов, и боги дали мне божественную возможность превращения.

То есть получается так.

Слушайте внимательно.

Дело в том, что *все, к чему я ни прикоснусь, превращается в искусство.*

Понимаете?

*Все, к чему я ни прикоснусь, уже есть искусство.*

...Вот я вижу — она стоит одна на пустынной набережной, и плечи ее поникли, и длинные черные волосы разметались по плечам. Это — трагедия. Это — искусство...

...или с балкона я услышал пение инвалида. Инвалид пел песню Шуберта. «Лучи так сладко греют», — пел инвалид и приводил коляску в вечное движение собственными руками. Инвалид ехал по асфальту. Потом он забылся и отпустил рычаги. Но рычаги сами заходили, и коляска двигалась, потому что, слава Богу, еще действовали законы инерции...

...а мальчик с девочкой. Они дожидались своей очереди стричься в парикмахерской. Было тихо. И вдруг неожиданно громко и страшно зевнул мальчик, ожидающийся своей очереди стричься в парикмахерской. А девочка сказала: «Мяу, мяу, бяу, бяу», — сказала девочка...

...а вот так

**Ведущий:** На берегу реки Е. разыгралась ужасная драма.

В воду упал человек.

У него, может, где-нибудь осталась мама.

Он, может, хотел жить целый век.

(Появляется другой ведущий и бьет первого по роже. И вообще все друг друга бьют по роже. Темно. Занавес.)

Понимаете?

И, между прочим, все не так уж и плохо. Иногда выйдешь на улицу — белый печной дым труб поднимается вверх. Солнце. На улице чисто, морозно. Хорошо.

Вы понимаете, я все больше духом прикасаюсь. Вот я слышу плач, но вижу только, что прелестно искривлены губки плачущей.

Да что тут губки — моя собственная жизнь вся пошла наперекосяк, а мне и на это плевать, ибо это — тоже искусство.

Видите, какой я значительный человек? А ведь сам нахожусь где-то ниже середины социальной лестницы. А если брать лестницу экономически-социальную (по получке), то там я и вообще на первой ступеньке.

А мне плевать. Вы представляете, я к чему ни прикоснусь, все — искусство.

И самое главное. Сам я и не пишу ничего, и не творю, и не созидаю. Зачем? Коли мое прикосновение все обращает в искусство, то что я тогда, спрашивается, буду жрать? Это раз.

А второе — столько много искусства тоже ведь ни к чему.

И третье — человек я не боевой. Чтобы обратить мое искусство обратно в жизнь, мне нужно тратить чрезвычайное количество энергии и заводить знакомства с местными к.-скими тузами и шишками печатного слова. Пить с ними водку. А я этого не хочу. Я водку вообще терпеть не могу. На водку уходит много денег, и болит голова.

Поэтому целыми днями сижу я у себя в библиотеке и ровным счетом ничего не делаю.

Все время думаю. Думаю, что если Дионис — бог, а Мидас — царь, то кто же тогда я? Ведь мое прикосновение все обращает в искусство. Кто же я-то тогда есть такой?

И тогда я горделиво посматриваю на окружающих, ожидая, когда же наконец и они признают во мне какого-либо властелина.

А Дом народного творчества у меня сгорел очень просто. Я как-то сплю ночью в своей квартире. Вдруг звонок по моему телефону 2-54, и говорят:

— Это вы? — говорят.

— Я, — отвечаю.

— У вас Дом народного творчества горит.

— Я вас привлеку к административной ответственности за телефонное хулиганство, хулиган, — сказал я и повесил трубку.

А утром проснулся и думаю: ой-ой-ой, а что, как он и взаправду горит?

Встал, оделся, умылся, позавтракал, пошел, а там уже одни головешки.

И крутятся среди дымящихся развалин милиционеры, врачи и еще какие-то неизvestные мне представители общественности.

Взвешали, конечно. Но я особенно не огорчаюсь. «Живите, экономно расходуя свои силы»,— сказал один мой товарищ, исчезая под колесами наехавшего на него трамвая.

### ГАНТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА

Я еще в школе постоянно отлынивал, вызывая неудовольствие Альфреда Емельяновича. Он меня гнал лезть без ног по канату и скакать через так называемого коня. А я не лез и не скакал.

И в институте я лишь записался бегать на лыжах к добрейшему Ивану Петровичу, а сам там был всего один раз синей осенью. Мы прыгали по стадиону, делая вид, что отталкиваемся палками и скользим белой зимой.

Ну а когда я получил образование и дергал зубы у любящих меня пациентов, ко мне по линии спорта больше не привязывался никто, нигде и никогда.

Пожалуй, только в детском саду я не избежал физкультуры. Помню, маршировали что-то там такое под барабан и прыгали через скакалочку.

И все это, конечно, хорошо, но к тридцати годам мое тело пришло в упадок: руки висели плетью и вздулся животик, окольцованный по поясу жировой складкой.

Кроме того, я весь сильно облысел. Но последнее вряд ли от отсутствия физкультуры. Я думаю, что не от отсутствия.

Тело пришло в упадок.

Зато — дух. О-го-го! В институте я шел по успеваемости в первой пятерке. Это дало свои несомненные результаты. Зубы удаляются с минимумом болезненности. Пациенты на руках меня носят.

И я прекрасно читан. Знаю музыку и клянусь, что могу поговорить с кем угодно на какую угодно тему. Еврипида, допустим, не читал, но знаю, кто он такой и где жил. Он жил в Греции примерно пятьсот лет назад до нашей эры.

С кем угодно, но только не с варваром, который во время разговора так и хочет харкнуть тебе в лицо.

Вот я сейчас расскажу: у нас во дворе живет, не знаю даже как и выразить-ся, бывший или настоящий художник по фамилии Носков.

Этот Носков человек больной. Несмотря на молодость, является пенсионером по инвалидности. Его опекают родственники. А болезнь его заключается в том, что, потратив время на изготовление какой-либо картины, он затем раскрывает окно и выбрасывает холст на улицу. С криком: «Получите, падлы, от гения товар не по зубам!» Маниакально-депрессивный психоз.

Пишет он в основном на библейские вроде бы темы. Во всяком случае, у него часты люди с нимбами, девы, старцы, ягнята, песок, пустыня.

И одного такого старца он изобразил чрезвычайно похожим на меня, исказив мои черты до безобразия. Изобразил и выкинул.

И все это, конечно, ничего, если бы не глупые дети, живущие у нас. Они подобрали этот «мой» портрет, приколотили его крепкими гвоздями за сараями на недосягаемую высоту. И подписали снизу: «Это доктор Еськин».

А ко мне ведь и на дом пациенты ходят. У меня есть своя бормашина. Думаете, мне приятно? Ангелина Ивановна пришла и улыбается: «Это кто же вас так изобразил, Илья Евгеньевич? Хоть бы листиком каким прикрыли...»

И смотрит на меня с любопытством.

Я тогда вышел во двор и говорю детям:

— Ну-ка, сорванцы, немедленно снимите эту пакость!

А Носков запустил в меня сверху горшком с гортензией и кричит:

— Я тебе покажу «пакость», тварь ты дрожащая!

Больной человек! Но дети. Они нахально ответили, что приколотили не

они и снимать не будут. Их родители сказали, что ничего не знают, и разводили руками. Они шоферы.

Так что мне пришлось нанимать за три рубля человека с улицы, который сорвал это позорище после того, как оно повисело почти целый день. Деньги решают все.

Кстати, о детях. Это только слово такое «дети», а на самом деле вполне сформировавшиеся лбы, которым место уже в лагерях, и причем не в пионерских. Они, видите ли, не могут за себя отвечать, а уже выше меня ростом. И родители за них не отвечают. Они сквозь пальцы смотрят на проделки своих акселератических чудовищ.

Больше того, мне кажется, что они САМИ их науськивают на меня, потому что завидуют. Тут Райкин правильно сказал в монологе холостяка, что женатый не может, когда другому хорошо, то есть холостяку. Я очень смеялся. Правильно. Совершенно верно.

Наверняка науськивают, поскольку хоть я и холост, но не играю с ними в домино и не участвую в глупейших разговорах насчет того, что подорожала водка. Что мне до водки? Сухое вино не подорожало. А коньяк — черт с ним. Коньяк можно в конце концов и не пить. Правда, женщины любят иногда коньяк.

Как-то вечером иду я с Идеей Дементьевной к себе через подворотню, а они стоят, это я про «детей», — чистые волчата. Глаза горят, а один говорит вслед:

— Эта баба, как орех. Так и просится на грех.

А другой поет:

— Али-баба! Ты посмотри, какая женщина!..

Я хотел обернуться и крикнуть, что всему, черт побери, есть предел и нельзя молодым парням распускаться до таких пределов, но Идея вцепилась мне в рукав и шепчет:

— Я умоляю. Не надо, не надо...

А я и сам понимаю, что не надо. Что? Ну обернулся бы. Ну сказал, а в ответ — гнусная матерщина. Или еще что-нибудь хуже. А ведь их родители тут же во дворе стучат костяшками!

Поэтому мы прошли гордо, и ушли, и время провели прекрасно. А только остался на душе какой-то неприятный осадок. И стыдно, и больно, потому что я, если говорить честно, испытал в ТУ МИНУТУ самый обычный физиологический страх. Опасался, что побьют, если говорить совсем честно.

То есть я уже явно был подготовлен к тому, чтобы, гуляя однажды по улице, увидеть, как девушка торгует книжками с лотка. Прелестное такое существо. Знаете эти мордашки? Зрелая женская красота, наивный взор, потупленные глаза и полное отсутствие мыслей в черепной коробке.

— Здравствуйте, — говорю. — Давно работаете в системе книготорга? Я вас что-то раньше не встречал.

Девушка смеялась. Ровно блестели белые зубы.

— Я недавно приехала из района.

— А-а. Горожанкой решили стать? Похвально, похвально. Только что это у вас книжки все какие-то спортивные: хоккейные, мотоциклетные? Нельзя ли чего-нибудь поинтереснее, прелесть моя?

— Я, кстати, замужем, — сказала продавщица. — А поинтереснее есть. Вот.

И она дала мне зелененькую брошюрку, где на обложке атлетического сложения молодой человек показывал всем, какой он атлет. Написано было: «Гантельная гимнастика». А выше: «И ты станешь таким».

Забегая вперед, скажу, что с девушкой у нас никаких последующих отношений не вышло. А книжку я купил и стал по ней очень интенсивно заниматься.

Ну раз уж я забежал вперед, то там и останусь. Занятия привели меня к неожиданным результатам. Маньяк Носков очень просит меня позировать с целью создания, как он говорит, синтеза Прометея с простым человеком. После одной истории считается, что я хоть и нервный, но могу постоять за себя.

Это однажды мы опять идем с Идеей Дементьевной, которая к этому вре-

мени не только вышла замуж за одного кандидата, но и успела развестись с ним. Мы идем и...

Впрочем, нет. Сначала расскажу, как трудно было достать гантели.

— Их нет,— сказала другая девушка, из «Спортоваров».— Чугунные есть, а их нет. Есть чугунные, полукилограммовые. Вы ж их не будете брать, верно?

— Верно. А каких нет?

— Съемных. Там меняются диски. С изменением диска меняется нагрузка и пропорционально растет сила. Это модно.

— Что модно?

— Гантельная гимнастика сейчас модно,— важно сказала девушка.

И, помолчав, добавила:

— А еще сейчас модно йога.

Ну, не буду описывать подробно, как я достал эти съемные железяки, сколько и какие делал упражнения, а то у вас может сложиться превратное впечатление, будто я монотонный человек. Делал все. И приседания, и вращения нагруженными кистями. И с положения «лежа» делал упражнения.

И тут одна важная деталь, и вы должны обратить на нее внимание, если хотите меня понять.

Лишь только взял я железо и стал крутить, то мгновенно почувствовал, что мои руки налились силой. Я согнул одну, подошел к зеркалу и увидел: у меня на руке есть МУСКУЛ. Ха-ха-ха!

Я тогда согнул вторую руку и заметил: на ней мускул ТОЖЕ ЕСТЬ. Хи-хи-хи!

И живот ПОДОБРАЛСЯ. Хо-хо-хо!

И все это, конечно, странно, но главное — дух! Я понял, что мой дух, оставаясь интеллектуальным, стал вдобавок еще и боевым. Я махал руками, прыгал, боксировал, рычал.

И так день за днем.

Так что мы однажды идем опять с Идеей Дементьевной через ранее упоминаемую подворотню. И там аналогично стоит тоже описанная ранее, но несколько повзрослевшая молодежь. С девками.

Вслед смачно:

— Эх, ежели бы такие ножки да мне на плечи!..

Не дав Идее успеть схватить меня за рукав, я круто развернулся.

— Кто сказал?

Имея на своем юном лице выражение крайней наглости, один из спрашиваемых уклонился от ответа:

— Отвали, зубодер!

— Вали! Вали! Не заставляй ждать бабу,— веселился другой, у которого из пухлых губ торчала мятая сигаретка.— А Впрочем, поднеси-ка огоньку, лепила, а то спичек нету.

Я тогда сразу ударил в эти пухлые губы. Хулиган бросился на меня и наткнулся на кулак. Я взял его голову за уши и стал бить ее о колено. Колено намокло. Я отпустил. Он упал.

— Тебе тоже дать огоньку? — задыхаясь, обратился я к первому.

— Не бейте, дяденька! — завизжал он.— Я некурящий. А-а-а!

Остальная шпана тихо шепталась. Их девки в брючных костюмах оцепенели и лишь слабо шевелились в темноте. Впереди маячила фигура оцепеневшей Идеи. Из раскрытого окна строго глядел Носков. Тяжело топая по земле, бежали на крик доминошники. Их было много. Мои клетки и мускулы пели в счастливым ожидании дальнейших событий.

Лезавший со стоном пошевелился и стал вставать, вытягивая вперед руки. Я ударил его ногой. Он снова упал.

### НОВАЯ АТМОСФЕРА

— Видите ли, атмосфера — это воздушная газообразная оболочка, окружающая нашу Землю. Это, по удачному выражению одного ученого, шуба Земли.

Только благодаря атмосфере существует жизнь на Земле. Голубой цвет неба и тот объясняется рассеиванием солнечных лучей в атмосфере. Раньше атмосфера состояла из кислорода. Немного азота, немного водяных паров. Как вас в школе учили. Вы ведь в школе-то учились?

— Учился. Я окончил десять классов.

— Вот. А сейчас она стала состоять из чрезвычайного, а чего — этого пока никто не знает. Наука и техника могут объяснить все, в том числе и это. Но у науки и техники до интересующей вас проблемы пока еще не дошли руки, — так сказал мне один доцент и ушел, забыв по рассеянности дать мне двадцать копеек на чай.

А все дело в том, что однажды летом наш город на долгое время одолела жара.

Жители ходили и обливались потом, стонали.

А больше всех стонал и обливался потом я, потому что я очень люблю пить жидкости. Я люблю все жидкости: воду, квас, молоко, пиво, газировку, вино, водку.

Стояла жара, и у жителей прямо разум помутился. Жители стали выделять разнообразные номера и чего-то все изобретать.

В городе неожиданно появилось много певцов и игроков на гитарах. Они собирались тесными кучками около пивного ларька и, глядя на мир из-под темных очков, пением выражали свою скорбь по поводу жары, небывалой для сибирских условий.

Распространились гадания насчет ожидаемой погоды, а также вообще насчет жизни. На картах, на лепестках, на морских свинках, на спичках, на гуще.

Результаты гадания сводились в основном к тому, что скоро будет дождь и похолодание, но это оказывалось неправдой: ни дождя, ни похолодания не наступало.

На танцплощадках горожане стали танцевать довольно странные танцы. Танцуя, они почти не шевелились, чтобы не потеть и беречь сердце. Музыка играла заунывные, почти турецкие мелодии. Процесс танца напоминал шевеление зеленых водорослей в тихой воде.

Около городских мест коммунального пользования — рынков, универсамов и бань — какие-то люди продавали разноцветные таблетки. Таблетки, по уверениям продавцов, принятые внутрь, создавали у человека внутри настроение любого климата. «Климатом можно управлять!» — кричали продавцы.

Их не били лишь потому, что всякому от жары лень было поднять руку.

И еще я должен, к сожалению, отметить следующее: в городе сильно упали нравы. Участились разводы, случайные сношения и одновременные сожительства отдельных граждан. Мужья и жены требовали друг у друга развода. Прощетали девушки.

Общественность, конечно, взялась искоренять эти нездоровые явления, но искоренение проходило с большим трудом, так как все нагрешившие отговаривались тем, что, дескать, жара, и у них пошли красные круги в глазах, они были как в тумане, ничего не помнят, и были как бы невменяемы, не знают, почти не помнят ничего. Но их вскоре искоренили-таки, гадания запретили, продавцов таблеток заставили работать по очистке города от мусора.

Вроде бы все стало хорошо. Спокойно. Хотя и жарко.

А потом. Ой, потом! Потом начались новые чудеса. Везде по городу стали расти маленькие дыньки. Очень много маленьких вкусных дынек. Их собирали в пригородном лесу, они, как грибы, прорывали городской асфальт. Везде, где был хоть малейший клочочек земли, выросли дыньки. Они, кстати, привели к финансовому краху приезжих ташкентских узбеков, которые издавна на самолетах прилетали к нам, чтобы торговать фруктами по безобразным базарным ценам.

Ну, дыньки так дыньки. Постепенно мы и к дынькам настолько привыкли, что когда в добавление у нас вдруг стали зреть такие тропические продукты, как арбуз, виноград, табак, персики, лимоны, абрикосы, сливы, финики и чай, то ни-

кто этому не удивился. Спор только о том шел, как называть вновь произрастающий чай. Не «Грузинским» же? Не «Индийским» же? Не «Китайским» же?

Решили сначала назвать чай «Азиатским», а потом передумали, назвали «Сибирским». «Сибирский чай». Не пробовали еще?

А дальше случилось такое, что взволновало даже меня. На берегу нашей полноводной сибирской реки Е., впадающей в Ледовитый океан, вдруг произросли пальмы, кипарисы и какие-то гигантские хвощи.

Представляете? Их никто не посадил, а они произросли!

Я тогда мигом побежал к доценту узнать, в чем дело, взволновался я почему-то очень.

И доцент объяснил мне событие так:

— Видите ли, в нашем районе, а следовательно, и в нашем городе широко развиты морские отложения триасовой системы. Вообще-то в СССР триас занимает относительно незначительные площади, относительно по окраинам его. Мы входим в триас. Мы относимся к области древнего триасового океана Тетис. Понимаете, в триасе здесь был древний океан. Он назывался Тетис. Потом океан высох. Остались морские триасовые отложения. Произрастали хвойные и гигантские хвощи. Расцвели рептилии, представленные динозаврами, ихтиозаврами, плезиозаврами и птерозаврами.

— А что? Динозавры тоже будут?

— Не знаю. По-моему, нет. Это живые организмы. Но следует заметить, что появление на берегу хвощей нельзя смешивать с появлением на берегу пальм. Пальмы сами по себе, а хвощи из триаса. Видимо, вышел какой-либо биологический катаклизм. Семена хвощей освободились от власти времени и дали пышные всходы. А пальмы тоже как-нибудь образовались. Довольно странно. Никогда раньше не бывало такого биологического взрыва. Вы понимаете меня, мой юный друг?

Понимаю, как же мне его не понимать, когда даже вода в реке стала соленой. И видимого глазу течения в ней не наблюдалось. Так что из реки получилась вроде как бы море.

Слух о чудесных изменениях в атмосфере нашего города ушел очень далеко от наших мест. Земляки, кто поехал отдыхать в Крым, на Кавказ и в Прибалтику, мигом вернулись в родные края да еще и привезли с собой курортников, отдыхающих и любопытных со всех концов нашей необъятной Родины. Молодцы.

Я тут сразу, конечно, сдал свою жилплощадь коечникам, и они у меня проживали, платя по рублю за ночевку, веселя и радуя меня.

Но недолго это мое веселье продолжалось, потому что как-то раз меня вызывают куда надо и говорят:

— Мы прослышали, что вы, Евгений Анатольевич, занимаетесь неблагоприятным делом, то есть пускаете за плату рубль в сутки отдыхающих коечников. Это, конечно, соответствует действительности?

И недружелюбно на меня смотрят.

А я отвечаю:

— Так им же очень хочется спать. А потом, что же мне еще делать с целью увеличения заработной платы? Глотки, что ли, резать? Вы же знаете, что я последнее время работаю на низкооплачиваемой должности парикмахера бани номер два.

Смеются и говорят так:

— Да вы, оказывается, и газет не читаете?

— А зачем я их буду читать? Мне и так жарко. Видите, жарница какая.

Опять смеются и ласково так:

— А вы почитайте. Авось что-нибудь да и получите. Мы вас просто обязываем.

И приносят мне подшивку всех наших городских газет за истекший месяц.

Я читаю и вижу, батюшки светлы, в каждом номере по одному моему рассказу, а в некоторых сразу по два. Я ведь рассказы пишу в свободное от бритья и стрижки время.



Подсчитал — сто восемь рассказов.

— Господи! Товарищи! Да я и не написал столько! Товарищи!

— Написали! Написали! Евгений Анатольевич, ступайте получать кучу денег — четыре тысячи двадцать один рубль.

— Господи! Товарищи! Да что же я делать-то буду с такой уму непостижимой суммой?

— Думаем, что вы найдете ей достойное применение, Евгений Анатольевич. Мы верим вам. Но первое и самое главное — это мы вам советуем и, если хотите, даже приказываем — гоните взащей коечников. Не позорьте честное имя парикмахера и писателя. Живите спокойно на своей жилплощади сами.

И теперь я живу хорошо. Трачу понемногу деньги. Работаю. Повсеместно уважаем.

Но, однако, я не совсем счастлив. Так уж устроен человек. Все время я с нетерпением жду, когда у науки или у техники дойдут наконец руки и до нашей проблемы. Все-то я не могу дожидаться, когда она объяснит в конце концов причины нашего загадочного и прекрасного случая, а также выявит с достаточной точностью химический состав новой атмосферы.

1969

г. Красноярск



*С большой радостью в душе поздравляю «Октябрь» с юбилеем! Нельзя не видеть, что за последние годы журнал сумел так поставить дело, что наработал себе самое доброе имя далеко не в доброе для литературы время, занял очень заметное — одно из первых — место в литературном процессе.*

*Я лично за несколько лет в «Октябре» напечатал дорогие для меня вещи, рассказы, дневники, ежегодные «блоки», за что, разумеется, благодарен редакции. Вообще приятно сознавать, что с коллективом и главным редактором имею самые дружеские, творческие, товарищеские отношения — автору всегда хочется приходить в «свою» редакцию, где тебя понимают и тобой дорожат.*

*Спасибо, дорогие друзья, доброго вам праздника, желаю и дальше идти своим путем!*

## Камера Мухина

РАССКАЗ

Мухин вырос в детдоме. Когда воспитатель Петрик, молодой, высокий, с туберкулезным румянцем, обходил на ночь спальню, он видел Мухина, укрытого с головой. Это запрещалось, и Петрик, подойдя, подозревая Мухина в чем-то плохом, тряс его кровать за спинку и звал тонким голосом:

— Мухин! Мухин!

— Чего вам? Я сплю! — грубо отзывался Мухин.

Все знали, что Мухин не спит, мальчишеская спальня, радуясь забаве, поднимала голову, и кто-нибудь фискальным писком сообщал:

— Мухин лесочек делает!

Все галдели.

По скрюченной, лежащей на боку фигуре, по вздутому у головы казенному коричневому с зелеными полосами одеялу ясно было: чем-то Мухин занят. Петрик опять тряс кровать — тогда выставлялась черноватая, стриженная наголо голова мальчика с явно не спящими, возбужденными темными глазами:

— Не могу я уснуть, понимаете!

Это звучало как: «Уйди ты! Не трогай меня!»

— Лесочек делает! — опять пищали со стороны. — Лесочек!..

Мухин оборачивался на писк:

— А ты, Жила, получишь!.. Придумали глупость!

Петрик, пожав плечами, удалялся: глупость так глупость.

Но это не была глупость. Мухин действительно «делал» лесочек. Перед глазами его стояла светлая лесная полянка, ярко-зеленая, обставленная молодыми березками и елочками, укрытая лесом, но вместе с тем распахнутая на две стороны, с заросшими сизыми кочками, откуда выглядывали красные глазки земляники. Надо было из березовой коры, из свежей травы все это построить, уместить под выпуклым боком подушки. Не хватало только солнечных пятен и зеленого лесного воздуха.

В тумбочке Мухина уже хранилась одна такая полянка, наклеенная на картон, — даже с земляничками и травой. Но все же это был бледный, сухой

муляж, а Мухину хотелось подлинности. Фаинка, детдомовская девчонка, из другой группы, длиннорукая, нос уточкой и синие глаза, восхищалась: как похоже! Жила, или Яшка Жилин, бледнолицый, белокурый, культурный мальчишка, хоть и ростовский, как все, беспризорник, умел здорово рисовать. Говорил: «Чё ты мучаешься? Мне раз плюнуть — твой лесочек сделать». Брал чистую картонку или фанерку, краски и в самом деле по-быстрому рисовал полянку. Мухин без отрыва следил за картинкой и тонкими пальцами Яшки, за мазками кисточек, изредка что-то подсказывал, хотя видели они полянку вместе и Яшка тоже хорошо помнил каждую березку и кочку. Все так, так, шептал Мухин, и свежая трава ложилась, как надо, и небо просвечивало меж елок. Так, вон медным отсвечивает одинокая сосна, правильно, вон веером торчат резные папоротники, тоже, молодец, схватил, годится. Фаинка, которая также наблюдала за Яшкой, дышала сзади, переводила дух. Все так, хорошо, хотелось сказать Мухину, но он не мог: все-таки все лепилось в одно пятно, хотя и чувствовались в размыве рисунка в целом и свет, и зеленый лесной воздух, все не дающиеся Мухину. Не такой был подлинный лесочек, все же не такой. Нужно, чтобы точно...

Камера нашла Мухина — или он ее — на базаре. По воскресеньям (ярмаркам) базар кипел народом, мужиками, бабами, городскими хозяйками и кухарками, красноармейцами, монахами, нищими, детворой. Но главное — станичниками. Стояли возы, телеги, лошади, волю, деревня везла в город муку, мясо, сало, капусту, яблоки, мед, кровяную колбасу, вяленых лещей и воблу, вино в огромных бутылках с глубокими пробками. Детдомовские шныряли здесь, как свои, бабы узнавали их по сизым курточкам и платьям, давали кто яблоко, кто рыбину, но ребята больше хватали сами, что хотели.

Возле входа, где стоял милиционер в парусиновой фуражке, с кобурой на поясе, находилась будочка фотографа Абрама Морковского, вроде деревянного сортира. На двух шестах рядом висело полотно с нарисованным морем и кораблем: одно круглое окно корабля было вырезано — желающие заходили сзади, вставляли в дырку голову, и Морковский, старый, сутулый еврей с серо-рыжими вьющимися кудрями, отбегал к своему аппарату. Из камеры спереди торчала трубка, но фотограф прижимал лицо сзади, накрывал свою голову и камеру черным платком и делал снимок. Черная камера держалась на трехногом лакированном штативе, наконечники упирались в землю.

Сколько в году воскресных дней? Семьдесят?.. Значит, семьдесят раз и еще трижды по семьдесят в воображении Мухин ошивался на базаре возле будки Морковского. Готовился. Думал.

Как-то Абрама Морковского пригласили в детдом сделать одну общую фотографию — всем на память. Пока Морковский ставил свою треногу, крепил сверху камеру, вся детвора и взрослые располагались пирамидальным полукругом на ступенях фасадной лестницы своего старинного красавца дома, доставшегося беспризорным после богатых сахарозаводчиков Коломийцев. Кому не хватило места на ступеньках или сбоку, легли внизу прямо на землю, у ног директора, завхоза, Петрика, которым вынесены были из дома специально в первый ряд стулья. Мухину тоже досталось лежать внизу, в пыли. Вот Мухин лежит, вот Жила к нему головой, ногами в другую сторону. Между ними — как же без нее? — Фаинка, глаза выпучила, в платочке, Жиле сзади двумя пальцами рожки делает. Над ними — завхоз Ганна Максимовна, как бочка, и тощий Петрик. Мухина потряхивало нервное напряжение, он готовился.

Дело шло к вечеру, сумерки туманили небеса. А когда не хватало света, Морковский вздымал в левой руке штуковину с магнией, кричал: «Шпокойно! Шнимаю!» После чего штуковина взрывалась ослепительным огнем.

Так было и на этот раз. Все замерли, Морковский зарядил магний, показал руками «шпокойно!» и укрыл себя и башку аппарата черным платком. Свет польхнул, Морковский крикнул «готово!», и тут же Мухин вскочил на колени, на

ноги и через две секунды был рядом с фотографом. «Идея! Идея! — бормотал на ходу, как не раз бормотал на базаре.— Идея! Вперед!» Морковский снял камеру, словно голову отделил от деревянного лакированного тела, и подал прямо в руки подскочившему Мухину, вроде: поддержи, мальчик, минутку, пока я треногу соберу. Черный платок свисал с плеча фотографа, как шаль, сизый нос и лоб блестяли потом. Здоровая черная коробка оказалась странно легкой, Мухин обнял ее руками и сразу побежал. Не к воротам, а в сторону, к углу дома, за которым начинался сад, а дальше — спуск к оврагу. «Идея! Идея!» — продолжал он бормотать на бегу.

Позади кричали, тоже бежали мальчишки и девчонки и вся дирекция. Скоро Мухин угадал за собою задыхающегося Петрика, летевшего скоком на длинных ногах.

— Мухин!.. Мухин! — орали разные голоса.

Мухин летел без страха и тяжести.

Перед ним словно еще горел огонь вспышки и маячила сутулая фигура фотографа, передающего ему в руки камеру. Он унесся от всех, затаился до ночи в овраге.

Откуда взялись таланты Мухина, кто были его мать-отец, родичи? — так никто и не узнал. Но в том, что он особенный, не сомневались. Так была устроена мухинская голова, мухинские черные глаза, что он видел все. Может быть, только орлы или соколы обладают таким цепким взором. Жадность жгла его, не хватало названий для всего, что он видел. В небесах, на земле, вдали, вблизи впитывающие глаза одинаково склонялись над бегущим уличным ручьем со всем его сором, над белеющей в траве протоптанной дорожкой к муравейнику, кишашей наползающими друг на друга насекомыми, над кучей свежих яблок лошадиного навоза, над щелями пола, над сырым пятном земли от поднятого камня — в личинках, червячках и жемчужных пятнах плесени. Багровое лицо и босые ноги старухи с кошелкой семечек и сами семечки, их веселое сыпучее множество, и стакан, которым старуха отмеряет, могли занимать внимание Мухина по нескольку минут. Все годилось, все вызывало жадный мухинский интерес. Жадность, одержимость, восторг и даже любовь ко всему на свете — вот что такое был Мухин. Мало этого, ему необходимо было самое интересное, самое необычное взять с собою, попробовать потом воспроизвести, оставить себе, как лесочек в тумбочке. В себе, у себя, под своим одеялом, в уме, в душе. Он сам ощущал свою особенность, откуда-то знал, что может и должен совершить нечто необыкновенное, быть выше всех. Оттого бывал напорист и груб. И вообще в меру уродлив для гения: приземистый, круглоголовый, с некрасивым азиатским лицом, неприятным взглядом, редко поставленными во рту зубами. В те годы зачитывались Уэллсом, Жюль Верном — возможно, фантастика тоже влияла на его предопределение. Он знал свой путь.

На другой день бедняга Морковский пришел в детдом просить назад свою камеру. Сидели на тех же ступеньках парадной лестницы, сильно нагретых с утра июльским солнцем. Хмурый Мухин, Жила с блокнотом и карандашом в руках — по привычке что-то рисовал, унылый, недовольный Петрик как представитель администрации, согнутый старик Морковский, изнывающий от жары. Он то утирал с затылка пот белой шляпой-панамой, то расправлял ее на колене, обтянутом тоже белыми брюками, вроде сушил. Поодаль, конечно, торчала Фаинка, вытягивая нос, прислушивалась.

Морковский говорил:

— Вы не знаете, что это за аппарат. Таких больше нет на свете. Я купил его у одного волшебника в Стамбуле. Представьте, я бывал в Стамбуле, плавал с контрабандистами. У меня много таких друзей, они называют себя рыбаками и живут в Херсоне, но, если я скажу им слово, они придут и отрежут вам всем головы.— Он посмотрел при этом на Петрика, который не выглядел самым храбрым из всех.

— Я не боюсь,— тихо сказал Мухин.

— Вы, мальчик, просто не знаете, какие несчастья может принести вам аппарат. Он испортит вам жизнь. Я хочу честно предупредить. Что вы собираетесь делать? Вот в чем вопрос.

Мухин ответил:

— Вы не поймете, вы просто фотограф. Ваши снимки плоские и пустые.

— Мои снимки плохие?

— Нет, но они пустые, понимаете? Я хочу сделать другие.

— Какие? — Морковский снял панаму с колена и промокнул ею лицо.

— Объемные,— ответил Мухин, удивив всех и себя самого этим словом.

Удивил и обрадовался, будто только сейчас понял, чего же он хочет. Он увидел свою полянку, свой лесочек, которые, как он надеялся, могут быть сначала заключены в камеру, а потом вынуты оттуда, пусть в уменьшенном, но в абсолютно полном виде, до последней травинки и ягодки: должен получиться кубик вроде стеклянного, но не стеклянный, а будто студень, желе, и там все целое, в полном объеме. Потом уже ничего не стоит закрепить, сохранить форму, иметь кусок природы, как бы запаянный, как древняя мушка или ракушка в куске янтаря. Возможно, что именно янтарь или какой-то другой материал, смола, например, и нужны для такого закрепления.

Мухин, жестикулируя, помогая пальцами и мимикой, старался объяснить, о чем речь.

Жила — Мухин видел краем глаза — рисовал нечто подобное, кубик или вроде того, у себя в блокноте.

— Объемно не выйдет,— вдруг трезво сказал Морковский. Он опять был в панаме и, чуть отогнув ее поле, рыжим, склеротическим глазом поглядел на Мухина.

— Почему? — спросил Мухин.— Вы ж сами говорите: волшебный аппарат.

— Это факт,— ответил Морковский.— Но оптика не та. Верните мне вещь. Я видел в моей жизни изобретателей, мне не надо...

— Я сделаю.— Мухин был упрям и упорен.

— Он точно сделает,— вдруг влезла со стороны Фаинка.

Бедный Морковский обливался потом, его серо-рыжие кудри на шее потемнели.

— У вас что,— обратился он к молчащему Петрику,— есть кружок изобретателей?

Ему не ответили. Тогда Морковский мирно сказал:

— Если вы хотите насчет оптики, надо ехать к Ивану Васильевичу.— Он опять вытирался панамой.

— К кому?

— К Болдыреву Ивану Васильевичу, в станицу Тарновскую. Он знает.

— Я сам все сделаю! — опять упрямо сказал Мухин.

— Не сделаю, а испорчу! — Морковский начинал злиться.— Я категорически требую,— это уже было обращено к Петрику,— вернуть мою вещь! Хотите милицию? Сейчас вам будет милиция.

— Мухин! — позвал Петрик для порядка.

Мухин ответил:

— Я не отдам. Я сделаю! На спор?

Тогда Морковский натянул поглубже свою панаму и встал.

— Сегодня же поеду в Херсон,— сказал он.— Я привезу своих ребят.— Он ткнул Мухина в плечо.— Вы узнаете, что они делают с такими изобретателями! — Ребром ладони он ударил себя сзади по шее, будто отрубая голову, а потом пальцами чиркнул еще и по горлу.

— Мухин! — простонала Фаинка.— Мухин!..

— Когда я сделаю, узнаете — Мухин, Мухин!

— Ну смотри! — сказал Морковский.— Когда-нибудь пожалеешь.

У Ивана Васильевича Болдырева большая белая борода, как у Льва Толстого, такая же распоясанная рубаха до колен, белые порты заправлены в

хромовые хорошие сапоги. Изба у них большая, чистая, с террасой и высоким крыльцом. Молодая женщина, дочка или невестка, подала кувшин с вишневым узваром и глиняные кружки. Беловолосый мальчишка лет пяти цеплялся за ее юбку, канючил или ползал по крыльцу, вверх-вниз, пока ему тоже не налили в кружку питья, и он так с кружкой и исчез. Было жарко, мухи зудели, и по станичной улице валялись в горячей пыли поросята.

На чисто выскобленном деревянном столе, сдвинув к краю кувшин и кружки, Иван Васильевич раскладывал свои картинки. Некоторые были вставлены в толстый, желтой кожи альбом — надо было переворачивать страницы. Втроем сидели тесно по одному краю стола, чтобы виднее: сам Иван Васильевич, Мухин и Жила. Мухин мало понимал в фотографии, но здесь и понятий особых не требовалось; снимки отличались красотой, чистотой, и в них было главное для Мухина — глубина, объем. Например, чтобы снять группу людей, как снимались, к слову, на лестнице, всех положено было расставить в ряд, в одной плоскости. У Ивана Васильевича сразу, компактно, взят его дом, крыльцо, и на крыльце куча народу в разных позах: кто стоит, кто сидит, кто глядит с терраски — бабы, мужики в картузах, дети, старухи. Всех видно, все на своих местах, полностью. Или, например, хоровод за околицей, человек пятьдесят, не меньше: девки в длинных юбках и платочках, нарядные парни в сапогах, — а далее еще река, другой берег, небеса.

Жила сказал:

— У вас прямо настоящие картины, Иван Васильевич, перспектива.

— А как же! — отозвался старик. — В чем мой и фокус. Так-то еще никто не делает, погляди, где хочешь.

— Да, я такого не видел, — согласился Жила, — только в живописи.

Мухин, не выпуская одного снимка, хватался за другой, глядел, чуть не прижимая к глазам.

— А если четыре взять и вот так, коробочкой, сделать? — спросил наконец.

— Зачем четыре? — Иван Васильевич как будто понял. — Три хватит. — Он взял три фотографии, с помощью Мухина удерживал их стоймя.

— Нет, одну и ту же, — сказал Мухин, — коробочкой. Чтоб как замерла натура.

Жила вмешался:

— Как тебе натура замрет? Все движется.

— Оно так, — сказал старик, — мы природу на один миг держим. Как же еще?..

— Не понимаете вы! — упирался Мухин. — Можно. Замрет — и все.

— Это ты кино, что ли, хочешь? — спросил старик. Похоже, не понимал Мухина.

— Да не кино! Натурально! Стоп — и оно мое.

Дед почесал под бородой, вздыбив ее кверху, помотал недовольно головой.

— Что значит «мое»?

Разговор иссякал от непонимания.

Мухин хотел спросить, как фотография закрепляется, какие составы нужны, но не знал еще таких слов, как эмульсия, закрепитель. Он все равно упрямо думал о своем, и фотографии Ивана Васильевича убеждали его: можно сделать. Надо дальше думать.

Лодка была красавица. Чисто белая, остроносая, с тупой кормой, была привязана у самого конца мостков, идущих с берега в реку. Желтая, глинистая вода летнего Дона тихо качала ее, пестря и украшая множеством солнечных водяных бликов. У носа, на обоих бортах, голубела на белилах надпись: «Альбина». Вдоль всего причала болтались на цепях и привязях другие лодки, черные, серо-деревянные, обычные, «Альбина» стояла среди них королевой. Это Файнка высмотрела и привела к ней ребят. Мухин пожирал лодку глазами. На двухколесной тележке привезли камеру. Теперь надо было на руках перетащить ее сюда. Мухин долго выбирал место, правильный ракурс: чтобы взять лодку всю цели-

ком, сверху, сияющую, с белыми скамейками, с брошенными внутри белыми веслами.

— Жила! Давай!..

Файнка осталась на берегу — держать тележку оглоблями вверх. Жила принес сначала заготовленную табуретку, потом они с Мухиным перенесли и укрепили на табуретке камеру. Мухин навел объектив, стараясь выдержать выбранный ракурс.

— Ты чего такой? — спросил его Жила, потому что Мухин был хмур и недоволен. Предчувствовал, что не выйдет, — не фотография же ему нужна, как у деда Ивана Васильевича, а всё.

— Пойми, нужен такой материал, — сказал он Жиле, — там внутри, в камере, чтобы не просто пластинка, а куб, объем. Чтобы взять целиком — с водой, воздухом.

— Это можно только красками, — ответил Жила, — вдохновением. Искусство — не слепок, а фантазия.

— Искусство — сделать вещь, как надо, — упирался Мухин. — В тютельку.

— Это ремесло, калька. — Жила тоже упирал на свое. — Художник несет добро.

— Нахвтался ты со своими художниками. Добро еще тут при чем?..

Файнке наскучило ждать.

— Ну вы лодку-то забыли, что ли? — вступила она. — Снимайте, а то вечерет.

Мухин почти ослабевшей, неверящей рукой нажал спуск. Не выйдет. Не готов он пока к тому, что хочет.

Назад в гору, волоча на тележке камеру, все трое поднимались недовольные. Тем более что Мухин видел, как Жила, достав свой блокнот, несколькими штрихами успел изобразить лодку вполне натурально. Файнка тоже заглянула в рисунок:

— Ой, Жила! Здорово!

И покосилась еще на Мухина: мол, а ты-то что, Мухин?

— Загубит тебя, Муха, жадность, — сказал ему потом Жила.

— Не похоже надо, а чтоб мертво застыла! — Мухин упорно продолжал думать о материале: стекло, что ли, отлить особое, глину какую найти?..

Спустя годы, когда появились полимеры, а Мухин уже работал на заводе в Киеве, он стал делать свои пластиковые, из полимеров, кубики, где впаянными жили то дерево, то кусок железной дороги с будкой обходчика, то четырехкрылый самолетик, виденный им на параде. Он добился своего, этот упорный, невестель Мухин: он изображал натуру как есть, он брал себе и наслаждался потом всем, что ему падало на душу, нравилось, с чем не хотел он расстаться.

Однажды, уже в Москве, Мухин попал на выставку художников. На плакате было сразу несколько фамилий, и среди них Жилин. Выставка проходила в двух небольших залах на Кузнецком мосту. Прежде других людей и картин Мухин увидел Файнку. Такая же длиннорукая, длинноногая, со своим носом уткой, но классно одетая, с прической, она сидела при самом входе на пуфике бархатном, нога на ногу, поматывая полуснятой туфлей: красивая желтая туфля на каблуке, должно быть, намучила ногу. Вскочила, стала захивать ногу, прыгая неуклюже, завопила бесцеремонно: «Мухин!» — и потащила его к группе мужчин, которые в особь от других зрителей стояли в стороне, переговаривались или чуть поругивались.

— Муха! — так же без церемоний завопил один из них, несомненно, Жила, но тоже классно одетый, в цветастом свитере, в темных очках, лет сорока, с небольшой бородкой.

Он повел Мухина смотреть чужие и свои художества. Кое-что Мухин узнавал: здание детдома, кусок базара с возом, запряженным волами, на котором сидела, свесив толстые ноги, баба в белом платочке, длинную фигуру Петрика. Это было знакомое, хотя нарисовано что углем, что коричневой одной

краской. Но были там и другие картины: море и купающиеся люди, горы, горная бурная речка с перекинутым через нее висячим мостом; много разных детей, женских лиц, старухи и старики. Попался всего один генерал в орденах на фоне танка, какой-то окоп, заваленный солдатней, то ли спящей, то ли убитой.

— Ты на фронте был? — спросил Мухин.

И Жилин кивнул: мол, само собой. Несколько портретов — Фаинка: то в длинном черном платье, то в цветной шали, то вовсе голая со спины у какого-то деревенского умывальника. Мухин оборачивался к ней, идущей следом: ты, что ли? И Фаинка гордо кивала: а кто же?..

Всюду у нее были голубые живые глаза. Мухин и забыл давно ее глаза.

И еще одна картинка привлекла его: у длинных мостков, на рыжей речной воде красовалась белым лебедем лодка. С голубым названием: «Альбина». Как же он лодку-то сумел? Столько лет! Без натуры, по памяти?.. Наконец они остались одни, потом вышли на улицу, на солнышко.

— А ты-то как, Мухин? — спросил Жилин. — Я вроде где-то читал: один чудак изобрел полимерные панорамы. Как живые. Может, ты лесочек свой сделал?

Мухин криво усмехнулся: конечно, сделал. И лесочек он сделал, и еще сто лесочков, и пустынь, и озер, и что хочешь еще.

— Где ж это все? — влезла по своей привычке Фаинка. Сама с вопросом глядела на Жилина.

— Как где? — ответил Мухин. — У меня.

И перед глазами возникли его дачный домик, пристройка, сарай, все набитое его кубиками, его натуральными частицами природы, дорог, городов, домов. Люди, правда, никогда ему не давались, люди, собаки, всякие птицы и другая живность. На минуту взяло искушение: позвать Жилу с Фаинкой сейчас с собой, посадить на электричку или в такси, повезти к себе, пусть посмотрят.

Но после этой выставки, где толпился народ, охали, ахали, чего-то обсуждали, ему не захотелось допускать их в свой одинокий, хотя и переполненный мир. Не поймут. Да еще, не дай Бог, посмеются. Он отдал камере все: деньги, годы — не пил, не ел, не гулял, не отклонялся никуда. Они думают, только у них чувства, цвет, свет, импрессия, экспрессия. Таких мастаков были на свете тыщи. А кто придумал, кто нашел материал, который, как фото-пленка, берет на себя свет и в себе оставляет застывшим? Что там врал в детстве старик Морковский про стамбульского волшебника? Кто сделал камеру волшебной? Он, Мухин. Им признание нужно, слава, разговоры, хвастать друг перед другом. Мухину это не нужно. Все его картины с ним. Он не хвастал, не продавал, никому не угождал. Он сделал, ребятки, сделал.

Теперь, когда Мухин видел чужие картины, скульптуры, фотографии, даже просто снимки в журнале или газете, он прежде всего замечал недостатки: в цвете, воздухе, перспективе, пропорции. Всюду были ошибки, плоскости, выдумки, ненужные фантазии. Каждый совал в натуру себя, свое пресловутое настроение, то самое добро, о котором говорил когда-то Жила. Зачем? Будто мир и без того, без них не полон, не насыщен чем угодно. Наиди, что тебе нравится, покажи — что еще нужно? Вы просто не дошли, не доперли до такой техники, как он, Мухин, и повторяете один другого с древних времен. Лодка «Альбина» хороша сама по себе, ничего больше не надо. Возьми ее, останови — и наслаждайся. Нет, правильно Мухин не повел их к себе: они шли другим, своим бедным путем. Взорвались бы от мухинского богатства.

Мухин летел в командировку в Америку, в Хьюстон. Народу на рейс набралось много, больше всего по виду мексиканцев, а может, кубинцев, чернокожих. Еще при контроле вышла у него стычка с какой-то дамочкой — уж эта была точно наша. Волокла штук шесть длинных заграничных сумок, никак не хотела две сдавать в багаж и столкнулась на этой почве с Мухиным. Он вез за-



крытый, запечатанный со всех сторон широкими скотч-лентами ящик со своей камерой и еще одну всего сумку через плечо. Просил ящик взять в кабину, и ему разрешили, прилепили бирку. Вот мадам и взбеленилась: почему ему можно, а ей нельзя? Она лопотала по-английски, держалась нагло, а Мухин всего-то сказал: «Научный аппарат, стекло». Правда, у него и командировка была на научную конференцию, а у этой фифы неизвестно что. Уже в салоне, отыскивая свое место, он боялся опять с ней столкнуться. Но так, конечно, и вышло: вообще места оказались рядом. Ящик Мухина и одну ее сумку стюардесса пристроила где-то при входе, на полу, а другую змея волокла через весь проход, а потом стала упихивать наверх, в открывающийся ящик. Изгримасничалась, желая мимикой показать, чтобы Мухин ей помог. Но Мухин держался, помня, что у советских собственная гордость. Она показалась Мухину знакомой. Меньше всего в жизни имел он дело с женщинами, никогда не был женат, как-то он считал, что вообще они ему не нужны.

Когда-то, еще в детдомовские времена, он пытался заигрывать с той же Файнкой. Если бегали, устраивали возню, он старался подобраться к ней, схватить за грудь или между ног, но она или орала бешено, вырывалась, или преследовала потом своим хохотом и голубым, но таким злым взглядом, что в другой раз не полезешь. А позже вообще прилепилась к Жиле, вместе они уехали в Ростов учиться — так у них и осталось навсегда. Ну и шут с ней, у Мухина все равно не вышло бы остановить ее, запечатать в свой кубик. Не больно-то и хотелось.

У дамочки были рыжие в завиток волосы, изрядный зад, крючковатый нос и чуть навывкате рыжие глаза. Вместо шляпы нахлобучен на волосы какой-то войлочный колпак. Вот по колпаку он и догадался. Когда они сели в кресла рядом, она сдернула его с уже почти мокрой от пота головы и шлепнула себе на колени величиной с ведро. Мухин тут же увидел перед собой никакую не дамочку, а старого Абрама Морковского, фотографа.

Пригладевшись, убедился: кудри точно такие, глаза, еврейский нос и акцент тоже.

— Будемте уже знакомы,— начала она, когда взлетели.— Я вижу, вы русский?

«Ну, не еврей же»,— хотел ответить негалантный Мухин, но просто негалантно не ответил.

— Меня зовут Софья Марковна,— без смущения продолжила соседка.

«Сара Абрамовна тебя зовут»,— сказал про себя грубый Мухин, но грубо же сделал вид, что принял к сведению: мол, хрен с тобой, мне-то что.

— Вы до Хьюстона? — Мадам, видать, не привычна была молчать, ей все было надо.

«Посмотрела бы на билет»,— про себя ответил суровый Мухин. Она все-таки хоть таким образом втягивала его в беседу.

— Наверное, вы инженер,— продолжила она.— В Хьюстоне много наших, Хьюстон — город нефти и полимеров.

По затрапезному (праздничному) костюму Мухина, старому галстуку и ботинкам инженера определил бы в нем и ребенок, не такая делегация.

— Мой муж тоже по нефти, мы раньше жили в Баку, уже восемь лет, как переехали.

«Да застрелись ты со своим мужем!» — вынужденно отвечал про себя нелицезный Мухин.

— Если вам захочется отдохнуть в семье, что-нибудь узнать, приходите к нам, вот.— Она отбросила какой-то особый клапан своей большой сумки, порылась и прямо под нос Мухину сунула визитную карточку.

Невежливый Мухин даже руки не протянул. Но она положила карточку ему на колени.

— У нас чудный дом, вы увидите, бывает много русских.

«Знаем, каких русских»,— естественно щелкнуло в ответ у Мухина. Карточку он, однако, перенес в карман: карточка была пластиковая, не шутка, интересная.

— Могу я поинтересоваться, что такое в вашей коробке? Если вы имеете интересный проект, муж познакомит вас с директором своей фирмы.

«Мало нам своего жулья!» — отметил Мухин.

— Вы не представляете, как с этим у них трудно.

«Ты мне еще про херсонских контрабандистов расскажи», — вдруг вспомнил и хотел брякнуть Мухин. Вспомнил, как Морковский потной рукой рубил по шее, а потом показывал, как перережут ему горло.

Интересно бы ее спросить: куда он подевался, старый Абрам?

Она продолжала:

— Почему, вы думаете, мы уехали? Из-за политики? Зачем нам политика? У меня дети. Но в Баку, на своем производстве, когда муж хотел сделать хорошее рационализаторское предложение — тонны нефти можно было взять сверх плана! Вы знаете, что это такое, — так они всегда клали его предложение под сукно и говорили: иди, гуляй! У него набралось шесть рацпредложений, можете представить?.. Кстати, вы не изобретатель? Мне просто хотелось вас предупредить. Надо входить в курс дела.

«Хоть бы мы вошли в штопор, — подумал неблагодарный Мухин, — и ты заткнулась».

Но это было не в ее характере.

Стюардессы стали развозить обед, давали незнакомые Мухину двойные корбочки с разной любопытной снедью, потом наливали в стаканчики вино. Морковкина — так окрестил мадам добрый Мухин — все равно продолжала свое:

— Тогда мой Роман, это мой муж, извините, сначала сказал мне, а потом пошел и сказал им: «Я возьму свои шесть предложений у вас в обратную сторону и уеду с ними в Америку. А вы потом кусайте себе пальцы».

«Как же, грызть тут будем без тебя!» — за хорошо знакомых ему начальников ответил Мухин, опережая соседку.

Она добавила:

— Эти хамы сказали: «Сам погрызи, езжай хоть в задницу!..» Тогда я ему сказала: «Роман, в чем дело? Надо ехать. Тебе здесь все равно не светит, это уже ясно. Почему не попробовать? Вдруг ты станешь богатый, уважаемый, человек?»

«Как же! Шас!» — пронеслось у Мухина. И не зря. Морковкина, успевая обгладывать наполовину золотыми зубами куриную ногу, обернутую по косточке для удобства бумажкой, продолжала:

— Приезжаем. Люди помогают устроиться на фирму. Рома сразу идет к главному. Вот у меня рацпредложение. Можно накачать еще сотни тонн. И что вы думаете? Главный говорит: мы качаем достаточно, нам больше не надо. У них нет плана, понимаете?

Только в этом месте Мухин наконец заинтересовался и спросил:

— И что?..

— Что! Что! — прямо затрепетала дама, услышав вдруг голос Мухина. — Зачем мы, скажите, ехали?..

«Хрен вас знает!» — подумал грубый Мухин.

— Человек поехал, чтобы осуществить свои идеи! В Америку! Где каждый день — вы слышали об этом? — внедряется миллион изобретений! И что?.. Умные люди сказали: «Роман, плюнь, пойди в другую фирму, предложи там». Он пошел — и что? Тут же позвонил первый шеф, пригласил к себе: «Вам мало денег? Мы дали вам три тысячи, дадим четыре, только не ходите к конкурентам». Но, вы думаете, вторая фирма схватила его с руками? Нет, они тоже сказали: «У нас хорошо идут дела, нам не надо ничего улучшать». Бедный Роман! Зачем он ехал, зачем его исключали из партии?.. Так что вы подумайте, если вы что-то имеете интересное, мы найдем вам людей.

Она не давала ему вникнуть в обед, сама тоже бросила еду, только вылавливала мокрыми пальцами черную маслину из салата.

— Мы вам поможем, — говорила она, — приходите. Посмотрите, за два года мы сделали дом.

И Мухин все же оказался в этом доме. Очень приличный двухэтажный особнячок с внутренним садиком, где стояли пластиковые белые кресла и круглый стол, а спереди палисадничек с зеленым газоном, с цветами. Три комнаты наверху, три внизу. Гараж, конечно, машина, бассейн позади двора. Все, как положено в Америке. Мухину понравилось, он решил прийти в другой раз с камерой, снять, оставить домик себе.

А пока он попал на «парти», американскую вечеринку или ужин. Везде толпился как бы знакомый народ с бокалами в руках, с кусочками закуски, натканной на специальные палочки. Хозяйка всех «угощала» новым гостем: вот знаменитый изобретатель из России, новый человек, надо ему помочь.

Гостями были в основном мужчины. Русские, похожие на евреев, и евреи, похожие на русских, стройные, в усах и бабочках бакинцы, похожие на мексиканцев, и мексиканцы в таких же усах, костюмах и галстуках-бабочках. Господа были явно преуспевающие, но разговор все время крутился насчет того, какое здесь сволочное начальство, почище нашего, и бардак тоже. Из болтовни Морковкиной все поняли, что Мухин не в командировку приехал на конференцию, а тоже хочет устроиться, имеет свой личный, хитрый интерес. Откормленный щекастый хозяин Роман в дорогих очках, с золотой цепью на шее, с толстым перстнем все время пытался выяснить, что ж такое Мухин привез, предлагал свести его с какими-то деловыми людьми, надо понимать жуликами. Хозяйка привела детей познакомиться с дядей из России: девчонку лет тринадцати, похожую на мамашу, и увальня-мальчишку, такого же щекастого, как папа. У мальчика были длинные рыжие кудри, нос крючком, сутулая спина, и Мухин тотчас узнал в нем его дедушку, старика Морковского. Мальчик говорил по-русски и позвал Мухина на задний дворик поиграть в пинг-понг. Там стояли два хороших стола для игры, и Мухин от скуки и нечего делать стал прыгать с ракеткой, играть. Девочка судила. Вид мальчика всколыхнул в Мухине былое, хотелось расспросить, знает ли мальчик своего деда и где он, жив ли вообще. Мальчик не знал и на толстых ногах побежал расспрашивать у матери.

Потом были ужин, выпивка, вечер, Мухин удивлялся, что они ни черта не смотрят телевизор, хотя телевизоров стояло по дому штук пять, даже новости не включают. Над заливом еще горел закат, вдали, в городе, засияли огнями небоскребы. Все вышли прогуляться по берегу, и Мухин опять отметил, какой складный, уютный у них особнячок — обязательно надо взять такой себе, в свои богатства.

Второй день ушел на конференцию, а на третий, увидев там Романа, Мухин решил. Роман все зазывал поехать к ним в гости.

— Хорошо, о'кей! — сказал Мухин. — Только заедем на минуту в гостиницу. Возьму одну вещь.

Мухин вспомнил отчего-то проклятия старика: какие такие несчастья принесла ему камера? Глупый старик! Говорил, испортит мне жизнь. Чем? Тем, что у меня вся жизнь ушла на эту камеру, чтобы создать ее? Все время, деньги. Жил в нищете, но добивался, чего хотел. И добился. И имел все, на что только падал глаз.

Заехали в отель. Камера была вложена в настоящий кожаный кофр, специально сшитый, длиной примерно в метр, в полметра высотой. Несли вдвоем, за ремень и ручку, и дорогой Роман, конечно, вроде своей прилипалы-жены спрашивал: что да что?

— Сейчас увидишь, — ответил наконец Мухин уже в машине. — Приедем, сниму ваш дом, будет, как натуральный.

Впервые в жизни Мухину захотелось раскрыться, показать себя, получить хоть какое признание — пусть и от этих мало интересных ему людей. Но Роман все же свой брат, изобретатель, он не сможет не понять. И Мухин уже воображал, как он сделает снимок, как на глазах Романа извлечет из камеры кубик с их особняком, как будет этот малый в золотой цепи и с перстнем ахать, охать и за-

видовать Мухину, поражаться его камере. Мухина просто овеивало предчувствие триумфа. Сейчас наступит его минута. Пусть потом донесется до всех этих художников: американцы падки на всякие чудеса, понапишут в газетах — глядишь, дойдет и до нас, почитают Жила с Фаинкой. Словом, он решил и приготовился. Звездный час отщелкивал последние секунды.

Роман не знал и не понимал, в чем секрет.

Приехали, остановили машину подальше, почти на берегу. Пока Мухин вынимал и налаживал камеру, укреплял на штативе, Роман побежал в дом сообщать новость. Морковкина, приодевшись в белый брючный костюм, вышла с обоими детьми, стала на фоне дома у задней калитки.

Было часов семь, и над заливом еще догорал закат, и клубились высокие облака. Нужна была хорошая вспышка. В другом кофре у Мухина были лампы и аккумулятор, но он по старинке не верил этой технике, зарядил магниевую вспышку.

Когда все было налажено, ему послышалось или он сам крикнул: «Шпокойно! Шнимаю!» — но семья и без того стояла замерев, с испуганными глазами.

Все! Мухин нажал спуск, магний жажнул, будто мина, и тут же в самом доме тоже что-то ярко сверкнуло, взорвалось, и прямая, круглая труба пламени вылетела из крыши. Повалил дым. Хозяева кинулись в разные стороны. Мухин стоял в оторопи, не умея даже шевельнуть своим гениальным мозгом, сообразить, что и как могло случиться.

Примчались сразу пожарные, полиция, «скорая помощь».

Мухина забрали и увезли. Хозяева поехали следом.

Из камеры извлекли потом мухинский кубик-снимок. Следователь в штатском принес его Мухину в ту камеру, в участке, куда Мухина пока заперли.

— Что это? — спросил следователь.

Мухин крутил в руках твердый пластиковый кубик и ничего не понимал: ни дома, ни людей, ни небес не было. Даже столба огня. Вился только бело-черный дым.

Все, что досталось Мухину.



### Анатолий РЫБАКОВ

---

*Поздравляю редакцию журнала «Октябрь» с юбилеем!*

*Истекишие 75 лет были сложными, трудными, часто трагическими годами нашей истории. Таковы они были и для журнала. И все же старейший русский журнал двадцатого столетия выжил, существует и, надеюсь, будет существовать. Ряд опубликованных на его страницах произведений останутся в нашей литературе.*

*Журналу я обязан двумя публикациями. Роман «Водители» — мой дебют во «взрослой» прозе и роман «Тяжелый песок», привлекивший внимание широкой читающей публики. Печатание «Тяжелого песка» во времена, когда тема эта запрещалась, было мужественным поступком «Октября» и его главного редактора. Другие журналы мне возвращали рукопись.*

*Были неизбежные в работе недоразумения, конфликты, но сейчас, когда я держу в руках журналы тех лет, меня охватывает то же волнение, которое я испытывал, получая первые сигнальные номера.*

*От всей души, от всего сердца желаю сотрудникам журнала энергии, успехов и веры в лучшее будущее — она никогда не должна покидать нас.*

Ноябрь 1998

### Анатолий НАЙМАН

---

*Мои представления о советском периоде журнала «Октябрь» сводились к тому, что это оплот застывшего идеологического цемента и казарменного стиля и его можно не читать и о нем не думать. Пока там не напечатали Владимира Максимова — «Семь дней творения» — и я пробормотал: «Хм, «Октябрь»-то...» Десять лет назад, в эпоху уже новую, я принес сюда свою прозу, и через три дня Ананьев пригласил меня обсудить возможную публикацию ее журнального варианта. Я был настроен решительно, слушал главного редактора и еще двух членов редколлегии настороженно и хотел, чтобы их условия мне не подошли. Они не подошли, но и Анатолий Андреевич, и остальные, и горячий чай, и то, что говорилось о литературе вообще, и все вместе — понравилось.*

*В течение последнего десятилетия я постоянный автор этого журнала. Он продолжает мне нравиться. Он ведет дело по-честному и не занимается литературным политиканством. Номера его бывают один лучше, другой хуже, но он не выдает плохое за хорошее. Он не говорит о себе в первом лице: вот мы, «Октябрь», то-то, и на нашем знамени начертано сё-то, и прошибает ли вас, авторов, торжественность момента от того, что ваше сочинение тиснуто на наших страницах? Он просто заинтересован в авторах так же, как авторы в нем, а ничего лучшего, по моему разумению, в журнальном деле еще не придумано. Именно поэтому, занимая свое постоянное место в коротеньком списке ведущих «толстых» журналов современности, он не упускает из вида список более отдаленный и более широкий, тот, в котором значатся и «Современник», и «Отечественные записки».*

### А. А. ТАХО-ГОДИ

---

*Я имею все основания назвать вас «дорогие коллеги». Ведь я филолог, то есть тот, кто любит слово. Вы тоже с любовью относитесь к слову, а значит, вы мои коллеги, мои товарищи.*

*Судьба самым неожиданным образом (а судьба только так и делает) свела меня с вашим журналом. И тут же мелькнула мысль: а почему я знаю что-то очень хорошее и важное об этом журнале по имени «Октябрь»? Да ведь этот журнал пе-*

читал много лет дневники М. М. Пришвина, чья супруга, Валерия Дмитриевна, была ученицей (еще в двадцатые далекие годы) и другом А. Ф. Лосева. Ну, тогда это серьезно, тем более что была у меня для журнала нигде не печатавшаяся проза философа Алексея Федоровича Лосева.

Редакция — и в первую очередь Ирина Барметова — отнеслась ко мне внимательно, тепло (что теперь большая редкость), с полным пониманием и деликатностью. Напечатали лосевский рассказ «Мне было 19 лет...». А дальше опубликовали изящную композицию (ее умело выстроил Виталий Пуханов) из сложной ткани «Дневников» Лосева, переданных мне в 1995 году из ФСБ, куда они попали еще при аресте А. Ф. в 1930 году и где пролежали в заключении 65 лет. А дальше неутомимые труженики «Октября» стали готовить к печати юношеский роман А. Ф. в письмах — женику свидетельство стремлений молодой трепетной души.

А дальше... Горизонты расширяются...

Как же не поздравить с почтенным юбилеем журнал «Октябрь»... С почтенным, но отнюдь не указывающим на старость. Да какая это старость — 75 лет? Для меня, как ученого, погруженного в тысячелетия бездн античности, 75 лет — только одно из мгновений вечности. А в древнегреческом языке слово «вечность», как полагал А. Ф. Лосев, опираясь на этимологические разыскания современных крупных лингвистов, указывает на непрерывное обновление и молодость. Так будьте же молоды, и не только в 75 лет, дорогие хранители слова журнала «Октябрь», будьте благоденственны и успешны в наступающем третьем тысячелетии!

## Эльдар РЯЗАНОВ

Так случилось, что журнал «Октябрь» оказался моим крестным поэтическим отцом, а Инна Назарова, работавшая и тогда, в 1983 году, ответственным секретарем, и Ирина Барметова, тогдашняя заведующая отделом поэзии, стали крестными матерями.

Я проник в журнал с папочкой стихотворений, которые сочинял «в стол» лет эдак около шести, можно сказать, «с улицы». Произошло это весной 83-го. Конечно, я был в ту пору уже довольно известным кинорежиссером, но стихотворца во мне никто не подозревал. В «Октябре» я никого не знал, кроме Инны, с которой мы познакомились в 1964 году, когда «Молодая гвардия» публиковала наш первый с Брагинским опус «Берегись автомобиля».

Итак, просочившись в здание «Октября», я оставил в редакции двадцать стихотворений. И стал ждать решения своей поэтической участи. Ждать пришлось, как сейчас помню, долго. Мои вирши распечатали и разослали членам редколлегии. Я же в это время вовсю готовился к съемкам «Жестокого романа», был занят и вел себя, как мне кажется, деликатно — в редакцию не звонил, не спрашивал...

И наконец свершилось! В 10-м номере журнала за 1983 год были опубликованы восемь стихотворений и одна короткая эпиграмма. Помню, когда сотрудники редакции спрашивали меня о заголовке, я скромно предложил: «Восемь с половиной», имея в виду количество напечатанного. Когда же я распахнул журнал и увидел оригинальное название «Эльдар Рязанов. Из лирики», у меня попросту не нашлось слов. Но я быстро утешился — ведь так называют обычно подборку стихов маститого поэта...

Для меня эта публикация была крайне важна. Формально я как бы переходил рубеж от рифмоплета-графомана, коих в нашем Отечестве несть числа, к поэтам-профессионалам. Я трепетно ждал откликов. Любых, причем в первую очередь я был готов к разносным. Но где-то в глубинах своей поэтической души, конечно, надеялся: «А вдруг кто-нибудь и похвалит?!»

Действительность превзошла все мои ожидания. Откликов не было никаких. Нигде и никогда. Ни в одном печатном органе не появилось ни строчки, не раздалось ни одного телефонного звонка. При встречах я напрасно взглядывался в лица собеседников — было ясно, никто из них не подозревал, что разговаривает с ПО-ЭТОМ!

Причем это было время, когда «толстые» журналы читали, а у «Октября», руководимого Анатолием Ананьевым, была очень добротная репутация, так что

утешаться тем, что журнал непопулярен, не приходилось. Короче, появление нового поэта осталось незамеченным...

*Не было ни фанфар, ни, слава Богу, улюлюканья.*

*Служенье муз не терпит суеты,  
Прекрасное должно быть величаво.*

*Это не мои строки, но я с ними согласен.*

## Константин ВАНШЕНКИН

Когда я только начинал, в Москве было три «толстых» журнала: «Знамя», «Новый мир» и «Октябрь». Почему я перечисляю их в таком порядке? Ну, во-первых, по алфавиту. А во-вторых, потому что именно в такой последовательности я начал в них публиковаться. Тогда острили: под «Знаменем» «Октября» — к «Новому миру». Если же снять с этих слов кавычки или, как заметил поэт, их «оголеть», они совсем уже превращались в праздничный лозунг. А вообще-то я почти ровесник «Октября» — именно этого, в кавычках. Мы долго жили, не зная о существовании друг друга. Когда я впервые пришел в редакцию, она размещалась еще в самом комбинате «Правда», на втором этаже.

Я печатался в «Октябре» несколько десятилетий, однако во вторую часть этого срока значительно чаще. Раньше у меня было ощущение какой-то его тягучести, рыхлости. При Кочетове ничего не предлагал. Тогда я написал в неопубликованной пародии на Вознесенского: «Журнал «Октябрь» — анти-«Новый мир».

Наиболее колоритным из бывших редакторов вспоминается Федор Панферов. Сейчас его почти забыли, как и его книги. Но поблизости от того места, где я живу, есть улица Панферова. Почему? Говорили, что он завещал все свои последующие гонорары родной партии, и это произвело на нее сильное впечатление. Завещать-то завещал, но ведь гонораров не было — его сочинения не переиздавались. Зато улица осталась.

Вокруг него чуть не непрерывно возникала атмосфера скандала. Критика откровенно издевалась над его романами и пьесами. Одновременно он получал Сталинские премии и вел себя, как хотел. То он, выступая в нетрезвом виде, официально призывал незамужних женщин побольше рожать, то распространялся о якобы имевшихся у него высоких родственных связях, чем смущал писательское руководство, не знавшее, что с ним делать... Зато он с удовольствием помогал молодым, щедро и широко поддерживал никому не известным.

Однажды, когда я еще не печатался в «Октябре», меня пригласили в редакцию вместе с поэтами — авторами журнала. Некоторых даже вызвали из других городов. На длинный стол для заседаний подавался отлично заваренный чай, стояли блюда бутербродов с колбасой, икрой, севрюгой, вазы с «мишками» и «трюфелями». Сам главный сидел отдельно, у своего редакторского стола, и, отвинчивая крышку, наливал себе темно-золотистый чай из большого термоса. Я обратил внимание на то, что над горловиной термоса не появляется парок. Зато Федор Иванович все более багровел после каждого стакана. Разговор велся о журнальных планах. Потом расчувствовавшиеся стихотворцы медленно расходились.

...Естественно, я не ставил перед собой задачи назвать в данной заметке наиболее мне понравившееся из открытого журналом. Но нельзя же хотя бы не упомянуть дневники М. Пришвина или прозу В. Гроссмана. Думаю, в этом юбилейном номере мне будет притворительно напомнить также, что в «Октябре» не раз печаталась моя жена Инна Гофф, которой, увы, уже восемь лет нет на свете. И уже без нее здесь появились последняя ее столь необычная работа «Долгий век» и публикация «Из записных книжек», за что я искренне благодарен редакции.

## Михаил ЛЕВИТИН

*Во-первых, привет!*

*Так обращайся друг к другу в двадцатые годы, когда появилась на свет первая книжка журнала. Обнадёживающее и звонкое слово «привет», такое немного фальшивое, рабоче-пролетарское, расстрелянное слово...*

*Привет вам, работники журнального фронта!*

*Во-вторых, дорогие товарищи!*

*Так говорили в шестидесятые, когда дорогие товарищи печатали всякую страшную дрянь и были поносимы — употребим это отвратительное слово — всеми честными, интеллигентными людьми.*

*А теперь я скажу вам: любимые.*

*Все последние десятилетия вы были для многих любимыми, потому что старались не предавать саму идею «толстого» российского журнала, этого очкастого увальня нашей литературы, который закрывает за собой дверь, садится в кресло, включает настольную лампу и остается наконец с правдой наедине.*

*Спасибо вам за то, что не стали снобами и не боитесь взглянуть на литературный процесс без пристрастий и концепций.*

*На ваших страницах можно размышлять, но можно и рисовать непредвзято и свободно, как рисовали великие художники нашего века на салфетках и спичечных коробках.*

*Как хорошо, что вы отличаете эти вдохновенные рисунки от житейского мусора!*

*Привет вам, дорогие товарищи, любимые создатели лучшего в мире журнала «Октябрь»!*





# Публицистика и очерки

## «Бывают странные сближения...»

**Валерий ПИСИГИН**

*Я в литературе новичок (если, конечно, то, о чем я пишу, можно назвать литературой), не разбираюсь в жанрах и формах произведений и уж тем более ничего не смогу сказать о значении «толстых» журналов, об их общественно-политической и духовной направленности и о прочем, что, видимо, необходимо знать, прежде чем твоя рукопись окажется в той или иной редакции. До последнего времени для меня «толстые» журналы были отличимы лишь внешне, точнее — своими обложками. Даже названия их я научился различать не сразу. Но вот один из журналов печатает одну мою книгу, вторую, третью, считает меня своим автором, приглашает в поездки и зовет на свои редкие торжества в редакцию. Наконец, там мне просто рады. Более того, со мною в этом журнале, что называется, возятся: бережно относятся к моим текстам, терпеливо — к капризам, с пониманием — к честолюбивым планам и намерениям, не предпринимая особенных попыток изменить или улучшить мои тексты или меня самого. Словом, меня здесь понимают или по крайней мере стараются понять, и это привлекает меня к «Октябрю». Увы, я не могу гарантировать, что такое сотрудничество растянется на последующие 75 лет, но если еще хоть на немного — я и тому буду рад.*

## Две дороги

...Какова история возникновения Святогорского монастыря? Между Вороничем и Святыми Горами есть деревушка Луговка, стоящая на речке Луговице. Сейчас деревню и речку можно проехать, не заметив. Тем более если находишься в ожидании встречи с Михайловским и Тригорским, названия которых у всех на слуху. Но когда-то именно тут находился посад Воронича, в то время крупного города. Сохранившиеся летописи сообщают, что где-то здесь, у речки, отрок Тимофей (ему было пятнадцать лет) пас скот. Коров, коз или кого-то еще — неизвестно, но не это важно, потому что более значительные события заслонили собою эту частность.

В один из выпасов Тимофей увидел над холмом парящий в небе образ Божией Матери Умиление. Юноша был набожным, исправно посещал церковь и узнал икону, перед которой не раз стоял на коленях в воронической приходской церкви. Не успел подумать, откуда икона здесь, на холме, как услышал глас, к нему обращенный: «Прииди по шести летах на Синичью Гору и узриши благодать Божию». Было это летом 1563 года.

Другой бы поднял шум, раструбил об увиденном и услышанном, но не таков был воронический пастух. Обо всем этом он скромно умолчал, а по прошествии шести лет, когда ему стукнуло двадцать один, пошел в означенный час за несколько верст к Синичьей Горе.

Тогда это была одна из невысоких гор, на которой росли сосны, трава и больше ничего. «Что же за благодать мне будет явлена?» — только и думал Тимофей, раздвигая заросли и карабкаясь по склону Синичьей Горы. Не успел взойти, как вновь увидел икону. На этот раз — Божией Матери Одигитрии. Прислоненная к со-

сне, она сияла в лучах солнца, которые пробивались сквозь ветви. Тут уж, конечно, Тимофей понял, что это неспроста. Прямо здесь, возле иконы, он соорудил шалашик и прожил в нем сорок долгих дней в постоянной молитве. Чем питался Тимофей все это время, летописи не сообщают. По прошествии сорока дней от иконы Божией Матери Одигитрии был глас, который повелел ему объявить о сем видении в Ворониче, «дабы священство и народ пришли в пяток, по неделе всех святых, с иконой Умиления Божия Матере (той, что явилась ему шесть лет назад) из Воронича на Синичью Гору».

Вернулся Тимофей в Воронич, где его уже хватились: куда, мол, запропастился, нехристь?.. А он такое рассказал, что и не знали: верить или нет? Думаете, в те времена все просто решалось? Это в летописи сказано, что, услышав рассказ Тимофея, все «поидоша со святыми иконами на Синичью Гору», а на деле было куда сложнее. Попробуй докажи нашему начальству и народу, что где-то там, на горе, всем надо собраться в означенный час да еще принести с собою икону из приходской церкви. Думаю, было много разбирательств, пока пришли к решению, что надо все же идти. А уж самого Тимофея терзали будь здоров. Не исключено, что и пороли для острстки. Но он упрямо твердил: «Истинно реку, узрел Богородичную икону на воздухе, в неизреченном свете и слышал глас!»

Что делать? Собрались, приоделись. Впереди духовенство с иконой «Умиление», чуть сзади — народ. И Тимофей здесь же. Все на него косо поглядывают. Особенно престарелый священник: ноги и так не ходят, а тут вон куда тащиться приходится, версты четыре...

Дошли до Луговки, до того места, где шесть лет назад было первое видение пастуху... И вдруг этот самый старик священник почувствовал, что ноги совсем не болят. Поцупал — нет боли! И настроение сделалось таким радостным, что готов идти хоть на Афон. Поведал спутнику, идущему рядом, а тот: «И у меня под лопаткой кололо, а сейчас (перекрестился) не колет!» И все, кто шел в крестном ходе, почувствовали себя вполне здоровыми и исцеленными... Вот это да! Ускорили шаг, на отрока уже не глядели с подозрением, а сам он был веселым и гордо шел возле иконы, и никто его отгонять не решался. Так дошли до самой Синичьей Горы, и уже на самой Горе исцеление продолжалось. Никто даже уходить оттуда не хотел. Наоборот, кто-то помчался в Воронич, разнес слух. Из Воронича и окрестных селений люди устремились на Синичью Гору: и больные, и здоровые, и просто любопытные. Никто не хотел остаться в стороне от происходящего чуда. Тем временем крестный ход начал петь молебен Господу Богу и Его Пречистой Матери, а когда приступили к чтению Евангелия, «вдруг осветил гору неизреченный свет и воздух наполнился необыкновенным благоуханием». И тогда все увидели икону Божией Матери Одигитрии, стоящую «при сосне». Некоторые бросились к иконе, чтобы взять ее, но не тут-то было. Икона, сияя и сверкая, поднялась в воздух и долгое время неподвижно висела, удивляя народ, который, пребывая в восторге и страхе, успевал лишь креститься и причитать. Все взоры устремились к Тимофею: мол, давай, блаженный, прими икону Богородичную. И, как только Тимофей приступил, она сама к нему спустилась. Прямо в руки. Ай да Тимофей! Вот так пастух!

Вскоре дошли слухи и до князя Георгия Токмакова, наместника Государя в Пскове. Забот у того — полон рот: литовцы, поляки, свои. Но все же бросил дела и помчался в Воронич: не приведи Бог, дойдет до царя помимо него, обвинят во всех грехах, а там, глядишь, и голова с плеч. Прибыл на место в окружении челяди, сейчас бы сказали «региональной элиты»... Вызвал все местное начальство, духовенство и давай расспрашивать: что и как? Кто вылечился? Кто остался калекой? Привели исцеленных. Князь их осмотрел, ощупал. Действительно, вроде все здоровые.

«А где этот ваш, как его?»

«Тимоха-то? Сейчас будет».

Привели Тимофея. Перед тем приодели, помыли, причесали... Посмотрел на него Токмаков:

«Ты с коленок-то встань».

Встал Тимофей, и наместник увидел перед собою крепкого молодого человека, невысокого роста. Одет он был в белую рубашу с красными ластовками, порты мужицкие с бахромой; на ногах берестовые поршни; пояс — красная лента, закинута через плечо, в руках большая с широкими полями соломенная шляпа. «Из цыган, что ли?» — подумал Токмаков, глядя на кудри пастуха, но выводов никаких делать не стал. «Мы-то что — люди маленькие. Есть Государь, — Токмаков перекрестился, — пусть он и решает». С этими мыслями он сел на коня — и скорее в первопрестольную, прямо к царю.

Ну а царем в те времена у нас был Иван Васильевич, по прозвищу Грозный. Гуманит еще тот. Но очень набожный. Как сказали бы современные историки, «противоречивая личность». Токмаков и не знал, покинет ли царские чертоги живым. И не донести о произошедшем тоже нельзя. Чуть что — «сепаратизм» пришьют, а этого чужеродного слова начальники на местах боялись больше, чем обвинений в измене.

В приемной псковский воевода прождал недолго, недели две. Наконец вызвали. Прошел охрану, помощников, советников, уже перед самой царской дверью столкнулся лицом к лицу с Малютой: «Ну и рожа!»

Долго не выходил Токмаков из царских покоев. Думали, что уже и не выйдет... Все же показался. Ни живой, ни мертвый, только и делает, что крестится. Товарищи спрашивают шепотом:

«Ну, как? Государь поверил?»

«Кто ж его знает?»

«Сильно допытывался?»

«Еще как! Поначалу ничего, даже посохом плечо слегка задел — знак доброго расположения, а потом, как прознал, что пастух наш на цыгана похож да кудрявый... Пришел во гнев».

«И что дальше? Дальше-то что? Говори, не мучь!»

«Потом Государь задумался, нахмурился, посмотрел мне прямо в очи, да как спросит: “А пастух твой случайно не виршеписец?”»

«А ты чего?»

«Господи, да откуда ж я ведаю: сочиняет Тимофей вирши али нет? На всякий случай сказал Государю, что нет, токмо Лазаря с нищими поет. Тогда Государь успокоился и велел еще раз все перепроверить, а уж потом только объявить царскую волю».

«Так какова же воля-то Государя?»

«Царь сказал, что, мол, ладно, Юра, было видение отроку. На том и порешил».

Шел 1569 год. Иван Грозный как раз в это время замышлял довершить разгром Новгородской и Псковской республик, хотел стереть память об их вечевом устройстве и для этого готовился потопить в крови свободолюбивых граждан и их духовенство. Поэтому псковского воеводу, чтобы тот ни о чем не догадался, трогать пока не стал. «Придет его час,— думал Иоанн.— А еще один святой в тех землях нам не помешает».

Вот как было, согласно летописям и прочим исследованиям. На Синичьей Горе было решено поставить часовню для прихода и совершать крестный ход с иконами на праздник Покрова Пресвятыя Богородицы. А иконы Умиления и Одигитрии поместить в эту часовню и гору впредь именовать не Синичьей, а Святой.

Вскоре вместо часовни здесь был воздвигнут храм Успения Божией Матери и основан монастырь. Вокруг монастыря со временем образовалась слобода Тоболенец. А на месте первого явления иконы Божией Матери Умиления поставлена часовенка, названная Луговской.

...Простояв еще некоторое время в Покровском приделе Успенского собора, я вышел, осторожно закрыв за собою массивную дверь. Девушка продолжала молиться. Так я и не увидел ее лица.

На выходе слышу жалобный стон. Это старушка в крошечной тьме никак не может сойти со ступенек. Я предложил ей взять меня под руку. Так мы потихоньку пошли к ступеням, чтобы спуститься со Святой Горы. Маленькая старушка изо всех сил держалась за меня, и я чувствовал, как она напряжена.

Я спросил, как ей живется.

— А как надо Господу, так и живем. По-божьему,— услышал я тихий, высокий и жалобный голосок, почти стон. Она смотрела под ноги, хотя едва ли что-то видела. Все мысли ее были заняты одним: как бы не упасть.

— Чего же Он хочет? Чтобы мы все померли? — спросил я, вспомнив дневные встречи и разговоры.

— Этого не Господь хочет, а власть.

Мы подошли к крутым ступеням и стали осторожно спускаться. Одной рукой бабушка облокотилась на перила, другой — продолжала крепко держаться за меня. Слева осталась могила Александра Сергеевича.

— Значит, власть против Господа? — рассуждал я.

— А она всегда против Господа... Если б хоть коммунистов там не было.

— Так уже их и нет, а все равно плохо.

— Да есть они еще, есть. Никуда не делись.

— Не любите коммунистов?

— Я люблю божьих людей... А коммунистов не люблю,— ответила старушка и едва слышно засмеялась.

— Кто же эти «божьи люди»?

— Есть избранники божьи, есть, миленький мой. За них-то нас Господь еще и терпит, а то давно уже надо бы погубить. За них-то еще и живем как-то.

— Где же они?

— Где они? А везде! Посмотри, они и тут есть.

Мы спустились со Святой Горы, и старушка меня отпустила. Я уже направился к выходу, но услышал, что она спрашивает мое имя. Старушка подняла голову, и я увидел ее живые, сияющие глаза, светлое, в морщинках лицо. «Зачем ей мое имя?» — удивился я и, в свою очередь, спросил, как зовут ее.

— Мария, — тихонько, с едва заметной улыбкой ответила старушка.

Сколько раз слышал это имя, сколько женщин с таким именем встречал, сколько смотрел на иконы, изображающие Пречистую Деву... Помню, в юности несколько часов кряду восхищался Ее божественной красотой во Владимирском соборе Киева. Уходил, возвращался и как вкопанный стоял перед алтарем... Но никогда до сей минуты не задумывался о самом имени. И вот, услышав его здесь, у крутой лестницы, ведущей на Синичью Гору, благодаря видению отроку Тимофею ставшую Горой Святой, понял, что нет на свете имени красивее.

...О, Пресвятая Дево Мати Господа, Царице Небесé и земли! Вонми многоболéзненному въздыхáнию душ нáших, при́зри с высоты святя́я Твоея на нас, с верою и любовио поклоняющихся пречи́стому образу Твоему́. Се бо грехми погружа́емии и скорбьми обурева́емии, взира́юще на Твой образ, яко живей Ти сущей с нами, приносим смиренныя молéния наша. Не ймамы бо ни инья по́мощи, ни инáго предстáтельства, ни утешéния, то́кмо Тебе́, о, Мати всех скорбящих и обремененных. Помози́ нам немощны́м, утоли́ скорбь нашу, наста́ви на путь пра́вый нас, заблужда́ющих, уврачу́й и спаси безнадежных, да́руй нам прбче́е время живота́ нашего в мире и тишине проводи́ти, подаждь христианскую кончи́ну и на Стра́шном суде́ Сына Твоего явися́ нам, милосе́рдая Засту́пница, да всегда поём, велича́ем и славим Тя, яко благо́ю Засту́пницу рода христиа́нского, со всеми угоди́вшими Богу. Аминь.

### 9 ноября. Понедельник

Наконец-то из гостиницы съехали туристы. Всю ночь они гуляли, веселились, что-то выясняли, бегали из номера в номер, мешая читать, думать, наконец, просто спать.

Встреча с бывшей учительницей русского языка и литературы была назначена на одиннадцать часов, а до этого я решил вымыть свою машину. Мне посоветовали доехать до ближайшей котельной, где есть горячая вода. Возле котельной я застал средних лет мужика. Одной рукой он откручивал какой-то вентиль, а другая находилась в кармане, и было неясно, есть ли она у него вообще.

Я попросил пару ведер горячей воды, но кочегар объяснил, что с этим я опоздал, так как воду он только что слил.

— Как это слил?

— А туристы уехали, и мы горячую воду отключаем, — не глядя на меня, пояснил кочегар.

Подозревая худшее, я помчался к гостинице.

— У нас что, горячую воду отключают? — с порога спрашиваю администратора.

— Да, а что? Туристы ведь уехали.

— Но как же я? Я-то куда не уехал?

— У нас приказ, по которому горячую воду подаем, когда заселяется больше двадцати человек. Могу документ показать, — спокойно объяснила администратор, роясь в папках с документацией. — Мы ведь не можем из-за вас одного топить котельную.

— Да какое мне дело, один я или нет! В конце концов я заплатил деньги! — Мою возмущению не было предела.

— Что вы мне все это высказываете? Есть приказ начальства. Мы-то что? — Администратор наконец нашла приказ, на который я даже не взглянул и теперь жалею, потому что знакомство читателей с этим документом придало бы нашему повествованию дополнительный вес.

— Где ваш начальник? — грозно спросил я, намереваясь вытащить его на свет Божий.

— Дома. Где же еще? Сегодня по стране выходной, — ответила администратор, а я представил карту самой большой страны в мире и вспомнил полуразрушенную и безлюдную деревню Большое Опочивалово, на пути из Новгорода в Санкт-Петербург. Хорошее название для страны...

— Небось дома у него горячая вода есть... Дайте его телефон! — Я чувствовал себя в авангарде развернувшейся борьбы с коррупцией и привилегиями.

— Кто вам сказал? — удивилась администратор.— У нас в поселке ни у кого нет горячей воды. Ни у начальства, ни у простых людей. Может, только если газовые колонки кто поставил.

— Как это нет горячей воды?

— А так. Нет — и все! — Администратор без злобы смотрела на меня, как на свалившегося... нет, даже не с Луны — с Марса.

— Так почему же вы не возмущаетесь, не протестуете? — Теперь я представил себя во главе мощной демонстрации пушкингорцев, протестующей против произвола местного чиновничества.

— Так уже отвозмущались, толку нет.

— Эдак вам и свет отключат, если не будете отстаивать свои права,— учил я администратора политграмоте.

— А его и так время от времени отключают,— добродушно ответила администратор, давая понять, что для жителей это не такие уж серьезные проблемы.

Я чувствовал себя уже не жертвой начальничьего произвола, а заживевшим и опухшим столичным баринком, который требует каких-то особенных условий, привилегий, удобств, в то время как народ корчится от лишений. И где я себя так веду? В святом месте, у могилы Пушкина! Чем же я отличаюсь от застрявшего в лифте крупного чиновника? Так тот был членом ЦК! А я кто?

Еще и получаса не прошло, как я радовался отъезду туристов, теперь же готов был простить им все, только бы остались еще на пару-тройку дней. Ну как обойтись без горячей воды в холодном гостиничном номере?

...Вспомнил Торжок, куда как-то приехал в холодный осенний день. Там тоже беда с горячей водой, светом и прочими коммунальными удобствами. Но, сколько бы я ни причитал, на что бы ни сетовал, меня как заезжего литератора сразу же вежливо отправляли к Пушкину.

Скажем, отключается свет. Я ругаюсь, а мне говорят: «А что, твой Пушкин при свете писал? Тогда и электричества не было. И не ныл, а зажигал лучину или свечу, садился и писал. И как писал! “Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился...” Помните?» После таких слов я уже об электричестве и не вспоминал.

Или нет в гостинице горячей воды. Я возмущаюсь, но меня начинают стыдить: «А твой Пушкин что, в горячих ваннах мылся? По утрам выходил во двор; там, в Михайловском, была большущая бочка, он кулаком разбивал лед, залезал в эту бочку и купался. И никому не жаловался. Зато “Евгения Онегина” написал! Помните? “...И отправлялся налегке к бегущей под горой реке”.

Иногда случалась невкусная и грубая еда. Я начинаю жаловаться, но меня останавливают: «Твой Пушкин что, разносолами баловался? Нет. Он любил картошку в мундире, а если еще была к ней квашеная капуста, так ему больше ничего и не надо... “Бориса Годунова” на черной икре да на балыках не напишешь!»

Или, поному, замерзал в гостинице, даже под тремя одеялами. Пожаловался. Мне тут же с укором говорят: «А Пушкин? Он, может, под батареями дремал? Тогда отопления не было. Няня натопит печку, он и сидит тихонько целыми днями, трагедии “маленькие” пишет. Закончит “маленькие” — берется за “большие”. А если жара, то так разморит — не до трагедий!»

Простыни и наволочки дырявые? Ответ готов: «Твой Пушкин и не на таких спал. И не жаловался. Мало ли чего в дороге бывает! Вот Соболевский, дружок его, вечно был недоволен, дескать, грязь, клопы, тараканы, наволочки не те, пододеяльники дырявые, а Пушкин на все это не обращал внимания. Весь был погружен в творчество. Ему было не до тараканов».

Так меня осаждали повсюду, в разных местах, разные люди, откуда-то зная и про бочку со льдом, и про картошку в мундире, и про то, на каких пододеяльниках и наволочках спал Пушкин, словом, про все на свете, давая мне понять, что уж если наш национальный поэт, наша гордость, наша любовь, слава и Солнце, все это терпел, не придавая житейским трудностям особого значения, то мне, из себя невесть что представляющему, надо бы сгореть от стыда и молчать. Тем более что народу нашему вон как плохо...

Все же администратор пожалела меня и порекомендовала местную баню. По ее словам, баня в Пушкинских Горах очень чистая, хорошая, оборудованная, есть там и парилка, и шайки, и веники, и все что угодно. Просто чудо, а не баня.

— Иду! — обрадовался я.

— Куда! Она работает по субботам,— охладила меня администратор, и без того замерзшего.

— Один раз в неделю?

— А сколько надо? Поселок небольшой, одного дня на помывку хватает.

После этого я уже не стал роптать, понимая, что вновь возмущаюсь чем-то таким, чего и не объяснишь.

Вышел из гостиницы. На небе ни одного облачка. Тишина. Воздух! Красота! «Мороз и солнце — день чудесный...» Вспомнился добродушный Михаил Александрович:

«На жизнь не жалуетесь?»

«А чаво на няё жаловаться?»

Ровно в одиннадцать я подошел к маленькому домику, прямо за памятником А. С. Пушкину. Здесь живет Алевтина Васильевна.

Калитка была отворена, и, пройдя несколько шагов до двери дома, я успел обратить внимание на дрова, сложенные вдоль стены. От того дворик выглядит совсем крохотным.

Постучал в дверь. Навстречу вышла стройная пожилая женщина, круглолицая, с немного строгим взглядом. А я предполагал увидеть сгорбленную старушку.

Алевтина Васильевна пригласила меня в дом и усадила за столик в своей маленькой кухоньке. Сама присела напротив. Кроме кухни, есть еще одна комната, куда я не заходил. Бывшая учительница присматривалась ко мне, ожидая вопросов, и, мне показалось, была готова отвечать на любой.

«С чего же начать?» — растерялся я и не нашел ничего лучшего, чем спросить «о жизни».

— Что вас конкретно интересует? Спрашивайте. Может, скажу, а может, и нет.

Голос Алевтины Васильевны уверенный, сильный, под стать ей самой. Сразу видно, что имеешь дело с педагогом старой закалки.

— Что же вы такая сердитая?

— Жизнь меня сделала такой. Я всю жизнь проработала, простояла навытяжку, верой и правдой служила народному образованию. А теперь я кто? Бабуля, без имени-отчества.

Каждое слово, каждая буква, произнесенная учительницей, звучали громко, ясно и выразительно. Ни один звук не пропадал, ни одна нота в голосе не звучала фальшиво или без интонации.

— О вас все очень уважительно говорят.

— А я дорожу народным мнением, — гордо ответила Алевтина Васильевна.

— Вы работали учителем русского языка и литературы...

— Тридцать шесть лет! — не дожидаясь конца вопроса, ответила Алевтина Васильевна. — Учила уму-разуму. Оболтусов из моих учеников не много. В основном все люди достойные. А теперь посмотришь, так жить не хочется.

— Почему?

— Я же вам сказала. Три месяца не получаю пенсию. И все так. По району, по стране... Во время войны немцы разрушили сорок три процента промышленности, а теперь вся она разрушена. Действовали по принципу: «Сначала место расчистим, а потом начнем строить». Только кто же будет строить? Помню, нам, учителям, в шестидесятые годы зачитывали план Даллеса. А сейчас этот план выполняется. Полное расстление молодого поколения. Наше телевидение, радио что проповедуют? Секс, насилие, ложь... Почему ребята такие злые? В наше время, если ученик повысит голос на учителя, считалось серьезным проступком. А теперь учителя посылают на три буквы. Даже Пушкина и то послали...

— Как это «послали»?

— Вы, может, обратили внимание: у нас здесь целыми днями сидят пожилые женщины и продают цветы, чтобы затем купить буханку хлеба. И я тоже бегала за туристами, предлагала цветочки, хотя сама их не выращиваю. У меня нет на это сил, но горе заставило. Как-то пришел автобус, по-моему, из Санкт-Петербурга. Вышла из него молодая учительница. Словно кукла. Все женщины ринулись к автобусу: «Ребята, купите цветочки Александру Сергеевичу!»

И я тоже подошла к одному парню, с папиросой в зубах, и говорю: «Молодые люди, купите, пожалуйста, цветы на могилу».

Как же они осмеивали нас! А этот, с папироской, послал Пушкина на три буквы. Я оторопела и спрашиваю: «В каком же классе вы, молодой человек, так познали русскую культуру?»

«В одиннадцатом», — отвечает он с таким ко мне пренебрежением... Понимаете?

Я ему говорю: «Очень плохо, что вы такую “культуру” знаете». Я встала на защиту Пушкина, а они хохотали и хоть бы один цветочек взяли на могилу. А ведь я са-

ма вплоть до пенсии возила восьмиклассников на экскурсии в Хатынь, и мои ребята всегда покупали цветы, когда шли к мемориалу. А это? Обхохотать Пушкина, да еще в преддверии двухсотлетия! «Зачем же,— спрашиваю,— вы приехали?» «Развлечься!» — отвечает с ухмылкой. Будешь доброй при такой жизни? Меня, конечно, тряхнуло сразу, и я долго не могла успокоиться. Кого мы воспитываем? Это же будущие строители светлого капитализма. Вот какая картина!

Я видел, как Алевтина Васильевна вновь мысленно вернулась к неприятным воспоминаниям, стала переживать, нервничать...

— Вы живете рядом с памятником...

— Да, я живу рядом с памятником,— с подчеркнутой гордостью отвечает Алевтина Васильевна.— Его поставили в пятьдесят девятом году.

— ...что чувствуете? Что исходит к вам от Пушкина?

— Пушкин — наша богатейшая культура. Ее вершина. Это настоящий русский язык. Вот что чувствуешь! А теперь? Так засорили язык! Неужели у нас нет своего языка? Я вот сейчас жгу свои методики...

— Зачем?

— А они никому не нужны. Теперь другое в цене... Вот сборник диктантов. Возьмите и почитайте, что я проповедовала тридцать шесть лет!

Я взял предназначенную для растопки книгу, открыл первую попавшуюся страницу и прочел вслух:

«Великий русский писатель И. С. Тургенев требовал от пишущего человека бережного отношения к языку. Он писал: “Коли пушкины и гоголи трудились и перedelывали по десять раз свои вещи, то уж нам — маленьким людям — тем более. А то придет порядочная мысль в голову, поленишься обдумать ее хорошенько да обделать как следует, и выйдет какая-то смутная чепуха. Учиться писать и говорить нужно всю жизнь. Не только тогда, когда тебя учат, а и тогда, когда ты ушел из стен учебных заведений и, может быть, даже учишь других”»

— Хорошие слова, правда? — Алевтина Васильевна посмотрела мне в глаза.

— Не жгите эту книгу.

— Приходится. Газет у меня нет, я их не выписываю и не покупаю, они дорогие. Чем, скажите, мне растопить печку, чтобы не замерзнуть и не околеть?

Я старался собраться с мыслями и не знал, как продолжать разговор, о чем еще спросить. Наконец попросил Алевтину Васильевну рассказать о себе...

— А мне о себе рассказывать нечего. И зачем? Плакать только. А плакать мне нельзя. Окажусь сразу в больнице. У меня и так высокое давление. Я от этого плохо слышу.

— Сколько вам?

— Шестьдесят восемь. Когда началась война, мне было десять лет...— Алевтина Васильевна начала было вспоминать, но почему-то остановилась и вернулась к бедам насульным.— В канун Дня пожилого человека приносит налог — сто тридцать два рубля! Хотя знают, что я инвалид, ветеран труда, учитель-орденоносец. Говорят, Дума что-то там в «четвертом чтении» не утвердила. Вот если в Думе народ умный, то должны знать, что у нас огороды маленькие и делать севооборот мы не можем. Когда сажаешь все время одну культуру, земля перестает плодородить. Такую плохую картошку собрали в этом году! И потом, я ведь не могу землю обрабатывать сама. Вынуждена кого-то нанимать. А если я картошку не посажу, то нечего будет есть. Картошка — единственная кормилица при такой пенсии.

— А что вы вообще едите?

— Что ем? Не спрашивайте... (Плачет.) Не спрашивайте... Сейчас не спрашивайте... (Алевтина Васильевна рыдает!) Мне, конечно, нужно диетпитание. В советское время, когда копеечка была, я молоко покупала, немного мяса, а сейчас в основном картошка, во всех видах.

— Варите ее? — Чтобы только не молчать, я готов был спросить о чем угодно.

— Само собою. Не сырую же ем... Сейчас я вас лепешечкой угощу...

Алевтина Васильевна вышла в комнату и принесла оттуда тарелку с несколькими лепешками.

— Вот такую лепешечку сегодня делала с утра. Картошка, яблочками начиненная, в тесте. Попробуйте, не чурайтесь.

Голос Алевтины Васильевны стал тихим, спокойным.

— В советское время я получала сто тридцать рублей, а теперь — триста сорок пять. Но если все подорожало во столько раз, то я должна была бы и получать соответственно. Мне ведь нужны лекарства. А в больницу чтобы лечь, надо все оплатить. Там нет лекарств. Представляете? И кого бьют налогами? Пожилых бабулек. Где же тут радость?

— А этот ваш домик? Какая у него история?

— Дом построили после войны, в сорок пятом году. Здесь стоял дом и раньше, но немцы его сломали и на его месте соорудили бункер. Когда бункер разрушили, то наши соседи взяли с него бревнышки, доски и построили этот домик. Прожили в нем тринадцать лет, потом переехали в новый, а нам с мамой предложили этот. Я его купила и после еще восемь лет выплачивала долг. Надо было где-то жить. Наш отцовский дом немцы в сорок третьем сожгли: мне бы его хватило до конца дней.

— Почему же вам не дали квартиру? — спросил я и, видимо, затронул очень болезную для Алевтины Васильевны тему.

Дело в том, что, по советским законам, тех, кто имел свой дом, не важно, где он и в каком состоянии, даже на очередь не ставили. И только в 1985 году, когда вышел Закон о школе, Алевтину Васильевну поставили в очередь на получение жилья. Тем более что домик решено было снести. По плану на этом месте должны были возвести грандиозный парк с водоемами и мостиками, а от научного центра к памятнику должна была проходить аллея к могиле Пушкина. Но началась горбачевская перестройка, пошли реформы, умер С. С. Гейченко — словом, все планы рухнули. В 1990 году, когда еще была жива мама Алевтины Васильевны, им предложили однокомнатную квартиру в общежитии. Эта квартира находилась на первом этаже блочного дома и была так раскурочена, словно Мамай прошел: там во время стройки располагалась бытовка строителей. К тому же учительнице предложили самой делать ремонт. Но это еще что! Главное, требовали сдать дом и огород. Конечно, от такой «чести» Алевтина Васильевна и ее мама отказались. Вскоре мама умерла, так и не пожив в квартире.

Спустя шесть лет Алевтина Васильевна выступила на какой-то важной конференции, где присутствовало большое начальство. Прямо с трибуны она сказала, что не только десятки лет ребят чему-то учила, не только каждый метр земли пушкиногорской ногами промеряла, но еще и руками перебрала: они ведь с учениками ежегодно по полтора месяца копают картошку в хозяйствах района! Удивилось начальство такой несправедливости. Зашевелилось. Приняло решение... Предложили заслуженному педагогу двенадцать метров «служебной» площади. Опять все разрушенное, даже полов нет.

— Представляете, — говорит Алевтина Васильевна, — за всю жизнь я заслужила только «служебную»! Не имею права ни приватизировать, ни сестру прописать — мы хотели на старости лет съехаться, — никого. Поэтому я от такого «подарка» отказалась. А теперь уже и сама куда не поеду, потому что моей пенсии не хватит на оплату коммунальных услуг. Вот так! На зиму надо десять кубов дров. Это две машины. А машина стоит двести пятьдесят рублей. Да еще чтобы расколоть — шестьдесят. Где такие деньги взять? Я ведь ничего не умею делать. Другие вяжут, что-то шьют... А у меня пальцы скованы болезнью, полное онемение ног и рук. Не могу даже зашить что-нибудь. Да еще давление высокое. Будешь ласковой при такой жизни?

— Во сколько вы просыпаетесь?

— В половине седьмого обычно.

— И что делаете?

— Прежде всего зарядку, чтобы как-то встать. Иной раз просто сползаю с кровати, а то и вовсе встать не могу, лежу до десяти. Потом начинаю растапливать печку. Затем надо убирать. Потом, если голова в порядке, почитаю что-нибудь. Летом — в огороде покопаюсь часа два, опять лежу.

— Приходит ли к вам кто-нибудь? — спросил я, неотрывно глядя на хозяйку и поедая картофельную лепешку.

— Заходят иногда родители бывших учеников, бывшие учителя. Но они все — пенсионеры. Им самим туго. А работающие не заходят. Некогда.

— Сами ходите в гости?

— А куда ходить? Родственников у меня нет. Вот тетушка больная была, я навещала. Детей у меня нет. Никого нет.

— Снятся ли вам сны?

— Как ночь, так начинается: то руки, то ноги, то голова, — какие сны? Ходишь из угла в угол, слоняешься. Лекарства нужны, а на них нет денег.

— Расскажите еще про Пушкина.

— Что о нем рассказывать? Вы не меньше меня знаете... В «Борисе Годунове», написанном здесь, в Михайловском, — голос Алевтины Васильевны вновь стал сильным, громким и строгим, — Пушкин обращается к Басманову:

«Не знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?  
Не войском, нет, не польскою подмогой,  
А мнением; да! мнением народным».



— Если бы власти прислушались и хоть немного думали о мнении народном, то по-другому бы себя вели.

В это время на руки к хозяйке прыгнул кот, стал к ней ластиться и громко урчать.

— Вот мой друг любезный — Тишка. Хороший котик. Он со мной коротает время. Видите, у него ко мне любви больше, чем у людей.— Поглаживая Тишку, Алевтина Васильевна впервые за время разговора улыбнулась.

— Надо помнить Пушкина и мнением народным дорожить.— Голос Алевтины Васильевны вновь стал суровым.— У нас в поселке есть такие старушки, что и ходить сами не могут. Анна Васильевна, например, наш бывший школьный бухгалтер. Ей девяносто семь лет! Она совсем одна и не в состоянии дойти до бани. И подвезти некому. «Нет бензина»,— отвечают. А ведь человек немый. Скажите, может она жить?

— Что же нас ожидает?

— Если так будет продолжаться, то пропасть. Если отношение наших начальников к людям не изменится, к тем самым, которые их вырастили, вскормили, защитили, дали образование. А теперь мы люди без имени-отчества. Пропасть нас ждет. Яма.

Я смутно помню, как покинул дом Алевтины Васильевны, как она проводила меня до калитки, как попрощалась. Кажется, бывшая учительница сожалела, что поведала мне о своих бедах. Но слов этих я не слышал: у меня не осталось сил. Я шел прочь в сторону гостиницы.

Кому жаловаться? Как и чем помочь? Гордая Алевтина Васильевна, ее глаза, руки, голос, слезы не выходили из головы, да еще эта картофельная лепешечка... Плачет она нечасто. И вот я вторгся, разбередил и без того кровотокающую рану, расстроил душу своими вопросами и... исчез.

Час или два провел в номере. Приходил в себя. Думал об Алевтине Васильевне и готовился к новой встрече: с Людмилой Павловной, хозяйкой того самого дома, который ближе всех к могиле Пушкина. Валентина Яковлевна, добрая и отзывчивая душа, договорилась, чтобы меня там приняли. Я собрался с силами и вскоре уже стоял на пороге дома номер два по улице Пушкинской.

Вообще я боялся, что не попаду сюда. Много ли сейчас найдется доверчивых людей, тем более среди пожилых, которые согласились бы вот так принять у себя незнакомого гостя, да еще позволить ему задавать всякие вопросы? Но, кроме этого, меня волновало и то, кто живет в самом близком к Пушкину доме.

Дверь открыла невысокая, с тонкими чертами лица пожилая женщина. Одета была в красивую темно-синюю кофту и черные трикотажные брюки: вполне по-городскому. Видно, что она уже меня ждала.

Людмила Павловна провела меня в просторную светлую комнату. Мы сели за большой овальный стол и стали разговаривать, хотя первое время я больше озирался по сторонам, осматривая комнату, и даже попросил хозяйку, чтобы она провела меня по дому. Об истории дома был мой первый вопрос, и вот что я узнал.

До войны на этом самом месте стоял дом, в котором жил священник. Дом сгорел, и долгое время участок вообще никто не занимал. Людмила Павловна и ее муж, Николай Петрович, проживали тогда в другой части поселка. Николай Петрович работал в то время инструктором райкома партии и «играл» с коллегами в так называемую «черную кассу» — некогда популярную игру: сотрудники откладывали часть своей зарплаты и затем вручали эти деньги в дни рождения. Таким образом, можно было одновременно получить относительно большую сумму. В 1957 году подошла очередь Николая Петровича, и он получил сразу тысячу рублей. На эти деньги решили закупить стройматериалы и начать строить. Присмотрели участок. Соседства с Пушкиным не планировали, но так получилось. Ведь место очень красивое. Косогор. С одной стороны — Святогорский монастырь и улица Пушкинская, с другой — дорога, ведущая к церкви и кладбищу. Николай Петрович написал заявление в исполком, и им разрешили строить. Навезли камней и вдвоем начали возводить фундамент.

— У мужа были золотые руки,— рассказывает Людмила Павловна.— Он все умел. И столярное дело знал, и плотническое, и строить мог... Вот печь сам выложил. Он учился в фабрично-заводском училище и, когда началась война, остался в Ленинграде. Пережил блокаду. Я всю жизнь проработала бухгалтером и строить, конечно, не умела. Муж учил меня, сколько надо песка, воды и цемента, чтобы приготовить раствор. Мы все это месили, я подносила, а он этот цемент заливал. Начали строить дом в мае пятьдесят седьмого, а уже через год, осенью, в него въехали. Конечно, по выходным нам помогали родственники и друзья. Жили мы с двумя маленькими деть-

ми. Позже к нам переехали родители мужа, и мы какое-то время жили вместе. А сейчас я живу здесь с сыном.

— Вы рядом с Пушкиным столько, сколько я живу на белом свете. Существует ли между вами связь? И днем, и ночью из окна видите Святую Гору, монастырь... Что слышите?

— Слышу, как народ проходит мимо окон. Большие экскурсии были в советское время. Столько людей приезжало! Из разных концов страны, и зимой, и летом. Особенно в школьные каникулы. Когда праздники, то здесь поют и в форточку все слышно. Помню, приезжал Иван Козловский и пел на могиле Пушкина, а я сидела у окна и слушала.

— А когда ночь и вы под окном спите, чувствуете ли что-нибудь с той стороны? Снятся ли какие-то сны? Пушкин когда-нибудь снился? Вы понимаете, что ближе вас к нему никто не живет? — допытывался я и видел, что Людмила Павловна никак не поймет, чего от нее хотят.

— Мы чувствуем только то, что Пушкин с нами рядом,— спокойно ответила она.— Сны сейчас мне совсем не снятся. У меня неврит слухового нерва, плохо с памятью. Может, и Пушкин снился, да я забыла.

Уезжать из этого дома Людмила Павловна не собирается. Здесь ей нравится. И хотя жить тяжело, все же вдвоем с сыном как-то справляются. В холодную погоду в доме тепло — есть котел, который исправно топится. Перед домом большой двор с хозяйственными постройками, но скотину не держат. На это сейчас нужны большие деньги. У Людмилы Павловны есть еще дочь. Она замужем и живет в Пскове. Есть и две внучки. Одна учится в Санкт-Петербурге, а другая в Великих Луках. Летом все собираются, так что народу здесь бывает много.

С разрешения Людмилы Павловны я осматриваю комнату и гляжу в окна, которые выходят на Пушкинскую улицу. Прямо передо мной мощная стена Святогорского монастыря, выше и левее — Святая Гора с Успенским собором. Стены комнаты оклеены недорогими обоями. Из мебели — традиционный раздвижной диван, два кресла, посреди комнаты стол, за которым мы сидим. Накрыт он оранжевой скатертью. Еще есть в комнате обычный сервант, в нем рюмки, стаканы, чашки и небольшой самовар. Над диваном висит ковер. На стене между окнами — рога лося и барана. Здесь же в комнате сразу два отечественных телевизора.

— Один работает, другой сломан,— поясняет Людмила Павловна.— Сын говорит, что если и этот испортится, то тот, другой, вроде бы легче отремонтировать.

Видимо, что-то в этой логике есть... В комнате круглая печь, та самая, которую выложил Николай Петрович. В углу стоит большое зеркало-трюмо; на тумбочке перед зеркалом — вазочка со сколотым ободком, шкатулка и небольшой портрет А. С. Пушкина. На подоконниках цветы в горшках; на окнах шторы; на потолке дешевая пластмассовая сборная люстра... Мы еще вернемся в эту комнату, чтобы осмотреть небольшой шкаф с книгами. А пока зайдем в спальню. Она примыкает к комнате. Здесь под окном кровать, на которой спит Людмила Павловна. Окно, как и в большой комнате, с видом на монастырь. В спальне находятся швейная машинка, секретер, шкаф для одежды и кресло. На одной из стен портрет отца Людмилы Павловны, на другой — фотография Николая Петровича. Ничего лишнего, ничего изысканного. Вся мебель куплена давным-давно, и появится ли новая — неизвестно.

Мы вернулись в большую комнату, и я принялся разглядывать книжный шкаф. Он меня интересует особенно: что за книги на этой, самой близкой к Пушкину, домашней книжной полке? Есть ли здесь произведения самого Александра Сергеевича, и если есть, то какие?

Однако ничего особенного я в шкафу не обнаружил. Все книги из обычного набора, который бывает во всяком доме. В основном русская классика и несколько книг советских писателей. Зато я сразу же нашел книгу Пушкина. Это — «Стихи, написанные в Михайловском. Лениздат, 1967 год». Из миллионов, десятков миллионов книг нашего великого поэта этот небольшой сборник стихов к нему самый близкий! И пробудись сейчас Александр Сергеевич, бросился бы к книгам и первой увидел бы эту.

«А что, если бы Пушкин действительно оказался живым? Куда бы первым делом пошел? — рассуждал я и сам же отвечал: — В самый ближний дом. Не в монастырь же? Пришел бы сюда, к Людмиле Павловне, чтобы умыться, привести себя в порядок, попить чайку, потом бы уже решал, что делать дальше...»

— Что бы вы сказали, если бы сюда сейчас зашел живой Пушкин? — обратился я к хозяйке дома.

Людмила Павловна засмеялась, на какое-то время задумалась.

— Сказала бы ему: «Живите, Александр Сергеевич, и пишите о нашем крае, о людях, о жизни нашей, такой страшной и тяжелой. Кроме вас, никто уже о нас не напишет».

В конце встречи я попросил Людмилу Павловну взять самую близкую к Александру Сергеевичу книгу его стихов и прочесть свое любимое стихотворение.

Она надела очки и долго листала сборник, выбирая, какое из стихотворений прочесть (все любимые!). Я с волнением ожидал, что же она выберет. Мне казалось, что сейчас от Людмилы Павловны зависит нечто очень важное... И пока она перелистывала книжку, я думал: «Как же все-таки мудро все устроено! Как хорошо, что у этого дома типичная для нашей жизни история, что здесь долгое время жила добрая и обычная семья, и сейчас, без Николая Петровича, продолжает жить Людмила Павловна с сыном; как справедливо, что она не экзальтированная, не возбужденная душа; упаси Бог, чтобы здесь жил такой, как я, потому что мне бы и сны снились «особенные», и историй бы напридумывал разных, и вел бы себя не то чтобы неправедно, но скорее неправдиво. Как хорошо, что Людмила Павловна не пушкинист, не литератор, не краевед, не музейный работник... И вот именно она-то должна сейчас выбрать и прочесть свое любимое пушкинское стихотворение».

Людмила Павловна наконец остановилась на каком-то стихотворении, еще немного на него посмотрела, посетовав, что длинное, потом спокойно, без тени претензий на декламацию, стала читать, и с первых же слов я вздохнул, едва сдерживая слезы, потому что строки эти вмиг пробудили грустные мысли об Алевтине Васильевне, о моих вчерашних собеседницах, о Михаиле Александровиче, о девочке-цыганке, о жизни нашей...

Приветствую тебя, пустынный уголок,  
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья.  
Где льётся дней моих невидимый поток  
На лоне счастья и забвенья...

С детства знал это стихотворение, учил наизусть, представлял воспетую природу, удивлялся глубине экономических знаний Пушкина и, конечно, восхищался непревзойденным пафосом последних строк. Но всего глубочайшего смысла не понимал до той минуты, пока не услышал его из уст Людмилы Павловны. Стихотворение «Деревня» открылось так же неожиданно, как и красота имени Мария, здесь, у стен Святогорского монастыря, у гроба А. С. Пушкина. Всею свое время.

Когда я покинул дом Людмилы Павловны, уже наступил вечер. Я сел в машину, включил музыку и медленно покотился по заснеженной дороге, сначала в Петровское, затем вернулся в Пушкинские Горы и, свернув у гостиницы направо, проехал мимо Луговки к деревне Дедовцы. Оттуда, через Воронич, проехал к Тригорскому. Выйдя из машины, я впервые за последние годы увидел над собою Млечный Путь. Посередине его отыскал созвездие Лебеда — крест из ярких четырех звезд. Помню, мой приятель-критик объяснял, что крест этот всегда находится над Россией и покровительствует ей. Еще он рассказывал о том, что такое в действительности ночь.

Мы, современные жители, скорее всего ночи настоящей уже не узнаем. Все эти глухие деревеньки и селения в старые времена были окутаны полным мраком, такой темнотой, что и не опишешь. Лучина если и светилась в доме, то в двух шагах была не видна, фонарей уличных в деревнях не было, а путешествующий если и ехал в кибитке, то тоже в кромешной темноте. От масляного фонаря много ли толку? Если еще вдобавок небо затянуто тучами, то хоть глаз выколи. И дороги тоже были такими, что не определишь сразу, на дороге ты или уже съехал в сторону. Оттого и радовались всякому огоньку, дорожили каждым лучиком и невольно стремились к нему.

Вот и сейчас вокруг ни души. Времени еще семь вечера, а в окнах деревенских темно. Лишь некоторые тускло светятся. Вскоре погаснут и они.

Что там за жизнь, в этих домах? Чем заняты их обитатели? Смотрят телевизор? Слушают радио? Пьют чай и разговаривают? А может, просто молчат в раздумье о завтрашнем дне? Или о том, что будет завтра, не думают: утро вечера мудренее.

...Знаете, как угощала меня картофельной лепешечкой Алевтина Васильевна? Она вышла из кухни в комнату и достала тарелочку с этими лепешками со шкафа. Значит, готовясь к моему приходу, она убрала их с кухонного стола (где же еще стоять тарелке с едой?) на шкаф, под самый потолок, чтобы заезжий столичный господин не увидел ее скромную трапезу. Почему не провела меня в комнату? Потому что стесняется показать свой убогий быт, точнее, безыгнотность. Может, не столько стесняется, сколько стыдится. Не за себя и даже не за страну свою. Стыдно за время, в которое ей приходится доживать свой век. За страну ей скорее страшно...

... Чем живут эти наши старушки, которым лет тридцать или двадцать пять назад было лишь по сорок? Мечтают ли о чем? Ждут ли чего-то? Думаете, дай им по миллиону долларов, зажили бы иначе? Может, переменяли бы ценности, изменили мировоззрение, утратили веру, побросали бы свои избы, огороды и давай мотать по свету да транжирить этот миллион? Или понастроили бы себе замков, дворцов и коттеджей, поустраивали бы внуков в престижные университеты и колледжи, а сами бы почивали на подушках? Или, может, уподобились бы ненасытной старухе из «Золотой рыбки»? Нет! Ничего бы в их душах не переменялось. Ведь и у той нашей русской старухи, что мечтала стать владычицей морской, тоже ничего не вышло.

Появись деньги у такой вот бабушки, покупала бы молочко, немного творогу, яичек, сахарку да муки, а еще — покрепче бы заваривала чай. Овощи, пока есть силы, выращивала бы сама, может, покупала бы изредка каких-нибудь фруктов; да купила бы обязательно маленький холодильник, наш, отечественный, а еще — телевизор, чтобы быть в курсе всех событий и кино по вечерам смотреть; еще бы поправила здоровье: пошла бы к врачу, проконсультировалась, закупила в аптеке лекарств, вставила бы зубы и немножко занялась зрением...

Усиливающийся мороз заставил забраться в машину, и я медленно покотил к могиле Александра Сергеевича...

...Да вместо поисков средств к существованию, вместо беготни за туристами в надежде продать баночку грибов, меда, варенья или носки, которые вяжешь по трое суток, занялась бы стряпней, потом позвала бы внуков, детей, угостила их вкусными ватрушками, пирогами, котлетами, открыла бы им (а не туристам) ту же баночку грибов, варенья, меда... Они бы пришли к своей бабушке с цветами и подарками, принесли бы бутылочку вина, а бабушка им: «А у меня свое есть!» А еще — приоделась бы. Купила бы хорошую, мягкую обувь: в этой изношенной-переносной так неудобно и больно ходить. Купила бы себе пальтишко, не импортное, достаточно нашего: «Ведь не на танцы», — да еще бы кофточку теплую справила, такую, какая уже когда-то была да износилась; а еще (мечтать, так мечтать!) купила бы красивую шаль, чтобы внуки гордились: вот, мол, какая бабушка у них — «даже совсем еще ничего!».

Вот и вся «роскошь». Что еще требуется? Какие-нибудь изыски? Какие-то умопомрачительные мечтания, планы, намерения?

Уверяю вас, и миллион долларов дай — сверх того, что перечислил, никому из наших старушек ничего не нужно. И не потому, что в темноте прожили и не знают, что почем в этом мире, а как раз наоборот: именно потому, что знают цену и этому миру, и тому, что им движет и на чем он держится. Может быть, единственные во всем мире остались, которые еще Это знают!..

...Я подъехал к Святогорскому монастырю и, оставив машину на площади, где некогда проходили ярмарки, пошел к могиле Пушкина. Вечер. Тишина. Прямо над мной и могилой растянулся Млечный Путь и в центре его — звездный Крест...

Двести лет назад Вы, Александр Сергеевич, еще были во чреве матери. Но все же — уже были! И уже тогда, наверное, прислушивались к миру, в который придете, и жадно впитывали его соки. Двести лет назад... Скоро, очень скоро сюда придут официальные и полуофициальные делегации, они будут чествовать Вас: станут читать Ваши стихи так, как еще никто не читал; петь песни, как еще никто не пел; плясать, как еще никто не плясал, и говорить такие слова, каких еще никто не говорил и не слышал; Вам принесут столько цветов и таких, что и на кладбище Пер-Лашез такого никто не видел; Вас наградят столькими эпитетами, возвысят такими словами, что и Господу Богу такое не воздавалось. По всей стране будут Вас чествовать, а особенно в столицах, в официальных кругах. Из Вас, национального поэта, будут навязчиво конструировать «национальную идею»; сотни, тысячи раз будут произносить: «Пушкин — это наше все!», «Это наша первая любовь!» А сколько книг Ваших и о Вас будет издано, и переиздано, и уже издается! Да в каких переплетах, с какими тиснениями, в каких обложках, с какими предисловиями и по каким ценам! Сколько будет выпито в этот день самых дорогих напитков, сколько съедено самых изысканных яств, сколько женщин красивых и разодетых будет целовано в этот торжественный день!

Только зачем это все нам с Вами, Александр Сергеевич, если совсем рядом, прямо за роскошным и утонченным, во всякое время освещенным памятником Вам, в маленьком, дряхлом домике тихо и в полном одиночестве умирает Алевтина Васильевна, учительница Вашего и моего языка, Вашей и моей литературы? Какое Вам дело до юбилеев, торжеств и празднеств, если Ваша верная защитница от пошляков и охранительница от лжи, всю жизнь свою отдавшая Вам, едва гнуцимися пальцами рвет и бросает в огонь школьные учебники, чтобы не замерзнуть и не око-

леть? Что нам с Вами все эти слова, эти пустые речи и признания в любви, если пожилая женщина «без имени-отчества», тридцать шесть лет учившая «уму-разуму», признается: «Я ничего не умею делать». (Это она-то «ничего не умеет делать»!) Сколько по всей России таких! Оставленных, забытых, брошенных, но гордых и надеющихся...

Вновь и вновь всплывают в памяти слова великого пророка:

«Когда вы приходите пред лице Мое,  
кто требует от вас этого?

Довольно топтать дворы Мои!

И не приносите больше ненужных даров,  
Они для Меня — отвратительное каждение!»

Наконец-то слышу и Вас, Александр Сергеевич! Слышу, как Вы вторите Исайе:

«Когда вы стираете руки ваши,  
Я отвращаю от вас Свой взор...»

### 10 ноября. Вторник

Ночь прошла спокойно. В коридорах гостиницы не раздавался даже шорох. Но теперь вместо шумных туристов спать мешал холод, многократно усиленный пониманием того, что нет и уже не будет горячей воды. Не успокаивало и то, что я разделяю участь жителей поселка. Они уже к этому привыкли, приспособились, а некоторые, быть может, даже стали моржами и обливаются по утрам ледяной водой. У меня такой закалки нет.

Представив купающегося в бочке со льдом Пушкина, я все же вылез из-под одеяла и по привычке открыл кран горячей воды. К моему удивлению, из него полилась струйка теплой воды. Я рассказал об этом администратору, но она отказалась верить в такое «чудо». Ведь все отключено, кочегар еще вчера слил воду и котельную больше не растапливал, к тому же есть приказ начальника — словом, воды горячей быть не может. Но все же она каким-то образом лилась, откуда-то бралась, кем-то разогревалась, несмотря на запреты начальства, законы физики и прочее. Так со многим у нас происходит.

Наконец-то закончились октябрьские праздники, и в Пушкинских Горах, как и во всей России, начались будни. Это значит, что люди пошли на работу. Не важно, на какую, важно, что проснулись утром и куда-то ушли. Пойду и я.

Не раз проходил мимо книжного магазина на Пушкинской улице, напротив монастыря, недалеко от дома Людмилы Павловны.

В магазине холодно, пусто и неуютно. Видно по всему, что лучшие времена у магазина позади. Как и в других наших книжных лавках, здесь продают еще школьные принадлежности, канцтовары, а также детские игрушки.

На стеллажах выставлены книги Лотмана, Карамзина, двухтомная «Жизнь Пушкина» Тырковой-Вильямс, серия книг «Русские писатели» — Гоголь, Чехов, Пушкин, Гончаров, Лермонтов, Толстой, Есенин, Гиляровский; отдельные тома Саша Черного, Мольера, Гашека и шеститомник Фейхтвангера; кроме них, учебники русского языка и литературы, хрестоматия по литературе, книга «Дворянские роды Российской империи», тт. 2, 3; два современных романа о любви в красочных суперобложках, несколько книг для детей и два детектива. На отдельной полке размещена серия книг по кулинарии. Словом, ничего недостойного в этом магазине я не обнаружил, как не нашел здесь и претензии на нечто большее, чем обычный провинциальный книжный магазин.

Продавец объяснила, что жители поселка книг почти не покупают. В свое время их избаловали. Когда в стране был дефицит на все и за книгами выстраивались очереди, здесь можно было приобрести самые разные издания, не говоря уже о книгах Пушкина. Сейчас, конечно, людям не до книг.

Из книжного магазина я направился в библиотеку, которая в праздники была закрыта. По пути встретил Зайну. Она шла с мальчиком-цыганенком. Обрадовалась мне, но денег не попросила. Я сфотографировал девочку и объяснил, что фотографирую ее для будущей книги, а за это должен заплатить. Тем самым давал Зайне понять, что деньги ею заработаны. Поняла или нет, но, сказав «Спасибо», она зажала десятирублевую купюру в кулачке и тут же спрятала руку в карман куртки. Цыганенок, ревниво наблюдая за этим, стал просить денег. Но у меня, как назло, не осталось мелочи, а разменять сторублевую купюру в утреннее время негде: еще не наторговали. Как быть? Мелочи нет, крупную купюру не дашь, а цыганенок с надеждой на тебя смотрит... В другой бы раз на него прикрикнул: мол, нет денег, чего смотришь! Но выглядеть скупердяем перед Зайной мне было совестно.

Зайна, кажется, поняла непростую ситуацию и, взяв мальчугана под руку, увела его.

Центральная районная библиотека находится в большом белом трехэтажном здании, но занимает два этажа. Третий отдан в распоряжение школы искусств. Таким образом, здание это можно назвать цитаделью культуры Пушкиногорья, но, прежде чем рассказать о библиотеке, обратимся к истории.

В конце прошлого века крестьяне слободы Тоболенец под руководством местного земского начальника Павла Федоровича Карпова собрали деньги и построили богадельню и читальню имени А. С. Пушкина. Вот как описывает здание и жизнь в нем В. П. Острогорский:

«Богадельня с читальней — почти у самого монастыря, тотчас же направо, по выходе из св. ворот. Это — очень красивое, полукаменное здание с маленьким голу-бым куполом и крестом на крыше над маленькой молельной с образом и неугасимой лампадой; посредине широкое крыльцо. Налево вверху и в нижнем, подвальном, этаже, богадельня с 24 призреваемыми (четверо мужчин, девятнадцать старух и одна слабоумная девочка-сиротка). Богадельней заведует бесплатно местный крестьянин и церковный староста Иван Иванович Бакусов. Направо — читальня. Это большая светлая комната сажени в 4 в длину, около 3-х в ширину и 4,5 аршина высоты. Посредине большой стол и висячая яркая большая лампа. По стенам два шкапа, большой и малый, для книг, портреты Государя, Государыни, Императора Александра II-го и бюст Пушкина. Тут же, временно, помещен и большой орган, купленный всего за 250 руб. для предполагаемой к открытию большой чайной. По праздникам его иногда заводят, и доставляет он народу великое удовольствие. Заведует читальней, также бесплатно, вполне грамотный местный крестьянин, всеми уважаемый Александр Иванович Харинский. Он ведет всю переписку, выдает выпиской журналов и газет и дает отчеты инспектору народных училищ. Кроме того, ежедневно, по будням и праздникам, круглый год, ведутся очередные дежурства из грамотной местной тоболинской молодежи. К 15 сентября 1897 г. всех книг состояло до 600 и, кроме того, еще до 600 брошюр. Есть полные собрания почти всех разрешенных русских писателей: Пушкин в нескольких экземплярах; получается «Нива», «Всемирная Иллюстрация», «Паломник», «Странник». Духовные чтения точно так же, как и иллюстрированные издания, особенно любимы. Есть книги и сельскохозяйственные, которые тоже читаются. Записи книг и читающих лиц ведутся точно. Народ, видимо, любит свою читальню и читает охотно (особенно школьники). Летом, конечно, народу бывает мало; но по зимам и в посту часто не хватает места. Ходят и безграмотные смотреть картинки: им нередко читают и местные грамотеи из крестьян, и помещики, тоже берущие отсюда книги, земский начальник и другие лица. Вообще впечатление от читальни самое отрадное. Она, так сказать, главный просветительный центр, прилегающий к месту вечного успокоения поэта, осветившего читальню своим именем».

Интересно, и для нашего времени особенно, что богадельня и читальня не были созданы по указке «сверху». Их строительство и дальнейшее содержание не финансировали государственные учреждения. Все было инициировано самими жителями слободы.

31 декабря 1895 года на сельском сходе «в полном и законном составе, в присутствии местного старосты» крестьяне приняли решение обратиться с просьбой о Высочайшем разрешении на то, чтобы им было дозволено собирать пожертвования по всей империи для образования капитала, процентами с которого они могли бы содержать «в надлежащем виде» приют, читальню и памятник А. С. Пушкину.

Спустя два с половиной года, 9 июля 1898 года, такое «Всемиловнейшее соизволение» последовало. В этом «соизволении», между прочим, не столько заурядное чиновничье разрешение на деятельность, сколько государственная гарантия неприкосновенности капитала, его высочайшая защита и покровительство.

Вот такие были здесь крестьяне и такое было их отношение к поэту, к культуре вообще. Чем не самоуправление? Но вернемся в наши дни и заглянем в пушкиногорскую районную библиотеку — прямую и законную наследницу тоболенецкой читальни.

В библиотеке девять сотрудников. Стаж работы каждого — не менее десяти лет. Все они высококлассные специалисты и в своем деле не случайные. Как водится в библиотечном мире, труд оценивается в зависимости от разряда. Имеющий шестой получает 187 рублей, а за двенадцатый платят 306. Ко дню моего посещения библиотеки ее работники получили зарплату за май. Причем выдавали деньги не сразу, а в несколько заходов, по тридцать — сорок рублей, видимо, опасаясь концентрации капитала. Библиотекарь — профессия особенная. Это не только охранитель памяти и посредник между великими ушедшими и живыми, не только носитель зна-

ний и проповедник культуры, порой единственный на село или деревню, но еще и человек, в какой-то мере призванный. Так просто с книгами не расстанется, на что-то другое не променяет. Сколько примеров, когда буквально ни за что библиотекари трудятся, а профессию свою не бросают. Можно, конечно, где-то подрабатывать на стороне, но что толку? В Пушкиногорье хоть заработайся — денег все равно не платят. Их нет.

Директор библиотеки — Людмила Николаевна, с красивыми глазами, светло-волосая, родом из-под Смоленска, а тот край славится женской красотой. В Пушкинских Горах уже пятнадцать лет. Муж — Владимир Юрьевич, хирург в районной больнице и, по словам Людмилы Николаевны, трудится с утра до ночи. В их семье двое сыновей — Юра и Сергей.

Директор пригласила меня в свой кабинет и рассказала о библиотечном деле.

За десять месяцев текущего года из центрального коллектора в библиотеки района (кроме Центральной, имеются еще двенадцать филиалов) поступили 76 книг. Из них — шестьдесят шесть художественных, пять книг по сельскому хозяйству, четыре общеполитические и одна детская. Причем к художественным книгам относятся и толстые журналы, и литературоведческие работы, и даже брошюры, так что в действительности библиотеки получили лишь тома Пушкина, с одиннадцатого по восемнадцатый, и больше ничего.

Выписывают газеты и даже литературные журналы, но что будет с периодикой в будущем году — неизвестно. Уже середина ноября, а не выписано еще ничего. Выручает то, что книги дарят. В 1997 году подарили 4 тысячи 253. Например, небезызвестный миллиардер господин Сорос подарил 126 книг.

Кто читатели в Пушкиногорье?

Всего в районе проживают шестнадцать тысяч жителей. Читателей на начало года было более восьми тысяч. Из них 2164 — дети до четырнадцати лет. Общий фонд библиотеки на конец 1997 года составил 207 тысяч 144 книги. И в том же 1997 году на руки было выдано книг, журналов и различных справочников — 224 тысячи 560. Бывает, книги крадут, иные треплются и просто пропадают, поэтому за тот же год библиотека недосчиталась 7 тысяч 713 книг. То есть потеряли почти в два раза больше, чем приобрели. На покупку книг денег нет. На содержание здания тоже. Накануне праздников кто-то разбил стекло, и сейчас целая история, чтобы вставить новое. Заработать на читателях невозможно. В основном это пенсионеры и безработные. Остаются дети. Не с них же брать деньги.

Согласно статистическим данным, которые здесь аккуратно и добросовестно собираются, читателей сейчас больше, чем в советские времена, когда мы считались «самой читающей страной в мире». (Хорошо бы еще прослыть «самой думающей».) Хотел заглянуть в каталог и узнать, читают ли Пушкина. Но «знакомство» с каталогом ответа на этот вопрос не даст. Книги Пушкина имеются почти в каждом доме.

После разговора с Людмилой Николаевной я поднялся на третий этаж, откуда доносились звуки аккордеона, фортепиано и, кажется, кларнета. Здесь много детей: от самых маленьких, которые приходят с родителями, до подростков. Они учатся музыке и живописи. Занимаются с ними опытные преподаватели с разных концов бывшего СССР, не один год проработавшие в консерваториях, художественных училищах и воспитавшие много первоклассных музыкантов и художников. В Пушкинские Горы попали по разным обстоятельствам. Я попросил директора школы, Наталью Васильевну, дать возможность сфотографировать этих милых пушкиногорских детей. Она согласилась и даже помогла мне: поочередно заводила детей к себе в кабинет, а я их фотографировал. Те, что постарше, реагировали довольно живо, а вот самые маленькие глядели на меня недоверчиво, с опаской... Кто знает, быть может, они приумножат славу пушкинского уголка?

К этим детям всегда будет повышенный интерес. На любом конкурсе или выставке одно упоминание того, что ты из Пушкинских Гор, немедленно приковывает дополнительное внимание. И жюри конкурса, и самые придирчивые слушатели и зрители всегда будут к тебе более внимательны, требовательны и строги. Ведь за той или иной мелодией, рисунком, картиной всегда будет незримо проглядывать знакомый силуэт с вытянутым лицом и бакенбардами. Ох, как непросто будет достичь творческих высот этим детям!

Тоболенецкая читальня находилась в одном доме с престарелыми людьми, а Центральная пушкиногорская библиотека — под одной крышей с детской школой искусств. Случайно ли? Только на первый взгляд.

Соседство стариков и книг да еще с чайной — замечательно и символично. Пожилые люди не будут чувствовать себя никчемными, отжившими. Ведь в этом случае они всегда в центре культурной жизни, соучастники дискуссий, разговоров, твор-

ческих вечеров, интересных встреч, читок. Но главное — не одиноки и всегда на виду. Знаменитый Дом Инвалидов в Париже суть та самая Тоболенецкая богадельня, только куполок у него побольше. Такое отношение к старикам может позволить себе сильное, здоровое общество в дни своего относительного благополучия.

В дни глубоких кризисов общество (прежде всего в лице женщин), оставив все прочее, старается спасти детей, передать им часть духовного наследства и тем сохранить память. Пушкиногорские дети не случайно вынесены на третий, самый верхний, этаж здания. Два нижних, заполненных книгами, выполняют роль благодатной почвы, питаюсь соками которой плодоносит дерево пушкиногорской культуры.

Из библиотеки и школы искусств я направился в современную часть поселка, к огромному зданию, впервые увидев которое я было принял за бывший райком партии. В действительности это Научно-культурный центр. Заложен он был в 185-ю годовщину со дня рождения поэта участниками XVIII Всесоюзного пушкинского праздника поэзии. В книге «Пушкинские Горы» А. М. Савыгина (не тот ли, что благодарит через газету сантехников, починивших в доме отопление?) приводятся слова Гейченко, сказанные при закладке.

И вот я у этого дворца. Перед ним — огромная площадь, или скорее заасфальтированный пустырь, продуваемый ветрами так, что лучше здесь и не стоять. Мне хотелось проникнуть в само здание и посмотреть: каково там? И я даже каким-то образом попал внутрь, но куда бы затем ни направился, в какую бы сторону ни пошел, вокруг были лишь коридоры. Двигаясь по одному из них в поисках выхода, я очутился в каких-то особо секретных фондах, куда простому смертному вход категорически запрещен.

...Много раз слышал фамилию «Гейченко». Как только разговор заходил о Пушкинских Горах, мои друзья вспоминали и это имя, высказываясь о Гейченко как о талантливом чуде, необычном человеке и всегда только уважительно.

В Пушкинских Горах имя Гейченко произносится едва ли реже, чем имя самого Пушкина, причем упоминающие его даже не объясняют, кто, собственно, это такой, полагая, что их директора, как и Пушкина, знают все. В гостинице одна женщина, продававшая книги, призналась мне (не подозревая, какую рану наносит), что XX век породил лишь двух гениев: Гагарина и Гейченко. Я тогда с ужасом подумал о том, что бы случилось, пошли Королев первым в космос Германа Титова...

К сожалению, до последнего времени я совсем не знал, кто такой Гейченко.

Мой приятель-критик, проведший в обществе Семена Степановича не один день, рассказывал мне о Гейченко, о его жене, о его жене, о том, какие подвиги совершал этот незаурядный, одержимый человек. Мы даже посетили их скромные могилы на одном из тригорских холмов и поклонились праху.

Помню, я высказывал сомнения вроде того, что служение одной выдающейся личности другой, особенно если речь идет о служении через столетие, несет в себе некоторую опасность. Музейный работник, каким я его представляю, есть профессиональный консерватор и по своей природе должен быть скуп на всякие новации. Но он должен быть почти реакционером, если это касается какой-то исторической персоны. Иначе может произойти нечто такое, после чего посетители музея будут знакомиться не с исторической личностью, а с представлениями о ней музейного работника.

В данном случае сверхактивный и деятельный директор, полновластный хозяин не просто музея, а огромного историко-культурного пространства с национальным поэтом в центре, обладающий своими собственными представлениями о жизни и творчестве Пушкина, о русской культуре вообще и о музейном ремесле в частности, мог за многие десятилетия своего начальствования стать невольным губителем истинного пушкинского ландшафта и образа поэта «михайловского периода». Не стал ли этот заповедник музеем самого Гейченко и его представлений о Пушкине? Вот в чем был мой вопрос.

Приятель-критик особенно не возражал против моих опасений и в принципе с ними согласился. Но именно в этом не видел никакой опасности.

«Что касается Пушкина, — говорил он, — то всякий консерватизм рядом с ним не только неуместен и негармоничен, он губелен. Пушкин был невероятно подвижен. Во всем: в творчестве, в жизни, во взаимоотношениях, в любви... Посмотрите, даже природа вокруг него вся в движении. Заморозь, останови это движение — потеряешь Пушкина. Не случайно музеи пушкинские, как только утрачивают динамичность, творческое развитие, если ограничиваются лишь экспонатами, показом предметов, картинок и каких-то факсимильных бумаг, сразу превращаются в декоративные лакированные игрушки, становятся антипушкинскими, и люди, действительно понимающие поэта, — туда ни ногой. Знаете, сколько музеев из-за этого не



состоялось! Внутри музея, — продолжал критик, — должна развиваться, бить ключом жизнь, да так, как если бы Александр Сергеевич в любую минуту мог туда войти. Он должен быть ожидаем в этом музее, вплоть до того, что на столе у директора должен кипеть самовар к его приходу».

Переходя к личности Гейченко, мой приятель сравнивал его с безупречным управляющим, которому далекий от бранных дел Пушкин поручил заниматься скучным хозяйством в свое отсутствие. Вот он и занимался, со всей ответственностью и в полной уверенности, что молодой, непутевый и неохочий до хозяйственной жизни барин ему вполне доверяет и к разным мелочам, вроде мостиков, валунов и прочих декоративных штучек, придирается не будет: лишь бы хозяйство жило и развивалось да не приносило убытков. А если бы даже и придрался, приехал однажды, то что?

«Ты чего это, братец, тут мне понастроил? Денег и так нет, а ты вон чего».

«Да Вы что, барин! Мы Ваши гениальные стихи всем миром тут прочитываем, потом накладываем их на ландшафт и ощущаем полное соответствие этих Ваших стихов пейзажу... Про мельницу, помните, писали, которая насилу крылья ворочала при ветре?»

«Писал, и что же?»

«Вот мы ее поставили, и она себе «ворочает». Народу нравится. Пусть хоть что-то крутится, а что в этом плохого? Что до денег, — управляющий почесал затылок, — деньги, барин, не Ваши, казенные».

«Как это — «казенные»? — спросил Александр Сергеевич.

«О-о-о! Долго объяснять, барин».

Обнял Пушкин своего управляющего, несколько дней побыл да и уехал куда-то в столицу писать дальше свои книжки. Отбыл в кои веки со спокойной душой: не пропили имение, не растащили, не разворовали, напротив, чего-то натаскали, понастроили, прихорошили... «Приеду-ка я сюда еще!»

Вот такие у них были взаимоотношения. Совсем не музейные. Было то, что называется «нетипичный случай». Так что музей, в «типичном» смысле, здесь еще предстоит создавать...

Хотел поговорить с дочерью Гейченко — Татьяной, которая работает как раз в этом огромном здании. Даже встретился с ней в том самом секретном фонде. Но она очень настороженно ко мне отнеслась, приняв за одного из заезжих московских журналистов, к которым, видимо, не питает особых симпатий. Ей, наследнице многих знаний (и не только устных), наверное, часто досаждают любители поживиться. А меня интересовало вовсе не наследство, и знаний мне никаких от нее не надо, и даже — простит ли? — папа ее знаменитый меня мало интересовал. Я лишь хотел узнать, как живет в безлюдном и отгороженном от мира Михайловском, в полном уединении женщина, кажется, моя ровесница. И об этой несостоявшейся встрече до сих пор сожалею.

Здесь же, в культурно-просветительском центре, я узнал, что через пару часов на древнем погосте в Ворониче будет освящена недавно отстроенная часовня. Вот удача! Конечно же, я буду там. Но еще есть время, чтобы побывать на Савкиной Горке.

Я уже не раз упоминал в своем повествовании эту крохотную горку. Она притягивает всякого, у кого только есть душа. На Савкиной Горке, говорят, любил бывать Пушкин и даже собирался купить участок земли в деревне Савкино, чтобы построить небольшой домик и жить в нем. Однако идея осталась невоплощенной.

Природа в этом месте неменяема. Оживи сейчас того же Ивана Грозного, выведи на Савкину Горку, усади на лавочку — просидит с утра до вечера угрюмый тиран, да так и не поймет, что двадцатый век на исходе. А чему здесь меняться? Коровам? Так они те же, что и двести, и триста лет назад: рога на том же месте, вымя тоже. Коням? И кони такие же, щиплют ту же траву тем же способом, и ржут, и храпят ноздрями так же. Сороть течет все туда же, и берега ее никуда не делись, и женщины полощут белье в реке теми же движениями, что и ее далекие предки. Или вот здоровенная ворона каркает прямо над ухом. Думаете, в вороньем карканье отыщете какие-то перемены?... Где-то читал, будто эти птицы живут по триста лет. Так что очень может быть, что это вообще та самая ворона...

В древности на Савкиной Горке находился Михайловский монастырь, поэтому она вполне может считаться тезкой своего помпезного французского собрата Сен-Мишель. Как ни крути, куда отсюда ни уходи, Савкина Горка — центр Пушкиногорья, его самая теплая и самая притягивающая точка.

Не знаю, что здесь останется в будущем, какие планы и намерения у музейных работников, но мне достаточно, если бы сберегли несколько коров вокруг Савкиной Горки да чтобы Млечный Путь с Крестом в центре никто не трогал, и еще чтобы цыганочка Зайна сохранила себя. Вот и весь пейзаж, а это, я уверен, в Пушкиногорье будет до скончания века.

Итак, я спешу к старинному кладбищу у деревни Воронич, где сейчас состоится освящение часовни.

«Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве — летопись о многих мятежах и пр., писано бысть Алексашкою Пушкиным в лето 7333 на городище Ворониче» — таково было первоначальное название трагедии «Борис Годунов». Но и без того Воронич знаменит. Хотя бы одним только тем, что где-то здесь жил и пас скот отрок Тимофей Терентьев.

В исторических и краеведческих книжках Воронич отмечен как крупнейший город псковского края в XVI веке. Ни Остров, ни Опочка, ни прочие соседние селения не могли соперничать с Вороничем. Одних монастырей здесь было пять: Михайловский (на Савкиной Горке), Покровский, Ильинский, Успенский, Спасский; церквей — четыре: Георгиевская, Иоанна Предтечи, Иоанна Милостивого, Косьмы и Дамиана. Если в Опочке в то время было 180 дворов, то в Ворониче — 371!

Теперь же все поменялось: Опочка так разрослась, что постов ГАИ там два или даже три. А Воронич, бедный, если не знать о нем, то вообще можно проскочить, не заметив. Это уже и не город, и не село, а деревенька. Пушкин, спеша из Михайловского в Тригорское «на вороном аргамаке», объехать Воронич никак не мог.

Я подъехал к старинному кладбищу за десять минут до начала освящения. Сама часовенка не произвела на меня впечатления. Она предельно проста, совсем крохотная, с одним окошком и расположена прямо на фундаменте бывшей Воскресенской церкви. Чтобы было удобнее зайти вовнутрь, к часовой пристроили деревянный помост с поручнями. Срубили часовенку два университетских студента из Ивано-Франковска — Иван и Тарас — за три с половиной недели. Я ожидал, что соберется много народу, однако вокруг никого не было. Лишь в самой часовне находился священник, который готовился к церемонии.

Через несколько минут подошли две пожилых женщины — жительницы Воронича. «Геперь, — призналась одна из них, — можно со спокойной душой умирать: есть, где отпеть». Ровно в 16.00 на погост подъехали несколько автомашин и автобус. Прибыло районное начальство, а также музейные работники, среди которых директор музея-заповедника Георгий Николаевич и историк Михаил Ефимович. Все они не спеша прошли в часовенку. В глазах тех, кто здесь находился, была неподдельная радость, а лица буквально светились.

Вслед за всеми я прошел в часовню и впервые в жизни принял участие в освящении храма...

...Сейчас освящают все подряд. На одной из подмосковных трасс висит объявление, напоминающее автолюбителям об обязательном освящении машин. По телевидению нет-нет да и покажут, как священники окропляют водой какой-нибудь роскошный офис. Освящаются коммерческие сделки, опрыскиваются святой водой кабинеты «новых русских» и их бронированные «мерседесы». Помню, освящали одну из новооткрывающихся бирж, которая вслед за тем благополучно скончалась. А один кандидат в депутаты пригласил священнослужителей для освящения своей избирательной кампании. И, знаете, стал депутатом! И до сих пор уверен, что именно этому обязан победе на выборах, а не подкупу и обману избирателей.

Не знаю, куда себя девать в таких случаях. Но здесь, на древнем погосте, в маленькой деревянной часовенке, которая пахнет свежестью обработанного дерева, мне было радостно, а на душе тепло.

В часовню вошли все, за исключением двух старушек из Воронича, которые почему-то остались на улице. Всего двадцать один человек, включая священника. Были здесь двое детишек. Причем рыженькая, с веснушками, не более десяти лет девочка подпевала старушкам-певчим. Меня удивило, что она знала слова молитвы, где и как надо подпевать, в каком месте креститься, вообще вела себя знающе и уверенно...

«Какая счастливая! — думал я, глядя на девочку. — Осеняя себя крестом, ей незачем оглядываться ни на свое прошлое, ни по сторонам. Вся жизнь ее — с Богом. А как креститься мне, если большую часть жизни «осенял» себя совсем иными знаками, если с детства маршировал в пионерских колоннах под барабанную дробь и звуки горна, если затем эти призывные сольные фанфары сменились на громopodobные оркестры, а детские искренние призывы и клятвы заменило «осмысленное» строительство коммунизма и борьба со всем, что этому строительству мешает? Конечно, в том не было дурного умысла, был не просвещен, чего-то не знал, над чем-то не задумывался, не подозревал о существовании... Но оправдывает ли это меня? Извиняет ли? Живи я в двадцатые, не стал ли бы впереди тех юнцов, которые здесь же, в этих заповедных местах, жгли усадьбы, разрушали памятники, сбрасывали колокола, выносили иконы, оскверняли храмы? И не для того встал бы впереди безумной толпы, чтобы остановить ее, а чтобы вести за собой... Как же теперь осенять себя крестом? Не стану ли похожим на тех, кто в одночасье во всем «разобрался» и теперь топчется у алтарей?»

Несколько раз, дома, или перед входом в церковь, или на кладбище у дорогих мне могил, когда никого не было вокруг, я крестился и всякий раз ловил себя на том, что мне стыдно. Чудовищно стыдно. Вся эта физическая и моральная неуклюжесть проступала наружу, мучила, обнаруживала мою ничтожность, лицемерие и ханжество. Как уйти от этого? Сколько времени должно пройти и что сделать, чтобы не испытывать стыда и угрызений совести? Как достичь хотя бы отчасти той уверенности, гармонии и внутреннего спокойствия, какое есть у вот этой рыженькой девочки? И как дорасти до того примирения, которое испытывал Павел: «Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться» (Флп. 1, 18).

Вся церемония продолжалась тридцать пять минут. Проводил освящение отец Александр Балыш. Седовласый, с окладистой бородой, высокий, стройный, красивый. На его спокойное лицо можно смотреть не отрываясь, а голос слушать без конца, хотя именно голос выдавал, что он не совсем здоров. В интонации не было ни грамма пафоса, напыщенности или величия.

...Тебѣ мо́лимся и Тебѣ про́сим, Отца́ Сло́ва Господа и Бога на́шего: ми́лостивым о́ком при́зри на ны́, грѣшны́я и недостойны́я рабы Твоя, пребыва́ющия в се́м дому небоподобнем, вселѣнны́я похвалѣ, жѣртвеннице и́стиннем неизрече́нны́я Твоея́ славы и низпо́сли пресвята́го Твоего́ Духа на ны́ и на наследие Твое́. И по Божественному Давиду обнови́ в сердца́х на́ших дух пра́вый, и духом влады́чим утверди́ нас, и сохрани́ страну на́шу от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, мечá и всяка́го зла́, и да́руй нам единомы́слие и мир. Сотво́ршим же зда́ние сие и хра́ма освяще́ние, по любви́ к Тебе́, Богу, тща́тельно, оставле́ние согреше́ний пода́ждь: да́руй им я́же ко спасе́нию про́шения: возды́гни я к деланию́ заповедей Твои́х: да́руй им обновле́ние дара Свята́го Твоего́ Духа: да неосужде́нно поклóнятся Тебе́ Единому́ Истинному́ Богу и Егó же посла́л еси́, Иису́су Христу́ моли́твами Богородицы́ и всех святы́х Твои́х. Ами́нь.

Особенно запомнилось, как в конце молитвы отец Александр произнес: «Храни, Боженька, храмик сей!» Это было сказано с такой нежностью! Потом он окропил святой водой каждую из четырех стен и делал это весело, радостно и очень бережно. Таким, наверное, бывает врач, только что удачно принявший роды... Отчего я не решился подойти к отцу Александру? Почему не рискнул с ним познакомиться и поговорить?

Так закончилось освящение Воскресенской часовни в Ворониче, и я стал свидетелем еще одной странички в истории этого селения, столь же древнего, сколь и знаменитого.

Участники церемонии не спеша вышли из часовенки, еще раз осмотрели ее, потом сели кто в машины, кто в автобус и уехали прочь. Остались на погосте только две старушки. Проезжая мимо, вижу, как они стоят неподвижно и глядят на часовню. О чем они сейчас думают?..

...Кто из нас не видел кадры хроник или старые фотографии, которые свидетельствуют об ужасах послереволюционной борьбы с религией? (Чего стоят только фотоснимки, сделанные Михаилом Пришвиным в Сергиевом Посаде.) Сброшенные и расколотые колокола, полыхающие в кострах иконы, сваленная в кучу церковная утварь, разрушенные или превращенные в склады храмы, расстрелянные священники... Посреди этого ухмыляющиеся комсомольцы и пионеры, а рядом их старшие товарищи в буденовках, с папиросами в зубах. Кадры кинохроник старые, движения на них ускоренные, но и в действительности все делалось быстро, целеустремленно, что называется, в охотку. Сейчас, глядя на эти хроники, люди ужасаются, покачивают головой, вздыхают — как такое было возможно? — и, конечно, осуждают большевиков. И я осуждаю тоже. Теперь осуждаю.

Но не об этом сейчас думаю, а пытаюсь представить, что чувствовали такие вот старушки, которые видели борьбу с религией не с экранов и не с фотографий? Что творилось в их душах (и с их душами), когда на их глазах сжигали иконы, те самые, перед которым они, и их родители, и родители родителей стояли на коленях и которые целовали в дни праздников и в дни скорби? О чем думали, когда видели разрушенные алтари и костры из церковных книг? Какой ужас должен был охватывать их при виде сбрасываемых колоколов? Как смотрели в глаза священнослужителей, уводимых под стражей в небытие? Что испытывали, глядя, как попирается Бог? Их Бог!

«Где Ты, Отец, сущий на небесах? Отчего не восстанешь? Почему не призовешь легионы ангелов и не обрушишь на нехристей Свой гнев? Почему не разверзнется земля и не провалится они в ад? Где Ты, Господь? Почему оставил нас, стадо Твое, как оставил на Голгофе Своего Сына единородного?»

Целые поколения людей, униженных и растоптанных, видели, что Бог не карает большевиков, напротив, те укрепляются в своем неправом деле, утверждают в незыблемости своих идеалов и своих основ; слышали ежедневно и ежечасно, как звучнее и многоголоснее становились их песни, громогласнее гимны, громче и яростнее — марши.

«Или, Или! Лама савахвани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27, 46).

Но если даже Иисус в минуты отчаяния возопил к Отцу Своему, разделив (в первый и последний раз) Свое единокровие с Ним, то что взять с отчаявшегося и пребывающего в страхе несчастного народа?

Конечно, Царь: сильна Твоя Держава,  
Ты милостью, раденьем и щедротой  
Усыновил сердца Своих рабов.  
Но знаешь Сам: бессмысленная чернь  
Изменчива, мятежна, суеверна,  
Легко пустой надежде предана,  
Мгновенному внушению послушна,  
А баснями питается она.  
Ей нравится бесстыдная отвага...

Нет, не только и не столько к земному царю относятся эти признания...

Ведь не со стороны народ наш наблюдал, как становились явью самые сумасбродные мечты и планы. «Бесстыдная отвага» становилась добродетелью, и далеко не каждому было под силу избежать соблазна не примкнуть к ней, а едва примкнув — не стать впереди. Тем более что и «басни» были таковыми, каких мир еще не слыхивал, и баснописцы не лыком шиты. Вся планета трепетала перед этой всепобеждающей поступью, и, кажется, не было силы, могущей ее остановить.

С какими мыслями уходили из жизни люди, сохранившие в своих сердцах веру? Оставалась ли в их растоптанных и растерзанных душах надежда на то, что придет час расплаты и каждому воздастся по заслугам?

Потом народ наш стал свидетелем того, как под революционный нож попадали сами большевики, причем наиболее заслуженные, самые именитые, те, кто звал и поднимал на всемирную борьбу со всем старым, непотребным, уходящим. Их буйные головы летели одна за другой, тюрьмы и лагеря наполнялись ими на всем российском пространстве, превращая безумных идеалистов в лагерную пыль, в ничто.

Кого же избрал Промысел Своим орудием в уничтожении славной плеяды революционеров? Тех подросших юнцов, которые под их началом громили церкви и жгли иконы, тех самых, что с восторгом и радостью бросались на все, где только их старшие товарищи усматривали связь народа с Богом.

Еще немного времени прошло, миг для истории, и вслед за своими товарищами пошли сами вчерашние юнцы. С ними расправлялись подросшие их воспитанники, еще более циничные, более изощренные и кровожадные.

Можно ли было считать это возмездием Божиим? Могло ли это хоть отчасти радовать народ? Вызывало ли в нем злорадство? Едва ли. Ведь сам народ был не в стороне и основную лагерную пыль составлял все же он. И не только лагерную.

А коллективизация? Класс уничтожал класс, одна часть народа расправлялась с другой. И победителей здесь не было, не могло быть, потому что одних уничтожали физически, другие же, «победители», оставались бесправными обитателями коллективных хозяйств.

А Великая Отечественная, о которой известно то, что лагерная пыль стала еще и пушечным мясом? Как бы то ни было — выстояли и победили. Победили... А загубленные и отдавшие жизни — это кто? Чьи они? Для кого спасли свое Отечество?

А после войны. Сколько из выживших умножили собою Архипелаг ГУЛАГ и пропали там?

А эпоха так называемого «железного занавеса», растянувшаяся на десятилетия? Вся эта нескончаемая ложь, омертвление всякого свободного сознания и изощренная расправа со всеми, кто только мог мыслить...

Упомянуты лишь вехи, но сколько было событий менее заметных?

И в центре всей этой нескончаемой беды, которой пронизан уходящий век и которую не в состоянии описать десятки, сотни самых добросовестных летописцев, какую не сможет отобразить даже самый талантливый, самый изощренный художник, — был все тот же народ. Наш народ.

Где диссиденты, прорывавшиеся к нему? Где инакомыслящие, пытавшиеся донести правду? Где узники совести, восстававшие против произвола и насилия? Где священнослужители, несшие в своих проповедях Слово Божие? Где, наконец, шестидесятники, пытавшиеся расширить образовавшуюся щель, войти в нее стройным клином и разломать Систему, виновную, по их мнению, во всех бедах? Кто прав: тот, кто формулировал ответ на свой же вопрос: «Как жить не по лжи?» — или тот, кто пытался ответить на другой вопрос: «Как во лжи жить?» Да не в ответах своих — «кто прав?», а в самих вопросах?

Я не знаю ответа иного, чем тот, что все они (и восстававшие против власти, и их вопросы) есть во мне, проявляются в моих делах и поступках. И то, что я могу свободно мыслить, писать, говорить — не плод ли их «скорбного труда»? Моя посиль-

ная благодарность им — в том, чтобы хоть немного пройти дальше, пусть даже на шаг; чтобы я и такие, как я, не упустили, не промотали наследство — не дарованное, но оставленное. Оно, наследство, не такое уж для России малое: живущие сегодня — единственные из всех поколений могут позволить себе мыслить, говорить и писать — без лести или ненависти. (Лесть для потомков омерзительна, ненависть им — непонятна.)

...Мой дед, человек не набожный, старавшийся не высказываться против властей (по крайней мере публично), незадолго до смерти признавался: «Об одном жалею: что не доживу до того дня, когда коммунистов будут выкидывать пинком под зад».

Прогнали. Дали пинка. И что же?..

...Стоят на старинном погосте Воронича две старушки и молча глядят на часо-венку. Может, оттого не зашли они со всеми вместе, чтобы наблюдать за освящени-ем со стороны и свидетельствовать о свершившемся... Или, быть может, потому не вошли, что еще «не свершилось», что не верят увиденному? И зайдут ли они в эту часо-венку хотя бы раз, прежде чем отпоют их успокоившиеся навсегда души?..

Пока не наступили сумерки, я решил проехать в Михайловское, чтобы еще раз посмотреть на это «сельцо».

Проезд на машинах в Михайловское запрещен. От Бугрова до имения разреша-ется идти пешком, минуя знаменитые Михайловские рощи. Впервые я увидел эти ро-щи под непрерывным дождем. Тогда я более всего был поражен господствующим здесь зеленым светом (именно светом, а не цветом!). Эту односветную гамму излу-чили деревья, кустарники, пушистый мох и даже воздух. Нарушить такое господство могло бы голубое небо, но оно было затянато плотными серыми тучами, а сами туч-и были сокрыты густыми кронами могучих деревьев. Ничего подобного прежде не видел. Теперь, после первого снега, свет в знаменитых рощах совершенно другой.

Приближался вечер. Вокруг никого не было. Я продрог и потому рискнул про-ехать в Михайловское на машине. Прямо к тому месту, где находятся вагончики строителей. Оставив машину, прошел мимо строений, мимо прудов, являющих собой пустые котлованы, и увидел, как всюду кипит работа: рабочие пилят, строгают, ко-лотят... Почти у каждого строения работают по несколько человек. Реставрацией это назвать невозможно. Все отстраивается заново.

Я подошел к строению, находящемуся справа от главного дома усадьбы. Из путе-водителя, который я тут же открыл, узнал, что это людская. Здесь собирались дворо-вые девушки для занятия рукоделием и мелким кустарным ремеслом: ткали, пряли, вышивали, лепили из глины игрушки. Вроде бы сюда частенько заглядывал ссыльный поэт «послушать хор девушек, потолковать с крестьянами об их житье-бытье».

Сейчас на крыше людской работают несколько плотников. Поздоровавшись и закурив, я громко спросил:

— Ну как, до юбилея управитесь?

— А как платить будут, — ответил строитель, находящийся ближе. Остальные не среагировали.

— А что, за Пушкина и не платят? — удивился я, понимая, что уж кому-кому, а этим-то работникам платят исправно.

Теперь на мой вопрос среагировали все, особенно рабочий, находящийся даль-ше других.

— Да ну твоего Пушкина на х...!

Давно я так не смеялся и пожалел, что эту сцену больше никто не видит, особен-но Александр Сергеевич. Валялся бы от смеха.

Между тем строители, видя мою реакцию, отложили работу, закурили и стали жаловаться на жизнь.

Почти все они из Пскова. Здесь работают уже давно. Живут в вагончиках, в по-ходных условиях. Денег, как они сказали, не платят. Какие-то, конечно, платят, но какие... Даже меньшие, чем если бы они оставались и работали дома, во Пскове. В то же время все дорожает, детей одеть-обуть не во что, семьи содержать невозмож-но — словом, это был обычный для нынешнего времени набор претензий. Узнав, что я из Москвы, на меня обрушились с еще большей руганью, чем на Александра Сер-геевича, предстоящий юбилей которого привел их на крыши этих домов. Дискуссию о разнице цен в Москве и Пскове я проиграл вчистую. Во время этой краткой дискус-сии были упомянуты имена известных политиков демократической и коммунистиче-ской ориентации, а каждое из имен, в свою очередь, сопровождало ругательство, то-же предельно краткое. Причем аттестация эта была выполнена с учетом всех тонко-стей и нюансов непростого устного творчества, да еще на специфическом скобар-ском диалекте. Филологи бы не нарадовались.

— Но все-таки это же почетно строить дом, в котором жил Пушкин? — взывал я к духовным корням каждого из строителей. (Я даже не обратил внимания на огорку: как можно сегодня строить дом, в котором жили люди два века назад?)

— Да он здесь и не живши. Его сюда пригнали в ссылку, и он тут, чтобы со скуки не помереть, всех баб местных пере.....

— Значит, все-таки жил! Вот этот дом — людская, — делился я со строителями только что полученными знаниями. — Здесь собирались девушки и занимались рукоделием, а Пушкин сюда наведывался...

— Ага! Наведывался козел в огород, — раздался дружный хохот.

Я поинтересовался, какие строения остались нетронутыми.

— А ты у прораба спроси. Он там, в вагончике, — ответил один из рабочих.

— Ты что! — возразили ему. — Тут уже все по пятому разу строится. Все, что деревянное, уже давно развалилось. Каменные стены еще кое-где стоят, а дерево уже сгнило, — пояснили мне.

— А ты случайно не родственник? — спросил кто-то. — Если так, то давай плати за то, что усадьбу восстанавливаем! — Тут все расхохотались, глядя на мои кудри, а один из мужиков на всякий случай доложил, что главный дом, в котором жил Пушкин, сдвинут на метр в сторону и теперь находится не совсем там, где должен быть.

— Это почему? — спросил я.

— А хрен его знает! — ответил этот рабочий.

— А потому что каждый из себя начальника гнет. Один говорит надо так, другой придет — давай по-своему... Сейчас же у нас все пушкинисты, мать их... — объяснил еще кто-то.

— Да ты у прораба спроси, он там, в вагончике, — порекомендовал третий.

Должен признаться, что строители работают на совесть. Каждое бревнышко одно к одному. Качество безупречное. Я спросил, есть ли дома у них самих? Все хором ответили, что на это нет денег и никогда не будет.

— Холодно, наверное, сидеть на крыше? — Я вспомнил, как ровно двадцать лет назад крыл шифером пятиэтажку под Сургутом. Тогда было минус сорок.

— Сейчас, когда сухо, еще ничего, а вот были дожди да с ветром — это да!

— Ну все-таки успеете до июня? — спросил я напоследок.

— А это как платить будут, — вновь ответил мне один из строителей.

— Ты у прораба спроси, он там, в вагончике, сидит, — вновь повторил кто-то.

Я попрощался и пошел искать этого прораба, а строители, затушив окурки, вновь принялись стучать молотками.

Пройдя мимо заново отстроенных большого господского дома и маленького домика няни, я подошел к одному из вагончиков, однако вместо прораба попал к музейным работникам. Кроме письменного стола и трех разных стульев, в вагончике был большой портрет Пушкина работы Тропинина. Портрет в роскошной рамке никак не гармонировал ни с вагончиком, ни с музейными работниками, ни вообще со всей этой стройкой. Две женщины и мужчина с некоторым удивлением восприняли мое появление, впрочем, удивление тут же сменилось полным равнодушием. О чем бы ни спрашивал этих музейных работников, они отсылали меня к начальству (к своему «прорабу»). Возможно, они поступали согласно инструкции, а может, были утомлены подобными посещениями незваных гостей. Во всяком случае, ничего интересного не произошло, и, покинув музейщиков, искать прораба я уже не стал.

Я прошел в сторону озера Маленец и увидел чудную картину: едва уловимая вечерняя тень уже легла на деревья, в то время как замерзшее озеро оставалось освещенным скользящими лучами уходящего солнца. Молчаливая природа все же более отзывчива, гораздо щедрее, приветливее и о большем может поведать, чем иной человек. Особенно природа Пушкиногорья.

### 11 ноября. Среда

Последний день пребывания в Пушкинских Горах начался с прогулки по поселку. Промтоварный магазин, единственный на весь поселок, совершенно пуст, а то, что там продается, трудно назвать товарами. Продавцы скорее охраняют помещение, нежели торгуют.

Дом культуры, в котором проходят дискотеки и демонстрируются кинофильмы, также закрыт. Напротив этого ДК — черный бюст, занесенный снегом и вообще заброшенный. Кому бюст? А. С. Пушкину.

Рядом с ДК находится местное отделение милиции. Перед зданием некоторое оживление. Кто-то заходит, выходит и даже приезжает на машинах.

Находившемуся под надзором Пушкину приходилось ездить в Опочку, где располагалась контролирующая его жандармерия. Теперь благодаря Александру Сер-

геевичу правоохранительное учреждение располагается в поселке, и опальному по-эту сейчас бы ездить далеко не пришлось.

Спустя минуту я уже сидел в небольшой приемной начальника районного отделения милиции.

Заинтригованный упоминанием автора «Человеческой комедии», я было приотговился задавать новые вопросы, но был приглашен в кабинет к ее начальнику.

Александр Петрович — высокий, светловолосый, подтянутый, с сильными крестьянскими руками и уверенным голосом подполковник сорока двух лет. Начальником милиции района стал недавно, а до того прошел путь от рядового милиционера.

Из рассказа Александра Петровича стало ясно, что криминогенная обстановка в поселке и районе относительно спокойная, а на фоне столичных разборок и страстей — просто райская. Здесь нет богатых людей. Лишь бедные и очень бедные. Бизнесмены, если и есть, то такие, что прибыли почти не имеют, а весь доход тратят на то, чтобы свести концы с концами. Район полностью дотационный, промышленности практически нет, на экспорт ничего не производят, ценного сырья в здешних недрах нет, иностранных инвестиций тоже, банковскому капиталу здесь делать нечего. Туристических центров, шикарных отелей и увеселительных заведений нет. Туристы, что приезжают к Пушкину, как правило, люди небогатые, но и их в последнее время становится все меньше. Проституции нет, потому что платить за услуги некому. Одним словом, почва для оргпреступности в районе отсутствует. Ей здесь, в нищете, просто нечего делать.

Спрашиваю подполковника насчет коррупции в органах.

— Какая коррупция? И рады бы, как говорится, да как, если ни у кого нет денег. Трасса Санкт-Петербург — Киев — Одесса проходит в стороне, в двадцати километрах. Ее контролируют органы из Опочки и Острова, а также ГАИ. Захочешь — не скорумпируешься.

Зарплата у Александра Петровича 1200 рублей в месяц. А рядовые милиционеры получают по двести, и те с задержкой. Муниципальные и участковые милиционеры, а также работники ГАИ еще не получили за июнь. Для оперативного выезда имеются два «уазика». На четверых работников приходится один мотоцикл. Есть еще служебная машина, вроде бы для начальника, и еще две машины в распоряжении дорожного патруля.

Несмотря на отсутствие организованной преступности, растет преступность неорганизованная. Что это за преступность? Девяносто процентов — кража имущества. Крадут все, что только под руку попадется. Обворовывают дома, квартиры, дачи, подвалы, сараи. Уносят птицу, свиней, уводят коров, лошадей, коз... Воров ловят, судят, сажают. Они отбывают сроки, возвращаются, опять крадут. Их вновь ловят, судят, сажают... Есть такие, что уже по третьему и даже по четвертому кругу ходят.

— В прошлом году, — рассказывает Александр Петрович, — был «медный бум». Крали все, где есть медь: зерносушилки, движки, электроприборы. Медь разворовали, теперь начался «алюминиевый бум». Крадут все, где есть алюминий. Умудряются снимать даже необесточенные провода и затем продают их в Прибалтику. Закончится алюминий, примутся еще за что-нибудь, и так по таблице Менделеева, пока уже и элементов никаких в стране не останется. Кроме криминальных... Контроль, конечно, можно осуществлять, — говорит Александр Петрович, потирая свои большие руки, — но как контролировать каждого? Где такие средства взять?

Проживает начальник пушкингорской милиции в двухкомнатной квартире в микрорайоне. Жена работает на хлебозаводе. Летом стараются выехать в деревню. Там — родительский дом и хозяйство: огород, куры, индюки. С огорода в основном и запасаются на зиму. Когда уйдет на пенсию (в милиции долго не держат), непременно уедет жить в деревню.

Я спросил, не было ли инцидентов у могилы Пушкина?

Александр Петрович ответил, что за свою карьеру такого не припомнит. Все спокойно.

Интересовал меня и еще один вопрос, который я не сразу отважился задать.

Еще в августе в разговорах с местными жителями, особенно с молодыми, проскальзывала откровенная мысль, что монахи Святогорского монастыря не совсем праведны. Более того — грешны, как и все. Они якобы ведут развратный образ жизни, а кроме того, пьянствуют и буянят. И уже в этот приезд мне вновь намекали на то, что такое, увы, случается. Бывая в Успенском соборе, я присматривался к монахам и верить слухам отказывался. И вот, находясь в кабинете у главного милиционера района, который, конечно же, информирован обо всем, что происходит вокруг, я осторожно спросил про монахов.

Александр Петрович спокойно и со знанием дела ответил, что монахи, а их в

монастыре всего восемь — десять, люди набожные, воспитанные и культурные. Никаких излишеств себе не позволяют и предосудительных действий не совершают. Но монахи принимают у себя гостей, те подолгу живут на территории монастыря и, бывает, ведут себя не лучшим образом. Отказать в приеме монахи не могут. Вот и попадают к ним бомжи, лишенные средств к существованию бывшие заключенные и прочие элементы. Что с этим поделаешь? Это не простая проблема, и с нею запросто не разберешься. Ну а люди все это, конечно, видят, и выяснять, кто и чего там нарушает, им недосуг.

К сожалению, я не встретился ни с кем из церковнослужителей или монахов и совсем не знаю, какова хозяйственная жизнь Святогорского монастыря в наши дни. Вместо монастыря я побывал в районной больнице и встретился с главврачом.

Мне вновь повезло: на подходе к больнице повстречалась Валентина Яковлевна. Она спешила в находящуюся рядом с больницей поликлинику и сразу же согласилась познакомить меня с главным врачом — Сергеем Эдуардовичем. Ему, как и начальнику милиции, тоже сорок два. Светловолосый, худощавый, очень спокойный, в белом халате, совсем не представительный и внешне мало похож на человека, ответственного за здоровье целого района. Голос тихий, но говорит Сергей Эдуардович очень быстро. Несмотря на то что я пришел неожиданно, главврач не стал допытываться, зачем и почему: если человек с блокнотом пришел и спрашивает о делах больницы — не прогонять же его? Кроме того, помогла рекомендация Валентины Яковлевны.

С больницей пушкингорцам повезло. Новая, просторная, чистая, палаты большие, светлые. Здесь тепло, медперсонал аккуратен, подтянут, белоснежные халаты выглажены, прически у медсестер и врачей изумительные, впрочем, как и сами медсестры... Не во всяком крупном городе такое увидишь.

По словам Сергея Эдуардовича, условия для работы хорошие, реанимационное оборудование современное, много новых технологий, есть лазеротерапия. Но все это — наследие советского времени. Сдана больница, кажется, совсем недавно, в 1991 году, в действительности — в другую эпоху. Сегодня беды пушкингорской больницы мало чем отличаются от проблем других районных больниц. Например, зарплату и отпускные здесь не получали с июня. Но бастовать никто не помышляет. Все работают в обычном режиме, и клятва Гиппократы здесь ни при чем. Поселок маленький. Все друг друга знают: кто-то в дружеских связях, кто-то в родственных. Как протестовать и отказывать в лечении, если обращаются за помощью твои друзья, знакомые, соседи? Может, отвернуться, сказать: «Подите прочь! Не буду лечить «за бесплатно»? Но как после этого людям в глаза смотреть? Вот врачи и работают. Бывает, что днем и ночью. Делают все, что могут.

— Как люди живут в районе и что с их здоровьем? — спрашиваю главврача.

— Это вопрос, конечно... — вздыхает Сергей Эдуардович, раздумывая, с чего бы начать. — Непонятно, как живут. Приходят, плачут, просят помощи... Денег в больнице нет. Если что-то решается, то только по взаимозачетам. Средств для экстренной помощи не хватает. Нет магнезии, диназола, ваты, бинтов, раствора для капельниц. Последний раз медикаменты брали в июле.

— Что это за «взаимозачеты»?

— Ох! Это довольно сложная комбинация. — Сергей Эдуардович потирает лоб, пытаясь попроще объяснить, в чем дело. — Допустим, молокозавод задолжал хозяйствам района за полученное у них молоко. В свою очередь, эти хозяйства должны платить страховой взнос в территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Но не платят, так как денег у них тоже нет. Происходит следующее: молокозавод сдает посреднической фирме, например, сыр. Фирма его где-то в Питере реализует. За это снимается долг молокозавода перед хозяйствами, а у хозяйств погашается долг перед фондом медицинского страхования. В конце концов больница приобретает рентген-пленку, рулон марли, вату и хоть как-то живет.

Купить лекарства в аптеке больница не может. Нет наличных денег. Аптеке и без того задолжали уже четырнадцать тысяч рублей. Больные покупают лекарства сами, если, конечно, у них есть деньги. В больнице — лишь небольшой запас антибиотиков. Работают всего двадцать пять врачей. Заработок у главного со всеми надбавками с учетом того, что Сергей Эдуардович дежурит наряду с другими врачами да на полставки работает терапевтом, составляет полторы тысячи в месяц. Столько начисляют. А на руки получает тысячу двести. Впрочем, не получает, а должен получить. Напомню: зарплату задерживают. Хирург и акушер-гинеколог зарабатывают по две тысячи. И тот, и другой единственные на поселок, поэтому работают день и ночь. Больше, чем они, в Пушкинских Горах, видимо, не зарабатывает никто. Рядовые врачи, работающие участковыми или на приеме, получают от шестисот до вось-



мисот рублей. Начинающие специалисты, после института приехавшие на работу, по двести семьдесят. Но и этих денег не видят.

— Последний аванс, даже не аванс, а тридцать процентов зарплаты, выдали за июнь — и пока все. Мы выбрали все деньги до конца года, и теперь ждать нечего, — поясняет Сергей Эдуардович.

По сути, больница и персонал оставлены один на один с бедами жителей района и поселка.

— Иногда наступает отчаяние, — признается с досадой Сергей Эдуардович. — Пытаешься что-то сделать, как-то выкрутиться... Вот сумели закупить химреактивы: район наскреб деньги. Ездили за ними в Питер, там единственная лаборатория. Теперь можем год работать, делать анализы крови. Привезли хлорку — слава Богу! Завезли овощи, но не рассчитались: нечем. Понимаете? Люди ходят, спрашивают, они ведь дали нам морковку, капусту, картошку — надо деньги возвращать. Им самим не на что жить... Иногда выручают хозяйства. Допустим, мы проводим платный медосмотр. У хозяйств нет денег расплатиться. Тогда вместо денег нам дают теленка или еще что-нибудь. Так в больнице появляется мясо. Но самое больное место — лекарства.

Разумеется, что при таком положении не до диеты. В больнице сто двадцать коек, и на сегодняшний день только семь из них не заняты. Больных надо чем-то кормить...

Я поинтересовался у Сергея Эдуардовича, какие болезни чаще всего преследуют пушкингорцев.

— Сложно сказать, — отвечает главный врач. — Больные поступают разные. Пневмония, язва, бронхиты — самые распространенные заболевания. Часты ишемическая болезнь сердца, недостаточность кровообращения. В последнее время участились болезни из-за плохих социальных условий... Например, бабушка из деревни имеет недостаточность третьей или второй степени: одышка, отеки на ногах, больная печень. Ей обязательно нужны мочегонные, сердечные и прочие лекарства, но она их не принимает. Нет денег. В итоге попадает к нам. Мы ее подлечим, она выйдет, а через пару недель вновь возвращается. Кладем. Подлечим. Отпустим домой. Они походят, бедные, неделю-другую, лекарств не принимают, глядишь, опять к нам... Большие сложности с бронхиальной астмой. Препараты стоят по пятьдесят — шестьдесят тысяч. Мы должны лечить по льготным ценам, но больница не в состоянии эти льготы оплачивать. То есть мы знаем, как и от чего лечить, имеем опыт, знания, но что толку? Если препарат стоит сто рублей, а пенсия триста, да еще ее задерживают...

Представить состояние врача в этом случае несложно: перед ним больной человек; рядом на аптечной полке крохотная таблетка. Возьми и дай ее больному — будет здоров. Вот и все дела. Но нет денег. И пролежит эта таблеточка без пользы. Врач оказывается бессильным, а больной чувствует себя никчемным, продолжает болеть и нередко погибает. Если бы несчастный тонул в реке или горел на пожаре — бросился бы и спас. Там между гибнущим и спасающим лишь тупая и неразборчивая стихия. Здесь же ничто не горит, никто не тонет, все на месте: врач, больной, средство от болезни. Но между ними — разумный, цивилизованный рынок.

Пока мы разговариваем с главным врачом, в кабинет вошла женщина и подписала какую-то бумагу.

— Это в Новоржев, — пояснил Сергей Эдуардович, заметив мое любопытство. — У нас заканчивается спирт, и район перечислил немного денег. Казалось бы, надо людям зарплату выдать, но приходится «закрывать» то, что больше всего горит. Без спирта работать не сможем.

— Сколько перечислили?

— Шесть тысяч... Возьмите сахарный диабет. Флакон инсулина стоит сто двадцать рублей. Больные не в состоянии его купить. Пока фонд платит только за работающих, но ведь у нас две трети больных — пенсионеры и безработные. За них-то мы денег не получаем. А без инсулина — день-два, и человек поступит к нам в коме.

— Такая ситуация повсюду?

— Да. Мы собираемся, обсуждаем. У нас один из беднейших районов области. Прибыльных предприятий нет, разве что молокозавод. Все остальные хозяйства убыточные. В бюджет нет поступлений, а педагоги кричат: давай! Культура кричит: надо! Мы тоже кричим...

Сергей Эдуардович родом из небольшого городка Себеж, находящегося на границе Псковской области и Белоруссии. По его словам, это одно из самых красивых мест области. Окончил Тверской медицинский институт. С будущей женой — Риммой — познакомился там же, в Твери, хотя она тоже из Себежа.

С 1980 года проживают в Пушкинских Горах. Жена работает здесь же, в больнице, тем самым единственным врачом-гинекологом. Живут в пятиэтажном доме, рядом с больницей. У них двое детей. Сын, Алексей, учится в медицинской академии в Санкт-Петербурге, а дочь, Маша, еще школьница. Как и всех своих пушкиногорских собеседников, я попросил рассказать Сергея Эдуардовича о его отношении к Пушкину.

— Сейчас сложно выжить, если не любить... не то чтобы Пушкина, а то, что любил сам Пушкин, и прежде всего природу: лес, реки, озера. Жду не дождусь, когда замерзнут озера. Просто мечтаю выйти, опустить удочку...

Когда Сергей Эдуардович еще работал дежурным терапевтом, судьба свела его с Гейченко. Скорее, не судьба, а болячки Семена Степановича, который доверял молодому врачу.

— Я познакомился с семьей Гейченко, и общение с ними оставило большой след в памяти. Благодаря этому знакомству я узнал многих интересных людей. Не то чтобы стал их приятелем, но лишь прикоснулся. Сейчас поддерживаю отношения с Козьминым из Петровского, с народным художником Соколовым. Такое общение помогает жить, и я отношусь к этим людям с благоговением. Они и разговаривают так, как уже никто не говорит.

Я спросил о предстоящем юбилее Пушкина и будет ли больница от этого что-нибудь иметь.

— Ничего! — уверенно сказал Сергей Эдуардович. — Когда здесь происходят какие-то праздники, мы ничего не получаем... Как-то я выступал на коллегии и признался, что от проблем руки опускаются. Меня отчитали: «Как это у главврача руки опускаются?» Может, я не так выразился, может, и руки не опускаются, пытаешься все же что-то делать, и на моем месте другой делал бы то же самое, но все-таки... Ай-ай-ай! — Главврач покачал головой.

Мы вышли в коридор. Я спросил у главврача, можно ли побывать на четвертом этаже больницы, в родильном отделении. Сергей Эдуардович согласился меня проводить, и, пока мы поднимались по лестнице, он продолжал рассказывать о жизни, о том, как по долгу службы побывал в Голландии, а проездом — в Париже, которым восхищен и очень бы хотел туда вернуться. А еще рассказал, с какой завистью смотрел на зарубежных коллег.

— Поймите, — убеждал он, — мы делаем то же самое, и не хуже. У нас специалисты первоклассные, ничем не уступим западным, руками делаем то, что они делают с помощью техники и приборов, но все же есть предел. Как там все поставлено, как продумано! Разве там может возникнуть проблема бинтов или спирта?

На четвертом этаже Сергей Эдуардович стал договариваться с врачами, чтобы они познакомили меня с кем-нибудь из рожениц. И, пока он договаривается, я представлю данные, которые взял в местном загсе.

За десять месяцев текущего года в Пушкиногорском районе родились 92 человека, из них в поселке — 41. Это больше, чем за весь 1997 год. Тогда в районе родились 87 человек. Что касается смертности, то за те же десять месяцев в районе умерли 207 человек. В прошлом году — 269. Смертность в три раза превышает рождаемость.

Браков в Пушкиногорском районе за это время было заключено 30. Разводов — 24. В прошлом году браков было 57, разводов — 37.

Теперь, имея эти сухие на первый взгляд цифры и некоторое представление о жизни в Пушкинских Горах, самое время побывать там, где люди появляются на свет Божий. Сергей Эдуардович сообщил, что сейчас в отделении три роженицы и три только что родившихся ребеночка.

Меня провели в отдельную комнату, велел подождать, пока придет кто-либо из мам, если, конечно, согласится со мной встретиться.

Спустя несколько минут в комнату вошла молоденькая женщина, в теплом голубом халатике, с серым оренбургским платком на плечах. Она показалась мне необычайно светлой, чистой и беспомощно открытой, будто сама только что родилась. И еще: она выглядела счастливой! Пятого ноября Светлана дала жизнь девочке.

Муж белорус, и имя дочери выбрали белорусское — Олеся. «Так хотел Сергей», — пояснила Света. Олеся уже второй ребенок в семье. Есть еще мальчик. Мужу тридцать лет, а Светлане, по ее словам, «чуть меньше». Она бухгалтер, но работает не совсем по профессии: ведет курсы бухгалтерского дела в местном профтехучилище. За это получает двести тридцать рублей. Сергей работает зоотехником в товариществе с ограниченной ответственностью (ТОО) под названием «Пушкин»: выращивают скот, продают мясо, молоко. Зарплату уже год получает продуктами или комбикормами. Проживают в деревне Кокорино, которая находится на окраине Пушкинских Гор, по дороге в Тригорское. Семья занимает половину дома. Родители

Светы живут в микрорайоне поселка, недалеко от больницы. Чем могут — помогают, но в основном семья старается жить самостоятельно. Есть свой участок, поэтому овощи выращивают сами. В хозяйстве есть корова, коза и куры. Содержать их трудно, но «зарплата» мужа облегчает прокорм. Деньги тратят только на хлеб, сахар и самое необходимое. Разумеется, об отдыхе думать некогда. Трудиться приходится днем и ночью, а теперь, кроме хозяйства, уже двое детей. В гости ходят редко. Только к соседям да к родителям, и то лишь зимой, когда немного посвободнее. О каких-то поездках, путешествиях и круизах не мечтают.

Светлане еще повезло. Она попала в шведский проект «Экономика ведения домашнего хозяйства» и благодаря этой удаче немного поездила, посмотрела на мир: была в Москве, Новгороде и один раз даже в Стокгольме.

— Красиво там, и уровень жизни не то что у нас, — вспоминает Света. — Но сейчас уже не до «шведских проектов». Родилась Олеся, и надо ее ставить на ноги. А было интересно. Я познакомилась с девочками из Москвы, Архангельска, Ленинграда.

— Что ждете от жизни, какие планы?

— Детей вырастить. Трудно сказать, что их ожидает, но думаю, что только хорошее. У нас с мужем такая надежда еще есть.

— То, что Пушкин рядом, как-то отзывается в вас?

— Не знаю... Раньше, когда учились в школе, было чувство гордости за то, что у нас такой поэт, а сейчас все вошло в привычку. Но все же, когда проходишь мимо Святогорского монастыря, поднимешь голову, помотришь наверх, увидишь памятник, сердце сжимается...

— Олесю понесете к Пушкину, знакомиться? Или такой традиции у пушкинцев нет?

— Я не слышала. Но, чуть окрепнет, обязательно принесу.

— А где сейчас Олеся? Что делает?

— Там, в кроватке. Спит, что же еще она может делать?

— Прямо голенькая?

— Нет, зачем? Она укутана. — Света удивляется моим вопросам...

...А чего удивляться? Кажется, что человечек пятидневный только спит — и все, а приглядишься — он и шевелится, и дрыгает ножками, размахивает ручками, перебирает пальчиками, морщит личико, а внутри вовсю стучит сердечко, кроме того, он издает всевозможные звуки, сосапывает, подает какие-то сигналы, чего-то хочет, о чем-то просит, чем-то недоволен и еще много чего делает. А как они пахнут! Все это можно наблюдать и описывать, но я боюсь даже смотреть на таких младенцев, столь хрупкими они мне кажутся. А уж на руки брать — ни за что не решусь. Нажмешь на что-нибудь, придавишь случайно, все ведь такое хрупкое... А не будешь крепко прижимать, рискуешь уронить — тоже беда. Потом они начинают ползать по комнате, и надо глядеть в оба, потому что они норовят куда-нибудь залезть, а кроме того, стараются затолкать себе в рот и съесть каждую соринку, каждую песчинку, которую и не заметишь. Но они каким-то образом видят и подбирают. Потом делают первые шаги — и тоже страшно, потому что они так ходят (!), что нет сил смотреть: постоянно обо что-то ударяются головой, падают, задевают все углы и косяки... Только и думаешь: ну когда же подрастет? А чуть вырастают, появляются новые проблемы. Не успеешь оглянуться, уже куда-то уходят, убегают, уносятся. «Куда?» — спрашиваешь. «А, с одним парнем, в одно место», — отвечают с лестничной площадки. Вот и догадывайся, что там за парень, что за «место», и только думаешь: «Не приведи Бог, если такое же, куда сам когда-то бегал», — и уже вспоминаешь то время, когда дите беззаботно ползало у тебя перед носом, беспрестанно обкакивалось и описывалось, но зато никуда не убегало...

Я попросил Свету, чтобы она сфотографировала Олесю на память, и дал ей для этого фотоаппарат. Светлана ушла в палату и через некоторое время, к моему удивлению, появилась с Олесей на руках. Девочка была укутана в светло-зеленое одеяльце, а головка, как и положено, замотана беленькой косынкой. Незакрытым оставалось только розовое личико. Олеся спала...

Она еще ничего не знает о мире, в который пришла. Не знает ни про страну, ни про время, в которое появилась на свет; кризисы, войны, распри — все это ей незнакомо. Ей одинаково неведомы ни пороки людей, ни пороки общества. Пока неведомы. Будет расти, взрослеть, набираться сил, знаний, обмотанная косынкой головка начнет вмещать в себя груз веков... И что откроется? То, что мир состоит из разных царств-государств и что у них охраняемые границы; что страны эти часто воюют между собой; что целые народы, живущие в этих странах, могут быть не только друзьями; откроется, что люди могут быть разных национальностей и вероисповеданий и часто бывают нетерпимы к не таким, как сами... смертельно нетерпимы; узнает и то, что одни могут быть сказочно богаты, а другие безнадежно бедны и что есть на-

чальники, а есть подчиненные... Олеся всего этого не знает и лишь крепко спит. Мир для нее девственно чист и непорочен. Так же, как и она непорочна для мира. Но уже скоро, очень скоро окружающий мир будет вторгаться в ее жизнь, станет нарушать покой, заявлять о себе, подчинять своим правилам и нормам, заставит считаться с мнением и нравами, предложит испытания и соблазны — словом, будет пытаться сделать Олесю своею частью, такой же разноликой, двусмысленной и противоречивой, как сам, и призывает для этого все силы ада.

Сможет ли Олеся сохранить себя? Сумеет ли уберечься от жестоких ветров, которые обдувают всякого, пытающегося выстоять, удержаться, не пропасть?

Сможет! Если только вовремя узнает, что ради спасения ее ровно две тысячи лет назад родился другой Младенец. Он так же беззащитно лежал в яслях, и над Ним так же заботливо склонялась Мать. Выстоит и сохранится, если узнает еще об одном младенце, родившемся ровно за два века до нее, и если откроет для себя мир пушкинских сказок, где зло, каким бы сильным и могущественным ни казалось, остается поверженным, а добро, сколь бы хрупким и уязвимым ни было, торжествует! Спасется, если откроет вместе с этим миром и свою страну — Россию и обретет в ней свою неугасимую любовь.

Но что откроется прежде: пороки мира или откровения, благодаря которым этот мир еще не пропал, не исчез? Кто первым принесет Олесе благую весть? Не эта ли молоденькая светлолицая женщина в голубом халатике?

В зрелом возрасте Олеся встретит 200-летие со дня смерти Пушкина. Будет ли рассказывать, что появилась на свет в пяти минутах ходьбы от могилы поэта, в канун 200-летия со дня его рождения, но была грудной и потому ничего не помнит? Конечно же, будет. А ее внук отметит уже трехсотлетие поэта, и уж он-то расскажет о своей бабушке, которая встречала двухсотлетие Пушкина в... пеленках. Это будет через век! Кажется, не скоро.

А где-то неподалеку от больницы живет в одиночестве девяностосемилетняя Анна Васильевна, бывший школьный бухгалтер, о которой поведала в своем горьком рассказе Алевтина Васильевна. Она родилась, когда Пушкину немногим перевалило за сто, и вполне могла быть знакомой детей поэта или по крайней мере видеться с ними. В 1898 году в слободе Тоболонец еще жил 81-летний старик Иван Иванович Лощоник, который помнил живого Пушкина и видел мертвого: он был певчим при погребении поэта утром 6 февраля 1837 года. Мне неизвестно, сколько он прожил еще, но разве не мог он видеть Анну Васильевну в младенчестве, хотя бы так, как я сейчас вижу Олесю? А в 1924 году умерла Акулина Илларионовна Скоропостижная, прожившая на Ворониче все свои 105 лет! Она-то не просто видела Пушкина — играла с ним в городки и мячики, ходила в лес по грибы и ягоды, чаевничала с поэтом в доме отца — священника Иллариона Раевского. Акулина Илларионовна умерла, когда Анна Васильевна было почти столько же, сколько сейчас маме Олеси. Неужели они не могли быть знакомы?

Через сто лет внук Олеси сможет сказать потомкам, что его бабушка могла видеть женщину, знавшую того, кто разговаривал с Пушкиным!

Вот вам и время. Плюс-минус сто лет. Бесконечно много. А в действительности...

В последний вечер своего пребывания в Пушкинских Горах я решил поужинать в ресторане. Никаких встреч больше не планировал и, честно говоря, уже устал. Теперь можно немного отдохнуть, собрать вещи и утром отправиться в Москву.

В гостинице, кроме меня, проживал лишь один постоялец — командированный реставратор, кажется, из Владимира. Он работает наездами, по десять дней, затем уезжает — и так в течение года или даже двух. Что он реставрирует — неизвестно, но, видимо, нечто важное, если находят средства для обеспечения его деятельности.

Я уже видел однажды этого реставратора именно в ресторане. Сидел он за самым дальним столиком, да еще за квадратной колонной, чтобы меня вовсе не было видно. Он невысокого роста, круглолицый, с густой черной бородой. Я не заметил, чтобы он с кем-нибудь разговаривал. Даже рассчитываясь с официантом, он ограничивался жестами, молча выкладывал деньги, какое-то время неподвижно сидел, глядя перед собой, затем уходил к себе в номер, и до утра его больше никто не видел.

В этот вечер реставратор задержался в гостиничном вестибюле, чтобы посмотреть книги, которые здесь же продавала женщина, столь жестокосердно сократившая число гениев XX века до двух. Все продаваемые ею книги так или иначе связаны с Пушкиным и Пушкиногорьем. Когда я вышел из ресторана, то застал оживленную дискуссию этой женщины с реставратором. Речь шла о каком-то стихотворении Пушкина. Продавец доказывала, что оно было посвящено Воронцовой, а реставратор упоминал другую даму.

Я притворился, будто рассматриваю книги, сам же слушал дискуссию, которая мне показалась очень интересной и полезной. Речь шла о стихотворении «Желание славы». Ссылались оппоненты на какие-то книги, письма, новейшие исследования, на мнения и догадки специалистов-пушкинистов, в которых, очевидно, разбирались и за которыми следили от рождения. Я с уважением отношусь к одержимым личностям, особенно к пушкинистам, но сам, увы, мало понимаю в этом деле и в подобной дискуссии едва ли смог бы участвовать. Тем не менее спорщики так меня раззадорили, что я бросился в номер, достал томик Пушкина, еще несколько биографических книг о поэте, которые привез с собою, и, вместо того, чтобы собирать вещи или отдохнуть перед дорогой, до глубокой ночи разбирался с этим самым стихотворением, некогда написанным здесь, в Михайловском.

Первым делом я его не спеша прочел, вспомнив мудрый совет: «Лучший пушкинист — сам Пушкин. Надо его внимательнее читать и стараться понять. Там все сказано».

Вновь и вновь я перечитывал пушкинское стихотворение, оставлял его, заглядывал в справочную и биографическую литературу, снова возвращался к стихотворению, ещё раз перечитывал... В голове рождались все новые вопросы, они отсылали к другим произведениям, и конца этому не было...

В конце весны и в начале лета 1823 года Пушкин несколько раз приезжал в Одессу из Кишинева «на морские купания», а в первых числах июля переехал сюда уже окончательно. Вот как описывает Одессу тех дней поэт В. И. Туманский, воспетый Пушкиным в «Странствии» Онегина. Это краткое описание важно для более ясного представления о том, куда именно прибыл Александр Сергеевич.

«<...> Одесса соединяет всю надутость и безнравственность столиц со всеми мелкими заботами и невежественными сплетнями уездных городов. Такое состояние вещей дает на первый раз приезжему образованному человеку важную и прекрасную роль в обществе. На него все глядят с большим вниманием: одни его боятся, другим он нравится. Но сие продолжается очень не долго <...>»

Конечно, для понимания душевного и психологического состояния поэта важно знать и то, откуда он прибыл. Для этого достаточно заглянуть в письма Пушкина из Кишинева или вспомнить, что именно Молдавия вдохновила его на стихи, которые впоследствии распевали (и до сих пор поют) во всех российских тюрьмах: «Сижу за решеткой в темнице сырой...»

Итак, вскоре по прибытии в Одессу до него доносится слух о необычной молодой женщине, иностранке, наполовину итальянке, наполовину немке, за которой волочится вся Одесса, которая по-русски ничего не понимает, но зато понимает во всем остальном: хоть и замужем, ведет себя вольно, со всеми заигрывает, а затем отворачивается и уходит. Она и одета не так, как все, и выглядит экстравагантно, и походка особенная. А какие глаза, шея и, главное, черная коса — больше метра длиной... Говорили, наверное, и еще что-нибудь, да такое, что, быть может, Пушкин, еще и не будучи знаком с иностранкой, уже был готов в нее влюбиться.

Познакомился с нею в июле. Как это бывает не только у Пушкина — влюбился, добился «взаимности» и, казалось, через неделю-другую роману пора бы заканчиваться... Но произошло нечто такое, чего с нашим поэтом еще не случалось. Амалия стала относиться к нему, как и ко всем прочим своим поклонникам и ухажерам. Не нарочно, без злого умысла и скверных намерений. Такого дурного качества в ней не было. Просто так была устроена, что поделаешь? Это для сентиментальных русских в Одессу приехал Пушкин, поэтический гений; это для местных высокородных дам он интересен уже тем, что каждую из них мог бы воспеть, украсить стихом, даже строкой, и такое открыт, чего они о себе и предположить не могли. А иностранке... Что ей Пушкин? Необычен? Да, конечно. Подвижен, шустр, самоуверен, что в нем еще? Современники свидетельствуют, что в то время волосы его были острижены под гребешок или даже обриты: то есть не было даже его знаменитых кудрей. Читала ли она его стихи, знала ли вообще, с кем имеет дело? Наверное, нет. И вот она начала постепенно к нему остывать. Да, может, и не остывать, но исчез тот трепет, то неистовство, которое было вначале и без которого Пушкин уже обходиться не мог. «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей и тем ее вернее губим...» Рекомендовано мужчинам, но если кто думает, что этой лукавой формулой не могут воспользоваться женщины, опасно заблуждается.

Простишь ли мне ревнивые мечты,  
Моей любви безумное волнение?  
Ты мне верна: зачем же любишь ты  
Всегда пугать мое воображение?

Чем же она его так «пугала»?

Воображение Пушкина — невероятное, безграничное, такое, какого, быть может, не было ни у кого, способное нарисовать целостную картину, кажется, из ничего, из пустяка, из воздуха. Если же есть намек, едва уловимый, едва зримый, для всех прочих отсутствующий — зоркий глаз поэта, его непревзойденный слух и чувствительное сердце не оставят этот намек без внимания. Так рождается шедевр, восхищающий и своим совершенством, и очевидностью, и простотой замысла, а еще тем, что основа его лежит на поверхности, рядом с каждым, настолько близко, что касается всякого и всех вместе. Процесс воображения поэта неостановим даже на мгновение. А она, Амалия, это воображение будоражила. Чем? Кокетством с другими, бегством от него, сокрытием каких-то своих дел, встреч, намерений и планов, на что Пушкин согласиться и с чем смириться никак не мог: она всецело должна принадлежать ему.

...Окружена поклонников толпой,  
Зачем для всех казаться хочешь милой,  
И всех дарит надеждою пустой  
Твой чудный взор, то нежный, то унылый?..

Побыла милой для всех, увидела Пушкина, призналась ему в любви — и хватит! Теперь только он, только он — и никто другой. Так происходило у Пушкина до сих пор. Так было с другими женщинами, не худшими, чем Амалия, или даже лучшими, которые, однажды встретив поэта и сблизившись с ним, потом уже целиком принадлежали ему... До тех пор, пока он сам позволял оставаться с собой. А теперь? Теперь все не так, все по-другому, почему-то не он, а она диктует правила их отношений, а ему остается лишь подчиняться этим правилам, подчиняться ей... К тому же такой ли уж «надеждою пустой» одаривает она своих бесчисленных поклонников? Или это самообман, чтобы успокоить себя и не сходить с ума от ревности?

...Мной овладев, мне разум омрачив,  
Уверена в любви моей несчастной,  
Не видишь ты, когда, в толпе их страстной,  
Беседы чужд, один и молчалив,  
Терзаюсь я досадой одинокой;  
Ни слова мне, ни взгляда... друг жестокий!..

Что происходит? Наш поэт попал в ситуацию, в которой прежде не был. Что-то похожее было, но прежде не было такой страсти, тогда он еще ничего в настоящей любви не понимал, не знал ей цену, был молод и, осознавая, что вся жизнь впереди, многим пренебрегал, от многого отказывался. Теперь же... Она, уверенная в его безумной любви, в том, что никуда от нее не денется и будет, стоя на коленях, ждать, ждать и ждать, позволяет себе куражиться. Какая жестокость! Как такое могло случиться? И с кем!.. Говорят, что однажды Пушкин в порыве ревности пробежал пять верст по тридцатипятиградусной жаре без головного убора. Можно пробежать и десять верст, и двадцать, только куда же убежишь от себя? Куда спрячешься?

Хочу ль бежать, — с боязнью и мольбой  
Твои глаза не следуют за мной.  
Заводит ли красавица другая  
Двусмысленный со мною разговор, —  
Спокойна ты; веселый твой укор  
Меня мертвит, любви не выражая.

А это как прикажете вынести и пережить? Бросить? Отвернуться? Забыть? Но это значит — согласиться с тем, что и ты, как все, и с тобою тоже могут приключаться истории, достойные памфлетов и насмешек, что и ты простой смертный и стоишь в бесконечном ряду жертв любви, ее козней, жутких затей и безумств.

А Пушкин действительно обезумел. Что это, если не безумство? Узнает ли себя сам спустя какое-то время? Это ведь и не стихи даже, а нечто такое, в чем разглядеть нашего великого поэта никак нельзя. Какие-то мелодраматические жалобы, сентиментальная рифмованная проза, с воплями отчаяния и безнадеги... Такое сочиняют несчастные и отчаявшиеся любовники, и не только в Одессе.

...Скажи еще: соперник вечный мой,  
Наедине застав меня с тобой,  
Зачем тебя приветствует лукаво?..  
Что ж он тебе? Скажи, какое право  
Имеет он бледнеть и ревновать?..  
В нескромный час меж вечера и света,  
Без матери, одна, полуодета,  
Зачем его должна ты принимать?..

Беда поэта в том, что нельзя себе запретить страдать, запретить чувствовать и тем самым совершать насилие над душой и сердцем. Одной такой экзекуции может оказаться достаточно, чтобы сердце больше никогда не страдало, не чувствовало любви и не верило в нее. Для Пушкина это губительно. Иной может переживать молча, внутри себя, накладывая запреты на эмоции — какая зависть к таким! Но Пушкин здесь бессилен.

«И слава Богу!» — говорим мы, наслаждаясь его поэзией.

«Не дай Бог кому такого», — признавался он сам.

...Но я любим... Наедине со мною  
Ты так нежна! Лобзания твои  
Так пламенны! Слова твоей любви  
Так искренно полны твоей душою!

Он «любим»! Он еще в это верит и пытается убедить всех остальных и в первую очередь себя. Зачем? Не потому ли, что на самом деле этого уже давно нет? Может, Пушкин наивен? Если и да, то лишь на мгновения. Остатки былого счастья иногда задерживаются благодаря нашей наивности. Это не только ей — самому смешно.

...Тебе смешны мучения мои;  
Но я любим, тебя я понимаю.  
Мой милый друг, не мучь меня, молю:  
Не знаешь ты, как сильно я люблю,  
Не знаешь ты, как тяжко я страдаю.

Амалия действительно ничего этого не знала, не могла знать и, наверное, не хотела. Все эти и другие, нам неизвестные мучительные возгласы уходили в песок, в никуда, потому что та, которой они были адресованы, уже была далеко сердцем и душою, а вскоре и вовсе уехала из Одессы и из России вообще. Он ради воображаемой Ее готов был оставить все. Она же, чтобы не потерять воображаемое все, предпочла оставить его.

...Все кончено: меж нами связи нет.  
В последний раз обняв твои колени,  
Произносил я горестные пени.  
Все кончено — я слышу твой ответ.  
Обманывать себя не стану вновь,  
Тебя тоской преследовать не буду,  
Прошедшее, быть может, позабуду —  
Не для меня сотворена любовь.  
Ты молода: душа твоя прекрасна,  
И многими любима будешь ты.

Это еще не Пушкин, не тот всемогущий и великий, но уже и не несчастный любовник. Рана еще кровоточит, боль не угасла, но надежды уже оставлены и самообмана больше нет.

Какие выводы?

«Встречу лучшую, более достойную и вновь так же страстно буду любить?» А может: «Больше уже никого не встречу? Впредь не хочу таких мучений!» И среди этих «выводов» — самый мрачный: «Не для меня сотворена любовь».

А если так, то заглушить неразделенную любовь сможет любовь других к себе. Заглушить, но не заменить. Пушкин и отдается этому, точнее, не отвергает. Кто-то осуждает, со всех сторон сыпятся обвинения, до сих пор не могут разобраться в списках, сбились со счета, слышится отовсюду: «Какой грешник!» А как тут не стать грешником? Как все это вынести? Чем спастись? Работой, в которую уйти с головой? Но кому все эти стишки и поэмы нужны, если та, которой все предназначалось и было брошено к ногам, отвернулась и исчезла! Может, потомкам или России? Но что это все значит без нее? Какая пустота!..

...Прошла любовь, явилась муза,  
И прояснился темный ум.  
Свободен, вновь ищущий союза  
Волшебных звуков, чувств и дум;  
Пишу, и сердце не тоскует...

Эти легкие строки почему-то приводятся в доказательство того, что Пушкин вскоре успокоился, пришел «в норму» и уже не страдал. Но разве можно «этому» Пушкину верить? Разве не очевиден и здесь самообман? Или не чувствуете, как хорохорится наш поэт, столько раз и до и после доказавший, что муза и любовь для него есть одно целое и друг без друга существовать не могут?

Оказавшись вдали от всего, что только есть на белом свете, здесь, в Михайловском, в тиши и уединении, где царствуют лишь скука и тоска, можно ли вылечиться? Можно ли отойти от сумасшествия, успокоиться, забыться, увлечься? Это на два-три

дня приедешь, полюбишься природой, побродишь по рощам и аллеям, посидишь на берегу Сороти, повздыхаешь — да обратно. А поживи-ка здесь среди уток и коров годик-другой — взвоешь! И ничего, совершенно ничего такого, что дает забыть, что уносит прочь, заставляет думать о чем-то ином, кроме того, что болит и тревожит. Напротив, как раз эти-то унылые пейзажи, как ничто другое, располагают именно к тому, чтобы тосковать и без конца мучиться, мучиться, мучиться, «...воспоминания с грустью иные берега, иные волны...».

Какое счастье, что еще есть Тригорское с Прасковьей Александровной и этими барышнями, ее дочерьми! Без них бы совсем пропал.

«...Оставила, отвернулась, обманула, разочаровала, и кого? Его, Пушкина! И на кого променяла? На какого-то шляхтича, совершенно пустого, ничего из себя не представляющего! На что поддалась? На какие-то деньги, на обещания достатка и счастливой безбедной жизни. И эту-то мелочь она предпочла ему, Пушкину, который одним словом, легким напряжением своей божественной мысли и своего бесконечно большого сердца мог сделать ее счастливейшей из всех женщин мира. Да что там: сам мир готов был положить к ее ногам и заставить этот мир смотреть на нее и восхищаться так, как не восхищался мир еще ни одной женщиной! Отвернуться от этого! Какая беспечная и несчастная душа!.. Страшно за нее».

Вот это уже Пушкин! Узнаём его, нашу радость, нашу надежду, нашу любовь, вновь видим того, кто есть наше Солнце, наша неугасимая и ни с чем не сравнимая гордость! Вот откуда и для чего «Желание славы»!

Когда, любовию и негой упоенный,  
Безмолвно пред тобой коленопреклоненный,  
Я на тебя глядел и думал: ты моя,—  
Ты знаешь, милая, желал ли славы я;  
Ты знаешь: удален от ветреного света,  
Скучая суетным прозванием поэта,  
Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал  
Жужжанью дальнему упреков и похвал.  
Могли ль меня молвы тревожить приговоры,  
Когда, склонив ко мне томительные взоры  
И руку на главу мне тихо наложив,  
Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив?  
Другую, как меня, скажи, любить не будешь?  
Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь?  
А я стесненное молчание хранил,  
Я наслаждением весь полон был, я мнил,  
Что нет грядущего, что грозный день разлуки  
Не придет никогда... И что же? Слезы, муки,  
Измены, клевета, все на главу мою  
Обрушилось вдруг... Что я, где я? Стою,  
Как путник, молнией постигнутый в пустыне,  
И все передо мной затмилось! И ныне  
Я новым для меня желанием томим:  
Желаю славы я, чтоб именем моим  
Твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною  
Окружена была, чтоб громкою молвою  
Все, все вокруг тебя звучало обо мне,  
Чтоб, гласу верному внимая в тишине,  
Ты помнила мои последние моления  
В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья.

«...чтоб именем моим твой слух был поражен всечасно...» Что в сравнении с этой колоссальной жадной экспансии жалкие намерения всех чингисханов, наполеонов, гитлеров, сталиных и прочих тиранов, одно упоминание коих в одной строке с Пушкиным кажется смешным, пошлым и нелепым! Куда им всем до этого отважного и безумного вызова всему миру и что в сравнении с ним их жалкие победы! И посмотрите, откуда исторгнут был этот вселенский вызов, из каких мест произошел этот чудовищный взрыв! Из маленького, захолустного, едва видимого и совсем неслышного уголка!

...Открываю «Путеводитель по Пушкину», аттестованный как «уникальная Пушкинская энциклопедия, памятник отечественной филологической науки, не имеющий аналогов по блеску и количеству собравшихся вокруг него «звезд». Читаю на странице 91: «Стих. «Желание славы» надо отнести к Воронцовой потому, что стихи 18—22 бесспорно говорят о высылке Пушкина из Одессы...»

Дорогой читатель, потрудитесь и отсчитайте до восемнадцати, а потом прочтите... Неужели Пушкин может отнести столь откровенное душевное и сердечное мучение свое к чему-то иному, нежели к любви? Разве существует для него еще что-нибудь, могущее вызывать слезы и муки?



Для власти, для грубой, циничной, солдафонской камарильи, для всей этой пошлой толпы и отдельных ее представителей у него есть другое оружие. Оно лишено слез, сентиментов и душевной боли. Не хватало еще на это тратить свое большое, теперь еще и разорванное в клочья сердце. Не слишком ли жирно для отечественного начальства? Для них — желчные эпиграммы, так, для забавы, а по-серьезному — «Бориса Годунова», и достаточно. Хватит на все времена!

Остальное, самое ценное, самое дорогое, самое чувственное, то, что составляет его потаенный внутренний мир, — только любви, только ей и ничему иному.

Все в жертву памяти твоей:  
И голос лиры вдохновенной,  
И слезы девы воспаленной,  
И трепет ревности моей,  
И славы блеск, и мрак изгнания,  
И светлых мыслей красота,  
И мщенье, бурная мечта  
Ожесточенного страданья.

Говорят, время лечит. Да, лечит, унося все дальше и дальше от всякого горя, от всякой беды. «О как тебя я стану ненавидеть, когда пройдет постыдной страсти жар...» Время вылечивает даже ненависть, заменяя ее равнодушием. Случилось бы так и с нашим Пушкиным, успокоился бы и он. Прошло бы в конце концов и «ожесточенное страданье»... если бы не произошло то, чего не предвиделось. Спустя год после расставания с поэтом и отъездом за границу Амалия умерла. Смертью своей она остановила время. То самое, которое лечит.

«Усл<ышал> о с<мерти Ризнич> 25 <июля 1826 г.>». Тогда же Пушкин узнал и о казни декабристов...

Под небом голубым страны своей родной  
Она томилась, увядала...  
Увяла наконец, и верно надо мной  
Младая тень уже летала;  
Но недоступная черта меж нами есть.  
Напрасно чувства возбуждал я:  
Из равнодушных уст я слышал смерти весть,  
И равнодушно ей внимал я.  
Так вот кого любил я пламенной душой  
С таким тяжелым напряженьем,  
С такою нежною, томительной тоской,  
С таким безумством и мученьем!  
Где муки, где любовь? Увы, в душе моей  
Для бедной, легковерной тени,  
Для сладкой памяти невозвратимых дней  
Не нахожу ни слез, ни пени.

Из этого почему-то делают вывод: «Пушкин остался равнодушным к смерти Ризнич».

Но я не нахожу здесь равнодушия. Слышу лишь первое впечатление, легкий, неосознанный набросок после неожиданного известия и странный восклицательный знак там, где до сих пор стоял вопросительный: «Так вот кого любил!..» Пушкин еще не догадывается, что произошло. Он не успел понять, что теперь уже некого поражать ни всечасным слухом о себе, ни славою своею, ни именем; и окружать собою теперь тоже некого, и сожалеть, и страдать о нем, великом Пушкине, легкомысленную Амалию уже ничто не заставит. Он лишен возможности отдать сполна долг и уже никогда не сможет утолить свое «ожесточенное страдание». Пушкин остался один на один с тенью.

Что в сравнении с этим карточный долг, невыносимый для имеющего честь игрока! Что долг невыстрелившего дуэлянта, цену которому так хорошо знал наш поэт!

Для берегов отчизны дальней  
Ты покидала край чужой;  
В час незабвенный, в час печальный  
Я долго плакал пред тобой.  
Мои хладящие руки  
Тебя старались удержать;  
Томленья страшного разлуки  
Мой стон молил не прерывать.  
Но ты от горького лобзанья  
Свои уста оторвала;  
Из края мрачного изгнания  
Ты в край иной меня звала.

Ты говорила: «В день свиданья  
Под небом вечно голубым,  
В тени олив, любви лобзанья  
Мы вновь, мой друг, соединим».

Но там, увя, где неба своды  
Сияют в блеске голубом,  
Где тень олив легла на воды,  
Заснула ты последним сном.  
Твоя краса, твои страданья  
Исчезли в урне гробовой —  
А с ними поцелуй свиданья...  
Но жду его; он за тобой...

Написано в конце ноября 1830 года! Спустя шесть лет после разлуки с Амалией, через пять лет после ее смерти и... за два с половиной месяца до женитьбы на Наталье Николаевне Гончаровой, за которой целых два года страстно ухаживал и руки которой добивался.

Знатоки утверждают, что в это же время Пушкин с такой же страстью «добивался» руки и других женщин. Приводятся письма, воспоминания, прочие доказательства пушкинского непостоянства. А по мне, ничего удивительного в том нет: ключья разорванного сердца как будто устремились в разные стороны в надежде отыскать ту, которой удастся их вновь собрать воедино. Кто это будет? — второй вопрос. Главное, что такая нужна срочно, сейчас, немедленно, и чем больше времени уходит без нее, тем опаснее становится жизнь поэта, тем сильнее он ощущает приближающуюся гибель. Жена, дети, дом — словом, семейные оковы, в которые намеренно хотел заковать себя Пушкин, оставались последней надеждой хоть на какие-то перемены.

В любом случае такую женщину он нашел и на то, чтобы вполне разобраться, «она это или нет?», времени тратить не стал. Этого времени у него не было. Пушкин действительно пропал. Повторим: неразделенную любовь можно заглушить, но заменить — нельзя. Он же искал замену и предпочитал обманываться, будто нашел. Обманывался, потому что втайне думал о другой.

О, если правда, что в ночи,  
Когда покоятся живые,  
И с неба лунные лучи  
Скользят на камни гробовые,  
О, если правда, что тогда  
Пустеют тихие могилы,—  
Я тень зову, я жду Лейлы:  
Ко мне, мой друг, сюда, сюда!  
Явись, возлюбленная тень,  
Как ты была перед разлукой,  
Бледна, холодна, как зимний день,  
Искажена последней мукой.  
Приди, как дальняя звезда,  
Как легкий звук иль дуновенье,  
Иль как ужасное виденье,  
Мне все равно: сюда, сюда!

Зову тебя не для того,  
Чтоб укорять людей, чья злоба  
Убила друга моего,  
Иль чтоб изведать тайны гроба,  
Не для того, что иногда  
Сомненьем мучусь... но, тоскуя,  
Хочу сказать, что все люблю я,  
Что все я твой: сюда, сюда!

Самых счастливых из нас женщины одаривают неистовой и безудержной любовью. При том далеко не каждая столь же безоглядно и безмятежно влюбляет нас в себя. Но только одной суждено открыть нам истинную цену такой любви.

Увлеченный чтением пушкинских стихов и размышлениями над ними, ежеминутно совершая все новые и новые для себя открытия и откровения, я не заметил, что время уже далеко за полночь. Выглянув в окно, я наблюдал, как яркие фонари высвечивают крупные хлопья снега, а те медленно опускаются на землю.

...В Пушкинских Горах самая настоящая зима!



Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ

---

## М а й

### 1.5.1931

Торжественно открыт самый высокий на тот момент небоскреб Эмпайр-Стейт-Билдинг. Имевший 102 этажа и возвышавшийся на 381 метр, он долгое время был самым высоким зданием в мире. Но, даже несмотря на то, что первенство в 1970 году было утрачено, небоскреб этот оставался символом. Символом не столько индустриального могущества — возвышения, сколько символом того, над чем он возвышается, — земной нищеты и бедствий. Любопытно, что в неявном виде это можно разглядеть даже там, где, казалось бы, речь идет о торжестве прогресса, вознесшегося над мутными водами истории. В стихотворении А. Вознесенского, в котором поэт прикидывает, что станется после поворота сибирских рек, и представляет, как вечные льды планеты растают, задан неожиданный вопрос: «...не ”сколько ангелов на конце иголки?”, но — ”сколько человечества уместится на шпиле Эмпайр-Билдинг и Останкино?”»

Оказалось бы ошибкой посчитать спасение на верхотуре нью-йоркского небоскреба современным вариантом библейской истории, таким технологическим Арааратом. Тут следует учесть, что стихотворение относится к 1973 году, когда Эмпайр-Стейт-Билдинг давно стал привычным, даже заурядным явлением. Технологии изменились, а система трагических ассоциаций осталась.

### 2.5.1968

В Париже начались студенческие волнения. Может быть, впервые в истории с такой очевидностью было заявлено: скопление людей есть, главным (единственным?) образом, биологическая масса. То, что бунтовали люди с определенным уровнем образования, будущие интеллектуалы, то, во что вылился их бунт, и то, как поступили власти, восстанавливая законный — хороший ли, нет — порядок, свидетельствует все о том же. Про философию толпы и про поведение человека в толпе написаны сотни, тысячи книг, но выяснилось: точнее других понял и определил это явление Элиас Канетти в работе «Масса и власть», которая, впрочем, так и осталась неоконченной.

### 3.5.1990

Английский карлик Дейвид Раппопорт, известный по фильмам «Бандиты времени» и «Невеста», а также по телесериалу «Закон Лос-Анджелеса», покончил жизнь самоубийством в том же Лос-Анджелесе (будто давая дополнительный смысл названию сериала). Что побудило его так поступить? Одиночество? Несхожесть с прочими? Сколь отлична его судьба от судьбы другого популярного киноактера, карлика Федорова (более известен широкой российской публике не ролями в кино, а участием в программе «Золотая лихорадка»)! Федоров активно снимается, участвует в жизни страны (однажды он даже возглавлял демонстрацию, неся небольшой — по руке — трехцветный флажок). Лишнее подтверждение, что человек — всего-навсего материал, который формует история, однако и сам человек воздействует на среду, в которой он обитает, пытается сделать ее изоморфной себе.

### 4.5.1935

Сталин произнес хрестоматийную фразу: «Кадры решают все!» Поразительно, сколь много афоризмов принадлежит этому, как считают, не очень умному и малообразованному человеку. Тут есть о чем подумать.

### 5.5.1952

Третья редакция «Песни о Германии», знаменитой «Дойчланд, Дойчланд юбер аллес», принята в качестве национального гимна Западной Германии. По сути, несмотря на то что слова песни менялись, духовная преемственность торжествовала. Следует напомнить: во времена третьего рейха эта песня являлась как бы призывом

к расширению жизненного пространства. И еще одно соображение по ходу. Что может дать изменение слов? Главное назначение речи — скрывать, в крайнем случае вызывать намерение, некую вероятность. Музыка же абсолютна.

#### 6.5.1954

Закончено начатое год назад «Дело Оппенгеймера». Американского физика, отказавшегося участвовать в разработке ядерного оружия, обвинили в крамоле, приписали ему коммунистический образ мыслей. Р. Оппенгеймер вышел из переделки без особых потерь: его лишь отстранили от участия в секретных проектах. «Дело Оппенгеймера» стало выражением почти нарицательным. Это был едва ли не первый случай, когда ученый поступил своими научными интересами ради своих гражданских убеждений. И все бы хорошо, кабы не появившаяся недавно информация: любовницей Оппенгеймера какое-то время была советская разведчица, одновременно крутившая роман с самим Эйнштейном. А вдруг «Дело Оппенгеймера» так и останется в истории языка выражением нарицательным, однако поменяет при этом внутренний смысл? Но тогда, вполне возможно, и за словами Галилея: «А все-таки она вертится!» скрыта какая-то любовная интрига.

#### 7.5.1988

В Бостоне прошло первое собрание людей, по их заявлениям подвергшимся в разное время похищению инопланетян. Вероятно, им было о чем побеседовать и даже о чем поспорить.

#### 8.5.1956

В лондонском театре «Инглиш стейдж компани» (там, где ставились все его новые произведения) состоялась премьера пьесы Джона Осборна «Оглянись во гневе». С этой пьесы, а вернее, с этой премьеры началась эра «сердитых молодых людей».

#### 9.5.1960

В США стали продавать первые в мире противозачаточные таблетки, что в очередной раз подтвердило: хотя внутренне пространство человека замкнуто, в пространство это существует множество входов. Метафорическая правота библейского текста снова была поставлена под сомнение: семя не падало ни на камень, ни на бесплодную почву и притом не приносило плодов.

#### 10.5.1941

Заместитель фюрера по партии Рудольф Гесс совершил перелет в Англию. Смысл его действий до сих пор так и не разгадан, делают лишь робкие предположения, почему партийный деятель такой величины втайне ото всех отправился в стан врагов. Считается, что Гесс хотел предложить Англии союз от имени Германии (хотя никаких полномочий у него на сей счет не имелось). Возможно, Гесс рассчитывал на свои связи в оккультных кругах — он и сам долгое время интересовался оккультизмом. Возможно, он выполнял некую тайную миссию, которая не удалась. Немцы объявили его умалишенным, англичане обходились как с военнопленным высокого ранга. Может быть, это было одной из форм мессианства, может, он и вправду хотел заключить союз между двумя враждебными державами — и то, и другое сродни сумасшествию. А может, Гесс и действительно сошел с ума.

#### 11.5.1981

В Лондоне прошло представление мюзикла Э. Ллойда Уэббера «Кошки», написанного на тексты, взятые из стихотворного сборника Т. С. Элиота «Старый Опосум, практическое руководство по котам и кошкам». «Кэтс» начали триумфальное шествие по отнюдь не триумфальному миру.

#### 12.5.1935

Биллом У, он же Вильям Уилсон, основал общество анонимных алкоголиков в Акроне, штат Огайо (США). Любопытно, сколь точно уловил основатель общества саму суть явления. Пьющий человек истинно анонимен. Он нуждается в общении и одновременно боится раскрыть себя, стыдится собственного падения, маскируя жгучий стыд и развязностью, и агрессивностью, и явной ложью. Особенно хорошо это заметно в рассказах о себе и своей жизни, однако поведанных как о ком-то третьем. Сколько таких исповедей прозвучало и возле пивного ларька, и на скамейке парка, и на детской площадке под каким-нибудь там грибочком, и в заштатной рюмочной. Иногда рассказчик переходит на первое лицо, вместо «он» говорит «я» и сразу же исправляется, продолжая скорбную повесть о вероломном друге, неверной жене и потерянном навсегда домашнем уюте. О себе напрямую он не смог бы сказать ни слова (сейчас этот закон «стыдливой анонимности» нарушается все чаще, что свидетельствует о цинизме, разьевшем общество до самых корней).

#### 13.5.1981

На площади Святого Петра в Риме ранили Папу Иоанна Павла II. Кроме него, пострадали также окружающие. Все происходило на глазах двадцатитысячной тол-

пы. Собственно говоря, турок, стрелявший в Папу Римского, по-своему не нарушил ни единого закона (разумеется, кроме закона человечности, распространяющегося равно на всех). Что же, и Папа Римский — смертен. Но самое смешное, что это покушение едва не превратили в фарс, переложив вину на болгарские спецслужбы (вслушайтесь в последнее словосочетание!).

#### 14.5.1948

Провозглашено создание государства Израиль, государства, которое на следующий же день после своего образования вступило в войну. Такого в истории человечества, кажется, еще не было.

#### 15.5.1961

Папа Иоанн XXIII в энциклике «Mater et magistra» заявил о том, что трудящиеся имеют право участвовать в управлении производством, а также имеют право на долю произведенных материальных ценностей. Подобное признание сродни даже не реформации, а религиозному перевороту и появилось для того, чтобы примирить человека с миром и порядками, царящими в этом мире.

#### 16.5.1929

На банкете в голливудском «Рузвельт-отеле» (США) прошла первая церемония вручения наград Американской киноакадемии. Тогда этот приз еще не носил название «Оскар».

#### 17.5.1985

Вышло знаменитое Постановление ЦК КПСС о мерах по искоренению пьянства и алкоголизма. Не следует обсуждать абсурдность предложенных мер. Следует подумать о другом. Вряд ли Аттила или Александр Великий совершали свои деяния в безумной уверенности, что смогут покорить все народы и править миром. Вернее предположить, что они мечтали остаться в памяти людской и понимали, сколь это сложно. Империи распадаются, завоеванное отнимают те, кто сильнее. Длится только молва. Чтобы остаться в народной памяти, Горбачеву достало бы антиалкогольной кампании.

#### 18.5.1910

Комета Галлея прошла возле Солнца, но, несмотря на многочисленные предсказания грозных бедствий — огромных приливных волн, чумы и прочих несчастий, ничего не произошло. Жить стало снова скучно.

#### 19.5.1987

Обитательница дома номер 10 по Даунинг-стрит, где находилась резиденция премьер-министра Великобритании, полосатая кошка Вилберфорс умерла. Когда-то ее торжественно пригласили сюда, чтобы решить проблему с мышами. На протяжении 14 лет, пока Вилберфорс обитала в этих апартаментах, сменились четыре премьер-министра.

#### 20.5.1959

В Париже арестован первый в мире преступник, которого опознали по фотороботу. Уже хотя бы потому имя этого человека достойно упоминания. Его звали Гай Требер.

#### 21.5.1937

Первая советская дрейфующая научно-исследовательская станция «Северный полюс» начала свою работу. Успехами советских ученых стоило бы гордиться, но даже естественное чувство гордости окрашено некоторой иронией. Члены экспедиции были профессиональными учеными, а начальник ее И. Д. Папанин к науке имел отношение далекое. Он был чекистом. Зачем нужен собственный персональный чекист на дрейфующей в Северном Ледовитом океане исследовательской станции, остается догадываться.

#### 22.5.1934

В Луизиане (США) на пустынном участке дороги автомобиль, в котором находились преступники Бонни Паркер и Клайд Барроу, был окружен полицией и арестован. Ехавшие в автомобиле погибли. Так юноша и девушка, четыре года грабившие придорожные кафе и автозаправочные станции, превратились в великую американскую легенду. О них будут писать книги, снимать фильмы, а декоративные накладки на автомобильных стеклах («как в кино о Бонни и Клайде») сделаются самым модным предметом сезона.

#### 23.5.1951

По особому договору Тибет вошел в состав Китая. Как они подстраивались друг к другу — традиционный центр религиозной жизни и социалистический Китай?

#### 24.5.1920

Французский президент Дешамель каким-то образом выпал из спального вагона поезда. Его обнаружили, когда он, облеченный в пижаму, брел вдоль железнодорожной линии. Все-таки существует еще подлинная демократия.

**25.5.1925**

В небольшом городке в Теннесси (США) начался «Обезьяний суд». Школьного учителя Джона Скоупса, которого защищал один из лучших адвокатов Америки, Кларенс Дерроу, обвиняли в том, что он преподавал дарвиновское учение об эволюции. Кое-кто увидел в этом кощунство. Суд вызвал огромный интерес у журналистов.

**26.5.1940**

Началась операция «Динамо» — эвакуация окруженных британских вооруженных сил, а также французских и бельгийских частей из Дюнкерка. Это был один из самых страшных эпизодов второй мировой войны.

**27.5.1994**

В Россию вернулся А. И. Солженицын. О символичности его возвращения уже говорили, но верно ли ее интерпретировали? Солженицын вернулся не с той стороны, с которой его ожидали. Он обогнул земной шар и прибыл на родину как бы с тылу. Почему? Только по той причине, что эти места были местами, где прежде томились многие миллионы советских людей? Только ли потому, что первое триумфальное прибытие свое в Москву он начинал также с востока? Кроме многих смыслов, заключенных в этом поступке, нежелание подчеркивать, что он возвращается из эмиграции, куда его насильственно выдворили, столь желанное и даже престижное для российского писателя кругосветное путешествие (при том, что большинству российских литераторов даже и не снилась возможность повидать за границу), здесь можно разглядеть и еще один значительный смысловой акцент. Нечистая сила всегда приходит и уходит одним и тем же путем, каким пришла. Свободным возвращением через иные «двери» страны Александр Исаевич, кажется, подчеркивал и свое светлое начало, непричастность к силам тьмы.

**28.5.1987**

Туристский самолет, которым управлял гражданин ФРГ Маттиас Руст, миновал все средства противовоздушной обороны СССР и приземлился в непосредственной близости от Красной площади. Для обреченной уже страны это было первым знаком свыше.

**29.5.1953**

Совершено первое восхождение на Эверест (Джомолунгму). Все меньше оставалось мест, куда не в состоянии добраться человек.

**30.5.1960**

Умер Борис Пастернак. Его похороны стали своеобразной демонстрацией безмолвного вызова властям.

**31.5.1988**

Норвежский солдат получил право во время парада носить в ушах серьги. Две судьи-женщины заявили, что отказать ему в этом праве — значит, совершить сексуальную дискриминацию. Бедный норвежец, он, наверное, и не слыхивал, что в России существуют такие люди — казаки, которые имеют право носить серьги и в ушах, и едва ли не в носу, причем в любом количестве. В противном случае он наверняка бы дезертировал из своей части и подался куда-нибудь на Дон или на Кубань. А если бы при том он узнал, что у нынешних казаков воинские награды передаются по наследству и, скажем, Георгиевские кресты, полученные дедом и прадедом, можно надевать на парад внуку, прибавив еще и отцовские награды за победу над Германией или Японией, счастьем норвежца и вовсе не было бы предела.



## Л. БАТКИН

Лет десять тому назад ко мне вдруг приехали Юнна Мориц и Нина Лошкарева, тогдашний редактор отдела критики, посоветоваться относительно шагов, которые мог бы предпринять журнал «Октябрь», втянутый из-за публикаций В. Гроссмана и А. Синявского в тяжелейший и, казалось бы, неразрешимый конфликт с верхушкой Союза писателей РСФСР.

Почему именно ко мне? Наверно, ввиду тогдашней роли «Московской трибуны» и пр. Почему «вдруг»? Да мы были едва знакомы. Более того. За вычетом эпизода с «Метрополем» я почти никогда не соприкасался с писательской средой. Впрочем, в те времена, которые были, кстати, куда живей и непредсказуемей нынешних, негаданно и вдруг происходило многое.

Мы уселись чаевничать. Я спросил, финансируется ли выпуск журнала означенным «союзом». Да нет, оказалось даже наоборот. Практическое производство журнала было налажено вне какого-либо отношения к «союзу», при котором формально состоял «Октябрь».

И тут я принял вид вольтеровского Гурона, или Простодушного. Я спросил: зачем «Октябрю» числиться чьим-то «органом»? Почему бы не объявить себя вольным журналом? Учитывая именитость и упрямо-независимый характер главного редактора, а вместе с тем взъисканность Ананьева официальными регалиями, идеологический отдел ЦК КПСС в перестроечной ситуации вряд ли захочет предпринять что-либо решительное. А у «союза» руки коротки. Пусть «Октябрь» станет первым независимым журналом в нашей фантазмагорической стране.

Мои гости сперва удивленно призадумались, но сразу же молвили что-то вроде «ну, конечно же». Годом ранее идею счел бы чересчур «безумной» даже Нильс Бор. Теперь она лежала почти на поверхности.

Вскоре в поддержку «Октября» выступили А. Д. Сахаров и другие все известные люди. «Октябрь» действовал быстро и обдуманно. И 4 августа 1990 года журнал получил первую в СССР лицензию на независимое издание.

Что до 75-летнего юбилея журнала, то я, по-прежнему дорожа дружбой с очень симпатичными людьми, его делающими, испытываю, признаться, некоторую растерянность.

По нынешним временам такие внушительные даты существования советских институций — самый что ни есть общепринятый повод для празднований. Сплошные юбилеи: от какого-нибудь обычного издательства, которое всю дорогу было бюрократизированным, подцензурным и околпогромным, и напрямую до переименованного ведомства «чекистов».

Конечно, почему бы нам, авторам журнала, не собраться в редакции, не поглядеть друг на друга, не выпить, не переброситься шутками и тостами? Я рад. Вот только уместно ли вспоминать при этом о вещах слишком уж элементарных и само собою разумеющихся? А с другой стороны, и промолчать никак нельзя. Иначе сам не заметишь, как впишешься в двусмысленную обстановку самодовольной постсоветской тусовки.

Потому что вся теперешняя общественная жизнь пропитана тяжелыми испарениями «прее́мственности». Более не «манит страсть к разрывам». Страна живет, как соломенная вдова советского режима. Хранящая нечто похожее на верность ему, хотя изрядно гуляющая. Кажется, в политике это называется «центризм». А в литературе оборачивается мнимо-«постмодернистскими» ужимками и расхристанностью.

Слава Богу, «Октябрь» среди тех, кто, напротив, наиболее последовательно порвал с традициями, в том числе собственными — панферовскими и тем более кочетовскими. Многие согласны в том, что среди недавних заслуг «Октября» самая великая — публикация «Жизни и судьбы» Василия Гроссмана. Под видом семидесятипятого юбилея мы празднуем обновление «Октября» в конце века. Мы уважительно отмечаем проявленную позднееананьевским «Октябрем» способ-

ность справляться с новыми проблемами и достойно выживать, приобретая новое, демократическое значение. Пусть и для поредевших читателей.

На рубеже 80-х и 90-х годов спорили, нужно ли журнал переименовать. Помнится, я полушутливо предложил взамен революционного октября «Времена года». А. А. Ананьев был против перемены привычного для публики старого названия. И оказался совершенно прав. В конце концов указатели сменились только на городских улицах, да и то далеко не на всех. И даже возвращение, например, САНКТ-Петербурга достаточно спорно и неадекватно. От «Нового мира» до «Московского комсомольца» — вывески прежние. Это по меньшей мере не случайно и объясняется не только практическими соображениями. Такая уж случилась с Россией история... Однако в каждом конкретном случае — свое существо дела.

75 — для литературного журнала, как и для человека, возраст старца. Но применительно к «Октябрю» протекшие многая лета — отнюдь не повод грядущую почтительную здравицу. Дорогой журнал, да Вы еще в ребяческом возрасте! Мне довелось присутствовать на Ваших крестинах. Интересно, как впредь Вы будете мужать и меняться. Желаю новому «Октябрю» тоже дожить до 75-ти и быть популярным среди внуков нынешних подписчиков.

*Многая лета!*

## **Л. РЯЗАНОВА, зав. музеем М. М. Пришвина**

Вместе с журналом «Октябрь» мы отмечаем своеобразный юбилей — десять лет с начала публикации дневников Михаила Пришвина. Эта дата побуждает оглянуться назад, в наше совсем еще недалекое прошлое.

Помню, как в 70-е годы мы с подружкой тайно везли из пришивинской квартиры в Лаврушинском переулке его дневники, чтобы их прочитали наши друзья. Ехали вдвоем, чтобы подстраховать друг друга, если что-то непредвиденное случится в дороге.

Помню встречи и в Лаврушинском, и на дуинской даче писателя — Валерия Дмитриевна (жена Пришвина) под строжайшим секретом давала близким людям читать эти дневники.

Валерия Дмитриевна рассказывала, как в конце 60-х папка с выборками из дневника 1937 года неожиданно для нее оказалась в КГБ. Раздался звонок с Лубянки, неизвестный голос сообщил, что придет следователь по «делу» о дневниках Пришвина. Валерия Дмитриевна (сама лубянский зек тех же самых 30-х годов) приняла седуксен, и, когда появился человек из КГБ, он увидел мирно спящую старушку. Видно, вдова писателя произвела на молодого следователя благоприятное впечатление, потому что к концу визита он ей сказал: «Я не могу закрыть дело, ему дан ход, научите, как спасти дневник и вас». Валерия Дмитриевна упростила сотрудников ЦГАЛИ (ныне Российский государственный архив литературы и искусства) сделать официальный запрос в КГБ, и дневники Пришвина были переданы из рук в руки на государственное хранение.

Михаил Михайлович в последние свои годы, не надеясь на наступление в обозримом будущем свободы слова в России, завещал жене беречь как зеницу ока дневники, а после ее кончины определить их на закрытое хранение на двадцать лет.

У нас, в пришивинском музее в Дунино, до сих пор стоят сделанные из оцинкованного железа ящики (по размеру папок с дневниками). Ящики эти были заказаны Валерией Дмитриевной в конце 50-х, во время очередного ухудшения международного положения, «на случай войны». До войны, слава Богу, не дошло, в ящиках мы храним запасы крупы на случай очередной «экономической перестройки».

До последнего дня своей жизни бедная Валерия Дмитриевна испуганно вздрагивала, когда неожиданно звонили в дверь.

Я помню, как 30 декабря 1979 года, в пять утра, в первые минуты после скорпостижной кончины Валерии Дмитриевны, мы звонили друзьям, просили их срочно приехать и спасти пришивинские дневники. Мы боялись, что нагрянут люди в штатском. Чемоданы были увезены в безопасное место. Так себя вести нас научила Валерия Дмитриевна. Она устраивала для нас своеобразные «маневры». Твердила: «Если умру, не меня обихаживайте, спасайте дневники».



*Валерия Дмитриевна после смерти Пришивина прожила еще 25 лет. За эти годы она полностью расшифровала и перепечатала все дневники писателя за пятьдесят лет, сделала несколько копий с рукописей. Одну из копий переслала верным друзьям на Кавказ — в дальнее, тогда тихое место.*

*Когда Кавказ стал «горячей точкой», мы ездили за нашими чемоданами. Помню, как от Минеральных Вод до недалежного места назначения ехали целый день: на случай возможного взрыва впереди поезда медленно двигались платформы с несом...*

*И вот в Дунино в 1985 году приехал Вадим Перельмутер. Он тогда работал в журнале «Литературная учеба» и был наслышан от сотрудников ЦГАЛИ о дневниках Пришивина. Приехал с предложением опубликовать дневники.*

*Вадим и привел нас в журнал «Октябрь». Я впервые рассказала о дневниках Ирине Николаевне Барметовой. Это был 1989 год. Туман над нами, ежиками, только-только начинал рассеиваться. Решиться опубликовать дневники Пришивина — тогда это был настоящий гражданский поступок. Нужно было объяснять, доказывать, в общем, приложить немало усилий, чтобы приоткрылась еще одна наглухо закрытая дверь отечественной культуры.*

*Мы не только благодарны сотрудникам журнала «Октябрь» за понимание, поддержку, но и чувствуем всегда, когда приходим на улицу «Правды» (!), дружескую солидарность в борьбе за наше общее дело.*

*Желаем журналу еще много, много лет отмечать свой день рождения... вместе с нами.*



Игорь ВОЛГИН

## От «Октября» до «Октября»

ЗАМЕТКИ КОНФОРМИСТА

Не исключено, что я один из самых старых авторов «Октября». В 1962 году я был самым молодым его автором. А «Октябрь» — первым «толстым» журналом, который напечатал мои стихи. Я упоминаю об этом событии отнюдь не в силу его исторической значимости (хотя лично мне оно дорого), а исключительно потому, что хочу соблюсти желательную для добросовестного воспоминателя полноту.

В кругу молодых и, разумеется, жаждущих печататься дарований, где я имел удовольствие обретаться, магической притягательностью обладала формула «Доброго пути!». Так (или, может быть, «В добрый путь» — сейчас уже не упомяну) называлась рубрика тогда еще четырехполосной и выходящей трижды в неделю «Литературной газеты», где старшие и очень именитые литераторы (в отдельных случаях — классики) ободряли своим напутственным словом «пускающихся на дебют». Это был самый короткий и, казалось бы, *верный* способ «вхождения в литературу». С одной стороны, он опирался на ритуальный патернализм заботящейся о своем эстетическом воспроизводстве системы, а с другой — давал возможность дебютанту «прикрыться» неким литературным авторитетом и без особого риска огласить собственные лирические дерзости, буде таковые имелись. Поскольку поголовно вся интеллигенция читала «Литературную газету», то вероятность проснуться в одно прекрасное утро знаменитым (и соответственно любимым: второе как бы неизбежно вытекало из первого) — эта вероятность была достаточно высока.

Нельзя сказать, что в рассуждении «к кому бы пойти» мы ориентировались единственно на силу таланта избираемого лица. Немалое значение имело иерархическое положение потенциального мецената.

С моим дружкой, тоже будущим автором «Октября», Алексеем Заурихом (по прозвищу «рыжий»; при случае я хотел бы сказать о рано умершем Леше подробнее), мы мечтательно обсуждали кандидатуру поэта Сергея Васильева: он, по слухам, благоволил молодым.

Живой (физический) вес Сергея Васильева в значительной мере превосходил его литературную весомость. Он был высокий и статный мужчина; его чрезвычайно крупные и выразительные черты могли бы вызвать в памяти известный пассаж В. Набокова о почти неприличной открытости иных русских лиц, если, конечно, пренебречь тем обстоятельством, что мы тогда Набокова не читали.

У Сергея Васильева имелось несколько удачных пародий — в том числе на Павла Антокольского, которого он тонко корил за его космополитические пристрастия («поскольку Поль де Антоколь не пожелал» и т. д.). Зимой 1961—1962 годов я отдал свои стихи «на просмотр» автору «Санкюлота»\*. Но, конечно, верхом заносчивости с моей стороны было бы ожидать от него покровительства. Павел Антокольский принадлежал, как сказали бы живописцы, к старой школе мастеров, его имя сопрягалось с несколькими архаичной, но в силу своей «культурности» весьма почитаемой литературной традицией. Он был почти небожитель. С Сергеем Васильевым дело обстояло гораздо проще. Я с жаром изъяснил Алеше Зауриху (который едва ли не с

\* Подробнее см.: И. Волгин. Имеющий право. Воспоминания о Павле Антокольском. М., 1987, с. 453—463. Игорь Волгин. На площади Маяковского материализовалось время.— В сб.: Людмила Поликовская. Мы предчувствие... предтеча... М., 1997, с. 41—44 и др.

пионерского возраста терся в редакциях и неплохо изучил нравы литературного закулисья) свои бенефициантские замыслы. Милый Леша полностью одобрил проект. Он раздумчиво заметил, что Сергей Васильев — фигура для настоящего случая идеальная: приличное имя, статус, членство во всяческих редколлегиях, в том числе — в журнале «Октябрь».

Подобные разговоры длились у нас довольно долгое время. Я с некоторой привычной уже ленцией рисовал приятелю отрадную картину моего прихода к поэту, последующего его умиления и т. д. и т. п. Леша охотно поддерживал тему. Однажды (помню, это происходило у метро «Кировская») он как бы между прочим заметил, что завтра в «Литературке» выйдут его стихи с предисловием Сергея Васильева. При этом мой впечатлительный друг (как это часто случается с рыжими) сделался совершенно пунцов.

У Леши в ранней молодости была какая-то история с публикацией чужого стихотворения, которое он — очевидно, по неистребимой тяге к писательству — отважился выдать за свое. Его подвергли публичному остракизму. Между тем он был предан поэзии. Он был нищ, искушен и талантлив и страстно желал «вернуться в литературу». Наша дружба ничуть не пострадала.

Летом 1962 года, перед тем как отбыть с университетской агитбригадой на строительство Братской ГЭС (будучи «человеком Замоскворечья», я вменил себе это романтическое путешествие по причинам сугубо педагогического порядка), я — веерообразно — разнес свои стихи по различным московским редакциям. После чего со спокойной совестью направился «в зеленое море тайги».

В Иркутске, преодолев некоторую отвычку от московских газет, я купил «Литературку»: с присущей ему поэтической яростью Павел Антокольский желал мне доброго пути. По возвращении в Москву я вдруг ощутил то самое «косоватое почтение», о котором — кажется, в «Театральном романе» — толкует Михаил Булгаков. Впрочем, о существовании названного романа мы тогда также не имели понятия.

В десятом номере «Октября» вышла моя большая подборка — девять стихотворений: одно из них было посвящено Алеше Зауриху. Подборку предворяли несколько вступительных слов, написанных членом редколлегии Сергеем Васильевым. Мечта пусть с некоторым опозданием, но сбывалась.

Могло ли при этом возникнуть сомнение, что и «Новый мир», не желая отстать от «Октября», безотлагательно почтит меня своим просвещенным вниманием? Я был несколько фразирован, когда С. Караганова, уже отобравшая кое-что для печати, с полуусмешливым вздохом вернула мне отобранное. При этом она укоризненно (и, как мне показалось, даже с оттенком брезгливости) постучала указательным пальцем по свежевывшедшему номеру «Октября», словно давая понять, что нельзя служить двум, таким разным и даже не расположенным друг к другу господам...

Потребовалось совсем немного времени, чтобы я уяснил диспозицию. В довольно-таки слабо структурированном (то есть более или менее однородном) советском культурном поле можно было различить две точки притяжения, два «центра силы», вокруг которых расходились концентрические круги. На левом фланге (в нашей системе координат понятие «левый» было начисто лишено своего классического — или, если угодно, классового — содержания и значило только одно: *опозицию*) — так вот, слева реяло голубое, по цвету обложки, знамя «Нового мира». Оно томило душу *несбыточными мечтаниями*. Все те, кто еще уповал (а таковых было тогда очень и очень немало) на мирную эволюцию системы, на ее смягчение и готовность мало-помалу трансформироваться в нечто иное, — все они с надеждой взирали на деище Александра Твардовского.

Известно, что «Октябрь» был литературным и политическим антиподом «Нового мира». В интеллигентских кругах его именовали органом сталинистов. Что в точном смысле было не вполне справедливо. Конечно, личные симпатии главного редактора к фигуре «кремлевского горца» не очень-то им и скрывались, но заявлять об этом публично было не принято. Формула «Сталин минус террор» была бы здесь более уместна. Поэтому, избегая прямых апологий (которые в эпоху хрущевских разоблачений не имели шанса на выживание), журнал всячески демонстрировал свою приверженность основам *патриархальной*, с явным авторитарным уклоном, советскости, позволяющей себе в силу собственной несокрушимости являть известную широту и в то же время заботящейся об идеологической бдительности. Либеральные ценности западнического оттенка, столь любезные «Новому миру», отвергались с порога. Вместе с тем соблюдался некоторый критический прищур по отношению к «славянофильствующей» публицистике (журнал «Молодая гвардия»). Полушутя-полусерьезно мы говорили, что «Новый мир» — это орган *крестьянской демократии*, а «Октябрь» — выразитель заветных чаяний *аннапарма*.

Парадокс заключался в том, что ни тот, ни другой журнал не обладали возможностью прямо, не прибегая к обинякам, ответить на сакраментальный вопрос: «Каков же ваш идеал?» Это не предусматривалось правилами игры. И там и здесь действовала введенная почти до совершенства система намеков, экивоков, эвфемизмов и умолчаний: все это, надо признать, оттачивало литературные перья и изошряло читательский слух. Но сигнал — в неявном или зашифрованном виде — посылался не только читателям: сигнал посылался и тем, кто стоял у кормила. И у Твардовского, и у Кочетова были сторонники на самом вершине (недаром оба они состояли членами или кандидатами в члены ЦК). Было очевидно, что от того, кто победит в этой битве титанов (то есть чью сторону в конечном итоге примет допускающая эти борения власть), зависит будущее страны.

Впрочем, все это стало ясно позднее. А тогда, в 1962-м, драма только завязывалась.

Между тем я оказался в положении довольно пикантном. Все мои эстетические симпатии (не говоря уже о *гражданских помыслах*) были обращены к той (лет на восемь — десять старше меня) генерации, чьи поэтические вожди сотрясали российские эстрады, вызывая живейшее раздражение своих литературных врагов. Я ничего не ведал о существовании «третьей силы», никак не участвовавшей в «реальном литературном процессе» и с одинаковым равнодушием взиравшей на участников славной борьбы. (Те, кто принадлежал к этому кругу, предпочитали заслужить одобрение обитательницы «будки» в Комарове.) Я понимал, что, открывая мне журнальные страницы, редакция «Октября» имеет свой расчет. Надо было продемонстрировать публике, что *новые имена* обретаются не только в поле тяготения «Нового мира» и что такое слышущее консервативным изданием, как «Октябрь», отнюдь не чурается говорить на не вполне привычном для него языке.

Я и ныне не откажусь ни от одной строчки, опубликованной тогда в «Октябре». (Равно, впрочем, как и в других изданиях.) То есть не в том, разумеется, смысле, что они удовлетворяют меня в художественном отношении. А исключительно потому, что, насколько могу судить, в них нет подыгрывания тем умонастроениям, которые были для журнала концептуальными.

Дело заключалось еще и в том, что и Всеволод Кочетов, и его правая рука — ответсекретарь редакции Юрий Идашкин — обладали достаточным тактом, чтобы не оказывать прямого давления на иных, может быть, не очень близких им авторов. От последних вовсе не требовалось во что бы то ни стало свидетельствовать свою идейную солидарность с изданием. Тут существовал некий свободный допуск, порой довольно значительный. В «Октябре» опубликовал свою повесть «Жив человек» Владимир Максимов. (К радости редакции, он не любил Евг. Евтушенко, однако, как выяснилось позднее, не в большей степени, чем советскую власть.) В «Октябре» постоянно печатался Владимир Соколов — замечательный поэт и, пожалуй, единственный автор, которого с радостью привечали в обоих журналах-антагонистах. Когда через несколько лет Твардовский напечатал мои стихи в «Новом мире», Володя Соколов в шутку заметил мне, что я подорвал монополию. В «Октябрь» приходил еще мало кому известный Николай Рубцов. (Мне выпала удача написать едва ли не первую рецензию на его «Звезду полей».) Всегда был интересен Станислав Куняев. С «Октябрем» довольно тесно сотрудничал Павел Антокольский, любивший поворачивать на ограниченный вкус шефа «Нового мира», который, сам будучи стихотворцем, упорно не признавал его, Антокольского, поэтических заслуг. (Кстати, что касается стихов, взгляд у Твардовского был очень выборочный и жесткий: это ощутили на себе даже такие поэты, как Анна Ахматова и Николай Заболоцкий.)

Каждый отвечал за собственный текст и был благодарен редакции за то, что она не всегда проверяет его на совместимость. Мы полагали, что именно текст абсолютен, а место его появления хотя и обладает некоторой знакомостью, но в наших условиях это не столь важно. Мы подзревали о тайной ирреальности бытия. Помню, какой гомерический хохот вызвал у нас заголовок передовой статьи в одной из центральных газет (едва ли не в «Правде»): «Знамя Октября — знамя нового мира». Совокупление в одном безумном ряду названий трех ведущих журналов определенно свидетельствовало о ноуменальности жизни.

Всеволода Анисимовича Кочетова я лицезрел нечасто и сохранял в отношении с ним ровность, почтительность и лояльность. То есть соблюдал дистанцию, диктуемую разницей в возрасте и положении. Это избавляло меня от необходимости объяснений. Когда однажды, не снисходя до мотивировок, он отверг мое очередное приношение в журнал, я больше не считал возможным возобновлять таковые.

Главный редактор «Октября», несомненно, обладал сильной волей (что подтвердил его трагический и мужественный конец). Он был глубоко убежден в правильности избранного пути. Он притерпелся к ряду простых, но хорошо усвоенных правил и мыслил системно — причем основным системообразующим фактором яв-

лялось для него государство, которое он был не прочь иногда отечески наставлять. Подобная опека могла распространяться и на частных лиц.

Как-то по случаю я посетил его в кислородном санатории: если не ошибаюсь, это были «Красные камни». Он занимал большой, роскошно обставленный номер — как, собственно, и полагалось ему по штату. В комнате находился еще один посетитель — довольно известный литератор. Мы выпили немного темного, почти черного вина, и вдруг Кочетов стал подробнейшим образом расспрашивать меня о происхождении отдельных частей моего туалета (как-то: пиджака, брюк, рубашки, ботинок и т. д.). К несчастью, «всем хорошим на мне» я оказался обязан братским социалистическим странам. Указывая на меня и обращаясь к своему собеседнику (который проявил полное единомыслие с хозяином), Кочетов разразился страстным и довольно убедительным монологом о растлевающем влиянии импорта на моральное сознание молодежи. Мои слабые возражения относительно бедности отечественного товарного рынка и необходимости являться к такому лицу, как он, в *лучших одеждах*, были сочтены неосновательными. Справедливости ради замечу, что на моей карьере как автора «Октября» эта беседа не отразилась.

Ничего не скажу здесь о Юрии Идашкине — фигуре, на мой взгляд, драматической. *Aut bene, aut nihil*. Жизнь совершенно случайно свела его с Кочетовым (они оказались попутчиками — соседями по купе, где и обнаружилась их взаимная духовная близость), в результате чего скромный юрисконсульт был призван на роль *журнального бойца*, в общем, для него непосильную. Идашкин относился ко мне чрезвычайно приятно, и я не хотел бы без надобности тревожить его бедную тень.

Бойцами ощущали себя и другие сотрудники редакции, атмосфера которой скорее напоминала военный штаб, нежели вольное литературное сообщество. (Кстати, «Октябрь» не без пользы для себя поддерживал дружеские связи с армией и флотом: мне запомнились редакционные — в разгар подписной кампании — поездки: в Севастополь, Калининград, Северодвинск и т. д. Воинские библиотеки поглощали изрядную долю тиража.) Заходившие в редакцию писатели были по преимуществу очень серьезные, чтобы не сказать — мрачны. Здесь не наблюдалось того судорожного веселья, которое сопровождало временами другие редакционные посиделки, как бы компенсируя отсутствие у их участников явных примет «тайной свободы». Положение несколько изменилось, когда в качестве заместителя главного в «Октябрь» пришел сравнительно молодой Дмитрий Стариков: это был человек живой, остроумный, со вкусом и литературным чутьем.

Не могу сказать, что я испытывал по отношению к журналу комплекс «троянского коня». Однако *стилистические разногласия* давали о себе знать.

На поэтическом вечере в Зале Чайковского один из ведущих авторов «Октября» прочитал стихотворение с глубоким, как тогда мнилось, идейным подтекстом:

Нас называют «правыми». Да-да!  
Мы правые от слова «правота»... и т. д.

В ответ — с расчетом на возникновение у публики прямо противоположных аллюзий — я продекламировал стих под названием «Надписи метро»:

«Придерживайтесь правой стороны!»  
Такие мысли выглядят нелепо!  
Такие речи попросту смешны,  
Когда все в мире движется налево!

Об этой забытой и, надо признаться, довольно дурацкой полемике недавно напомнил мне один ее свидетель — в связи с появлением нового политического движения под названием «Правое дело».

...Когда мы ждали своего появления в очередном номере журнала, Леша Заурих, соблюдая пушкинский порядок слов, вежливо осведомлялся у киоскеров: «"Октябрь" уж поступил?» Какой продавец глянцевого шедевра поймет ныне эту изящную шутку?

...Вновь я начал печататься в «Октябре» с 1989 года (документальные книги о Достоевском «Родился в России», «В виду безмолвного потомства...», «Пропаший заговор» и т. д.). Журнал вел упорную борьбу за издательскую независимость и вскоре — первым в России — добился ее. Здесь публиковались уже иные авторы и господствовал совсем иной нравственный дух. Личность главного редактора, как это и должно, определяла внутреннее пространство радикально обновленного издания. Мне многое хотелось бы сказать об этой все еще длящейся поре. Но это уже другая история. И если журнал в России больше, чем журнал, она будет написана.

## Исповедь в двух частях

### 1. Читатель

Но «Октябрь», какое слово... В середине сиреневых семидесятых в рабочем районе рабочего города, где я родился, вырос и живу до сих пор, было так: читаешь книжки — свой, выписываешь «толстые» журналы — даже почтальоны смотрят на тебя с жалостью и недоумением. О, пролетарий тогда книжки читал! Опусы совершенно баснословных сочинителей в вытертых картонных переплетах с измочаленными страницами; выданные завкомом по разрядке кирпичи загадочного Пикуля; жизнеописания пламенных узбекских революционеров, латышских подпольщиков, чувашских участковых милиционеров. Маслит тогда был похлеще нынешнего, жанрово изобретательнее; сиял, будто стразами, метафорами нечеловеческой красоты. А вот «толстые» журналы на мой детский (и взрослый пролетарский) взгляд и слух явно проигрывали. Одни обложки чего стоили! Их тусклые расцветки, напоминавшие обертки соевых батончиков Саранского диеткомбината, никаких перспектив, кроме честной бедности, не открывали; «Оставь веселье, легкость, изящество, всяк меня открывший», — вот о чем говорили эти обложки. Глядя на них, тринадцатилетний я почему-то вспоминал фразу из любимых «Трех мушкетеров»: «Д'Артаньян зевал с опасностью вывихнуть челюсть». Что же до названий журналов, то тогда они были для меня чем-то вроде Японии для Ролана Барта — царством чистых означающих. «Новый мир» ни с Шекспиром, ни с большевиками не ассоциировался и звучал как-то чересчур серьезно, почти по-древнерусски. «Звезда» походила на название футбольного клуба второй лиги, «Знамя» дезертировало из школьного правила про «вымя — бремя — стремя», удавом Каа шипело притяжательное местоимение в словосочетании «Наш современник». Простор за Волгой и Уралом озарялся сибирскими огнями. В этом ряду «Октябрь» был нелишним. На ВОСР (Великую Октябрьскую социалистическую революцию) он ни сном ни духом не намекал — я-то наверняка знал, что Зимний взяли 7 ноября! Тогда, в золотые деньки рок-революции, вступившей в свою осень, «Октябрь» скорее напрашивался в название очередного забойного гимна, вроде «July Morning» Uriah Heep или «September Song» Курта Вайля в исполнении Лу Рида. Словно почуяв это, в начале восьмидесятых Гребенщиков сочинил-таки хит всех времен и народов — «Сентябрь».

Еще непостижимее моему детскому рассудку были люди, «толстые» журналы читающие. Как-то прогрессивная учительница литературы принесла (в видах на доклад по «современной литературе») «толстый» журнал и выдала соседке по парте. Я поинтересовался. Картинок не было. Приключений тоже. Эротических сцен — никаких, даже уровня «Тихого Дона». В романе мэнээсы обсуждали прогрессивки. В рассказе колхозник резал последнего петуха. В стихах шел дождь. Одна статья обсуждала мелиорацию Нечерноземья, другая восхваляла новейший роман, выводящий на чистую воду мерзавца-обывателя. И в той и в другой были жирно подчеркнуты темпераментные пассажи и цитаты. Я вернул журнал. Я был уверен, что никогда более не возьму «толстый» журнал в руки.

Именно «Октябрь» вылечил мою «журналобязнь». К тому времени задиристый гасконец с субутыльниками отправились в дом престарелых молодого моего воображения, хемингуэвские прожигатели жизни, матадоры и прямые, как бушприт, рыбаки — туда же. В 1984-м, осмелев, издательство «Радуга» выпустило синий том Борхеса; занятый его изучением, я не заметил, как началась перестройка. Вокруг говорили о каком-то Рыбакове, знать бы тогда, что это тот самый, что написал чудную «Бронзовую птицу», — непременно почитал бы... «Толстые» журналы расплодилось, забывая собой все пространство, словно в дурном сне; чем больше их становилось, тем меньше в магазинах становилось выпивки и еды — еще один повод их невзлю-

бить. Из провинциального снобизма (а истинные снобы и эстеты в провинции появляются значительно чаще, чем в столицах, вспомните Уайлда, Кузмина или Джойса) я ни в библиотечных списках за свежей «Дружбой народов» не фигурировал, ни в подписных очередях. Зато я был одним из двух горьковчан, получавших рижский «Родник». Эх, хотя бы одним глазком взглянуть на второго!

Но однажды я не выдержал. Приятель как-то похвастался двумя номерами «Октября». В одном была «Школа для дураков» Саши Соколова, во втором — отрывки из «Прогулок с Пушкиным» Терца. В первую вещь я ушел с головой, утонул, как Садко, из второй весело вынырнул, отфыркиваясь, и легко, саженками, двинулся к берегу. И я полюбил этот журнал, примиривший меня с русской прозой брежневской эпохи, с «толстыми» журналами вообще, с окружающей меня культурой (даже так!). Но стоило мне войти во вкус, как перестройка, ойкнув, кончилась; кончилась не взрывом, но всхлипом простуженного Янаева. С ней угасла и позднесоветская журнальная оргия. Наступили «новые времена».

## 2. Автор

И для меня тоже. Тщеславная мечта — увидеть свои вещи напечатанными — подтолкнула меня к началу длительной и бесконечно забавной переписки с редакциями разного рода изданий. В одном месте вещи мои благосклонно похвалили, но грустно заметили, что их читателям они вряд ли понравятся. В другом — поругали за отсутствие внутренней сути при внешнем (дешевом?) блеске. В третьем признались честно: «Извините нас, но рукописи Вашу мы даже читать не стали — у нас слишком мало места и слишком много знакомых авторов, которых необходимо опубликовать». Положение мое усугублялось тем, что ваш покорный слуга — по преимуществу «эссеист», то есть представитель жанра, который отечественная словесность не очень жалует. Когда я отсылал свои сочинения в отдел прозы, мне отвечали, что их следовало бы отправить в отдел критики. В отделах критики советовали обратиться в отдел публицистики. Там, в свою очередь, утверждали, что написано все довольно кучеряво, потому, быть может, лучше бы попробовать отдать в отдел прозы... Оставалось одно из двух: либо прекратить все сношения с редакциями, либо начать писать по-французски (которого я не знаю) и попробовать счастья в культуре, изобретшей эссеизм. Спас меня случай. Один свой текст я дал почитать знакомому питерскому поэту. Он (естественно, не читая, поэты вообще читают мало) посоветовал предложить его одному молодому изданию. В результате таинственным и непостижимым образом текст мой оказался в «Октябре». Вижу себя, озаренного глупейшей самодвольной улыбкой, в руках — вскрытый конверт с фирменным синим логотипом в углу, в конверте — извещение о том, что мое многострадальное сочинение будет опубликовано в таком-то номере журнала «Октябрь». И подпись — «зав. отделом критики А. В. Воздвиженская». С тех пор лучшего редактора у меня не было.

В те уже баснословно далекие времена, когда еще жив был команданте Дудаев, когда главной причиной мужской смертности была не чеченская война, а спирт «Ройал», когда «новые русские» еще ходили в малиновых пиджаках и давали деньги на странные мероприятия вроде «Фестиваля глухонемых балалаечников Поволжского региона», когда от эмигрантской литературы еще ждали чудес, а от советской уже не ждали, «толстые» журналы напоминали мамонтов накануне полного вымирания. Культура, их создавшая, почти растворилась, лишь Государственные премии, словно улыбка чеширского кота, сигнализировали, что здесь когда-то что-то было. Из того же извращенного (или последовательного?) снобизма, из которого я лет за пять до этих событий «толстых» журналов и в руки не брал, нынче стал печататься в одном из них. Оказавшись в реликтовом положении, сделавшись эдаким юньюнским горбоносыком из Красной книги, «толстый» журнал стал декадентски прекрасен, хранимая им Русская Высокая Общественно-Литературная Традиция (РВОЛТ), перестав быть актуальной (и соответственно опасной), превратилась в нечто упоительно-анахронистичное, замкнутое в себе, герметически-усложненное, только для посвященных, в духе театра Кабуки, чайной церемонии, пекинской оперы. Что же до моды и «актуальности», то Дудинцева сегодня зовут Пелевиным, а Распутина — Сорокиным. Пусть их читают наследники физиков-лириков — все эти наивные постсоветские парни и дивчины, мнящие себя героями Ирвинга Уэлша. Истинные эстеты ходят в районные библиотеки и берут там «толстые» журналы.

Я бы посоветовал «Октябрь». Глупо воспевать журнал, в котором часто печатаешься, но, как мне представляется, именно «Октябрь» первым отдал должное жанру, столь милому моему сердцу. Эссеистика «Октября» сродни оной в «Нью-Йорке»

ре», англо-саксонская прямая речь совмещена в ней с галльским изяществом и легкостью (речь, конечно, не о моих текстах). И почти полное отсутствие жаргона, как задушевно-православного, так и всяческих дерридообразных симулякров. Что же до РВОЛТ (см. выше), то она наличествует. Причем в полной мере.

## Дневник тридцатитрехлетнего, или Около того

Строго говоря, это даже и не дневник, а некоторые заметки, размышления, deliberations, которые прикидываются дневником, чтобы не затеряться в розановой листве или харитоновских напечаталках. И еще: чтобы была видимость сюжета, ведь смена чисел — первое, второе, третье... тридцатое — чем не идеальный сюжет всех времен и народов? Кроме, пожалуй, географического; таков сюжет записок любого путешественника.

Это касательно «дневника». Теперь — «тридцатитрехлетнего». Все ассоциации, символы и аллегорические аллегории выносятся за скобки, как уже имевшие место быть. Середина. Сумрачный лес. Кризис идентичности. В одиннадцать — стал раздолбаем, в двадцать два — мужем, в тридцать три — литератором. Или около того.

**27.07.1997**

Чувствую, как нарастает антибуржуазность. Просто пухнет внутри, отравляет поездки в транспорте, покупки, обеды; иными словами, делает «бремя социальности» еще давящее, безнадежнее, желчнее на вкус. Как все это обморочно-быстро произошло! В начале восьмидесятых — очкастый Леннон, жидкобородый Че, полная абстиненция от бабушкиных борщей и от отцовских проездных билетов на трамвай. Мог ли я представить себя, с удовольствием ходящего по продовольственным магазинам? Ароматами сладчайшего обаяния буржуазии потянуло в позднюю перестройку; только ведь никто слова «буржуа» не говорил, говорили «обыватель»: и ласковейший Василь Васильевич, и баритонистый Борис Михайлович, и прочие задушевные врази. Столько вещей появилось, смотришь на них, алчешь всего. Как Коля Кононов писал: «Расчудесные ботиночки, легчайшие как пух».

Постмодернизм, конечно, буржуазен. По крайней мере российский постмодернизм. Русские вообще склонны к буржуазности. К «порокам» буржуазности, но не к «доблестям» и «добродетелям» оной. Кстати говоря, я настаиваю, что понятие «буржуазность» имеет только флоберовский смысл.

А вот нынче у меня отрывка. Но дело вовсе не в том, что, например, я разочарован. Нисколько. Все вообще сложилось лучше, чем можно было предполагать. Более того, с не меньшим (чем года два тому) удовольствием занимаюсь шопингом. И заблудших друзей столь же кальвинистски уверяю, что надо работать. А антибуржуазность уже в горле. Ведь видеть не могу их маленькую скромненькую мастурбацию счастья и довольства, их розовенькие, желтенькие и голубенькие журнальчики и газетки, их телепередачи и песенки, их маленькое, нежненькое, дрожащее эго. Я говорю себе, устрашась: «У тебя эстетические претензии к социуму, это глупо». Потом, вспомнив Ницше, исправляюсь: «Еще глупее, у тебя этические претензии!» Не помогает: желчь разливается, и я начинаю блевать.

Что самое интересное: сам не прочь полосниться довольством их пошиба (в сущности — моего), подпеть шлягеру, обсудить сплетню, сходить проголосовать. Для спасения лица сооружаю тогда ироничную, постмодернистскую ухмылку. Вот она — омерзительная трусливая ложь современного интеллектуала.

И все-таки именно буржуа создали ту культуру, которую я по-настоящему люблю и которой восхищаюсь. Самое удивительное, что она существует: случайная, хрупкая, надежная.

**3.08.1997**

Антибуржуазность, точнее, размышления о ней: не отпускают. Как радикулит. Особенно пока почитывал Сюзен Зонтаг. Ведь и сочувствуешь, и злость разбирает.



Все по-настоящему лучшее, что сделано в нашем веке, — *все антибуржуазно*: Блок, Набоков, Кафка, Пруст, Борхес, Бунюэль и прочее. Честертон и Розанов. Витгенштейн и Вен. Ерофеев. Подчеркиваю — «антибуржуазно», а не «абуржуазно». «Буржуа» для людей двадцатого века — понятие из той же обоймы, что и «добро», «зло», «сексуальность». Можно быть либо «по ту сторону», либо «по эту». Именно «буржуа» — банальный французский рантье, немецкий конторщик (из тех, которые, раздеваясь у любовницы, вставляют распорки в башмаки), нахрапистый американец с сигарой — были соавторами «Дара», «Тропика рака», «Превращения». Лучшее, повторюсь, что было сделано в нашем веке, держится на презрении, точнее, на ненависти к буржуа. Еще точнее — просто на презрении и ненависти.

Почему?

Для всех этих людей, от Уайльда до Лимонова, «буржуа», представляя собой «господствующую культуру», на самом деле играл роль «природы». Они ведь не с мирозданием боролись (презирали) — с культурой буржуа, по недоумию (или по недостатку времени подумать) приняв ее за мироздание. Ниспровергая буржуа, они превратили его в Господа Бога.

Как человек своего века я обречен на антибуржуазность.

Как человек, отвергающий историзм, я обречен на буржуазность.

Кто сильнее?

Good question, как сказал бы Килл Блinton.

Стоял, мыл посуду, и вот о чем еще подумалось. Все серьезные претензии к буржуа (без исключения) носят эстетический характер. Достоевский, описавший в публицистике некую опереточную французскую пару. Леонтьев, негодующий на буржуазную моду — котелки и панталоны. Флобер и его выученик Джойс, приписавший архетипичному буржуа Блему страсть к свиньяемому потроху и анальному сексу. Любопытно, что при всем разнообразии претензий к плантаторам южных штатов США, французским аристократам, индейским вождям, японским самураям, русским крестьянам все эти претензии *не являются эстетическими*. Какими угодно, но не. Изувер помещик гадок нравственно, добродушный буржуа — противен одним своим видом (см. Федора Михайловича). Помещиком мы, положим, повосхищаемся, роман о нем, гаде, напишем, «Братья Карамазовы» мастерим, а о буржуа — фельетончик. Буржуа неэстетичен, как носки и котлета. Буржуа — антиэстетичен. Он антиэстетичен как жизнь.

К египетским пирамидам можно предъявлять моральные претензии (рабский труд и т. д.), но никто не станет говорить на тему: красивы они или нет. Пирамиды мертвы, мертва построившая их культура, мертвы фараоны. А вот к модерну парижских входов в метро какая-нибудь Зонтаг непременно придерется, обзовет «кэмпом». Но дело не в разнице во времени. Дело в жизни или смерти. То, что красиво, — артефакт — есть то, что мертво. То, что некрасиво, — жизнь — живо. Как говорил Ницше, жизнь — за пределами эстетики. Буржуа и есть жизнь.

Вот до чего можно додуматься, моя посуду в полдвенадцатого вечера.

А если перенести рассуждение в сексуальный контекст? Из двух полов буржуазна, конечно, женщина; та, которая рождает (дает жизнь), ведет хозяйство (обустраивает жизнь). Какой раз подтверждается истинность великой фразы рядового Швейка: «Все эстеты — гомосексуалисты».

Потому апофеозом буржуазности в искусстве является гетеросексуальная порнография. Но об этом как-нибудь потом.

**19.08.1997**

Чем старше, тем сильнее раздражение на англоязычного Набокова. Несколько раз брался перечитывать «Лолиту» — невозможно. Очень скучный роман. «Аду» принимался читать четыре раза, в двух переводах; дошел до каких-то преддуальных кашек Вана и бросил. К «Бледному огню» и «Bend Sinister», боюсь, уже не вернуться. «Пнин», напротив, прекрасен. Одна из самых трогательных книг нашего века. Чуть более месяца назад я говорил об этом с М. Мой собеседник, истинный сын своего времени (не «советского», а «европейского»); 40—50-е гг. — экзистенциалистские кабаки с черными потолками, 60-е — повальное овосточивание интеллектуалов), к профессору Пнину, которого до слез жалко, презрительно-безразличен, зато Гумберт для него чуть ли не герой античной трагедии. По тем же причинам лучшим русским романом Набокова М. называет «Король, даму, валет». Не спорю, это действительно настоящая античная трагедия; собственно, «Король...» — роман о судьбе, Судьбе, Роке. Только вот вопрос: ну и что? Будь он хоть пьесой театра Кабуки, не будет он лучше восхитительного торжества «Дара»! Кстати говоря, почти все русские романы Набокова имеют английских двойников: «Лужин» — «Пнин» (+ отчас-

ти «Transparent Things», незаслуженно игнорируемый); «Приглашение на казнь» — «Bend Sinister» (жуткая парочка!); что-то общее есть в сероватых тонах «Подвига» и «Себастьяна Найта»; «Машенька» абсолютно непереводаема; «Отчаяние», «Камера обскура» и «Волшебник» прокручены в мясорубке для получения «Лолиты». «Дар» имеет двух даровитых и невероятно искусных двойников: «Pale Fire» и «Ada», но нет в них настоящей одаренности. Главное, чего нет в этих книгах, — счастья.

Еще раздражает Набоков-каламбурист. Таковым он стал в английском языке; в русской его прозе каламбуры неожиданные, как внезапная солнечная поляна в темном лесу; после 1940 года Набоков более смахивает на профессионального юмориста. Нет профессии гаже, чем профессиональный юморист. Разве что жиголо. Чтобы прочувствовать эту разницу между Сириным и Набоковым, достаточно сравнить начальные шутки «Машеньки» и «Ады». И вообще «Anna Arkadievitich Karenina» смахивает то ли на Хамдамова, то ли на какого-то нынешнего клипмейкера, снявшего «Муму»...

Кажется, я понял, чем сейчас занимаюсь. Взыскую здорового модернизма.

Р. С. И, наконец, последнее. Набоков — *не эстет*. В отличие от, например, Кузмина. Набоков любит *только красивые вещи*. Поэтому он почти буржуазен. «Ada» — это переносимое желание «сделать красиво» (понял это, т. к. сам периодически тем же одержим).

### 23.08.1997

После тридцати очень многое, особенно проза, отсеивается. Не нужно — и все. Не то чтобы перечитывать, думать об этом, даже просто вспоминать об этом *не хочется*. И речь даже не о каком-нибудь Стейнбеке или Тургеневе, и тогда довольно безразличных. А ведь как любил Кортасара! Бабеля! Вен. Ерофеева! То-то, что не нужно. И вот сейчас, после тридцати, остаются немногие, и среди них вдруг обнаруживаешь неожиданные для себя фигуры. Например, Пастернака.

К Пастернаку я до недавнего времени относился как к курьезу, к эдакой кунсткамере неправдоподобно причудливых стишат. Это — о раннем, конечно. Поздние стихи, которые распевала каждая вторая совковая интеллигентская сволочь после третьей рюмки, ненавидел. И сейчас бы ненавидел, если бы со временем не выработалась у меня цианистая цепкость прожженного эстета ко всякого рода китчу вроде рекламных плакатов кока-колы образца 1903 года. С поздним Пастернаком все ясно. Нечто вроде «старых песен о главном». «И вино всех расцветок, и всех водок сорта».

А вот ранний. Его надо читать в самые ненастные, слякотные месяцы средне-русского года и вымокать в слезах, соплях и слюне бесстыднейшего (и сильнейшего) из лиристов, в лирическом идиотизме, доходящем иногда даже до порно, которого, конечно, автор не замечает. К тридцати трем я понял, что идиотизм порыва, настроения, вызываемый обычно ощущением полной, последней ясности этого мира (Достоевский, кажется, испытывал нечто подобное перед эпилептическими припадками), занимает очень важное и значительное место в моей жизни. Я бы сказал так: имеет очищающее и возвышающее значение.

Да, но здесь спрятана гигантская ложь. Во всех самых крайних своих порывах молодой Пастернак не теряет присущей лишь ему гемютности; иными словами, куда бы тебя лирически не занесло, в Мучкап или на Каму, каким-то резервным кусочком сознания ты уверен, что очнешься все равно дома, на собственном диване. «Приключение» в ранних стихах Пастернака не настоящее; это скорее аттракцион со страховкой. Но не все ли искусство такой аттракцион? Не все ли искусство такая ложь?

### 12.09.1997

Посмотрел «Шепоты и крики» Бергмана. Фильм смотришь — будто бродишь по идеальному художественному музею, то есть такому, в котором собраны были бы мои любимые картины, художники. Вот — Латур, вот — Вермеер, вот — Рембрандт, вот — Дега, вот — средний видеозаменитель прерафаэлитов. Цвет этого фильма — красный; так красно, ало становится глазам от сдерживаемой боли, боли настолько сильной, что она по ту сторону крика. «Шепоты и крики» — человеческое (по Ницше); последняя фраза фильма: «Так кончаются шепоты и крики», то есть так кончается человеческое, смертное, жизнь; с этого момента начинается Тот Свет, сведенборговский Тот Свет. Вся «шведскость» Бергмана лишь в том, что он соотечественник Сведенборга. О чем фильм? О чеховских трех сестрах, попавших на Тот сведенборговский Свет. Каждая попадает туда, куда должна, хочет попасть по своей склонности. На Том Свете Агнес умирает смертью Ивана Ильича, остальные примеряют маски то мадам Бовари, то Анны Карениной. Все это, впрочем, в белых крах-

мальных скандинавских воротничках. Тут же и служанка Анна — Платон Каратаев (или слуга из «Ивана Ильича») с большой белой грудью. Никакой иронии, никакого постмодерна в фильме нет. Все честно и даже не талантливо, а гениально. Бергман действительно *verit* в то, что снимает; я не побоюсь заметить, что он этот ад *любит*. Иначе бы любая вещица в фильме (часы, бокал, кружево, стул, простыня, альбом) не была бы *настоящей*. Культуролог скажет: «Лютеранский мазохизм». Я скажу культурологу: «Пошел вон!»

#### 14.11.1997

Кажется, первым в России поэтом-жуликом был Георгий Иванов. Точнее, он играл эту роль (Некрасов, по-видимому, тоже был жулик, но как скрывал!). Да-да, челочка «Жоржика» и прочее в духе анненковского портрета. В этом смысле прямой наследник Георгия Иванова — поэт Р., только роль «челочки» у него играют брови. Да и байки его телевизионные сильно смахивают на «Петербургские тени» (или «зимы»? — забыл). Забавно, что А., люто ненавидевшая Георгия Иванова за легкомысленные воспоминания (а на самом деле за пребывание вне Алой Московии и за равнодушие к ее украинским чарам), в 60-е годы пригрела (чуть было не ляпнул «на груди») Р., который тридцать лет спустя столь же легкомысленно распространяется про нее, Б., В., Г. и прочих.

Такое впечатление, что Р. жизнь положил на буквальную материализацию цветаевского «поэты-жиды». Он все время играет «жида»: то веселого жулика (в духе Бендера), то шумного советского еврея в застолье, то социально и экзистенциально отверженного еврея (à la Слуцкий), то просто «жида пархатого». Совершенно еврейское в нем: страсть к мануфактуре и страсть к вкусенькому. И учеников он так же выбирает — с внешностью опереточного героя-любовника, с «челочкой» почти ивановской, с блеском фразы, но (будто сукно прощупал) с основательным талантом. Вот тебе портрет Л.

Позе обреченного героя (нищевского «метафизического часового на оставленной всеми позиции»), придуманной и воплощенной Бродским, Р. противопоставил позу талантливого жулика, эдакого Бендера, начитавшегося Ремарка.

#### 10.12.1997

Нынешняя жизнь русская, несмотря на кажущуюся ее информационность, пестроту, космополитизм даже, загоняет в пещеру, в берлогу, в волчий угол, словно Блока. Никуда «ходить» не хочется и не может; да и некуда. Читая неглянцевую книгу в метро, затылком чувствуешь холодное, равнодушное презрение окружающих. Предпочитаю представляться мозольным оператором, нежели литератором (дурная рифма выскочила). При всем коловращении жизни вокруг — пустота.

Все это позволяет иногда, очень редко, сосредоточиться на главном. Увидеть, например, смертельную болезнь нынешних мировых триумфаторов (и не «симптомы» болезни увидеть, а «саму» болезнь). Поездить от мимолетного трепета влюбленности. Буддически распасться, глядя с набережной на глухое, занесенное снегом Заволжье. Испытать счастье от стишка, от золотой русской прозы, от изгиба ветки. Что еще надо? На что жаловаться?

*Нельзя давать миру привязать себя к нему. Нужно быть налегке. Чуть что, труба зовет, руки в брюки — и на Страшный Суд.*

Теперь о другом. Бездарный, невежественный, тупой, как третий секретарь райкома, К. тиснул подлую статейку в своей газетке. Эта сволочь слышала, где гром, и решила побухтеть в унисон. «Война и мир», видите ли, «громоздкий роман», и «я не смог осилить его ни в школе, ни на филфаке университета. И вряд ли когда осилю». Отсюда выводы следующие: во-первых, «классики» в школе надобно проходить как можно меньше; во-вторых, люди, не читавшие Джайса и Кафку, «правильнее», счастливее читавших.

Это ничтожество всю жизнь мечтает стать «большим пацаном». Не получается. Сейчас он вякает под «большого пацана» Бориса Парамонова. Но Парамонов весь — энергия, страсть, парадокс (пусть дешевый), артистизм, а у этого импотента — *ничего*. Для импотента — лучше бы женщин не было вовсе. Для К. — лучше ничего не читать; ведь сам он никогда *ничего не напишет*. Так что лучше жить «правильно» и счастливо, довольствуясь краником для журчания.

И ведь это печатается в дешевой массовой газете! Которую читают несчастные, невежественные, обдолбанные телевидением люди! Они про Джайса с Кафкой не слышали, а про Толстого — *запомнят* и детям своим перескажут. Вот так низость, тупость и бездарность (и интеллектуальная трусость, конечно) ведут к умножению энтропии, пусть общественной, но энтропии. А энтропия суть вселенское зло.

Такое вот бурление желчи получилось на общественно-культурной почве.

**20.03.1998**

Сегодня в «Поверх барьеров» услышал, что одна женщина, встретив в обществе поэта Теда Хьюза, тут же побежала в уборную, где ее вырвало. От волнения. Хьюз, говорят, был первостатейный красавец. Во всей этой истории есть что-то элинджеровское; бросил же Симор камнем в слишком красивую девочку в слишком красивой позе. Первая реакция человеческого организма на красоту — отторжение, ведь красота — нечто неестественное, дикое, жуткое. Красота действительно страшная сила. Вещи красивые и вещи приятные — разные вещи. По-настоящему красивую женщину никогда не назовешь симпатичной. Красоты следует бояться, перед красотой следует преклоняться.

В этом — основание и обоснование эстетизма. Флобер, Джойс и (отчасти) Набоков думали так же. Гашек не из них. Это писатель жуткий; жуткий вовсе не своим неуклюжим богохульством или политическим радикализмом; нет, он ужасен своей полной индифферентностью к прекрасному. Это Довлатов, у которого отобрали сентиментальность и интеллигентское чувство справедливости. Гашек, пожалуй, самый чудовищный писатель нашего века, сплошное пузо и седалище; больше ничего.

Надеюсь, что чехи более похожи на Грабала, нежели на Гашека.

**24.03.1998**

Мои любимые поэты этого века? Блок, Кузмин, ранний Пастернак, Ходасевич. Ничего себе компания.

Когда разливается желчь, вспоминается почему-то писатель Б., впавший в азарт издания неизданных своих черновиков. Что же останется публиковать его наследникам? На что они будут жить?

**3.07.1998**

Набоков — художественная совесть русского писателя. Такого русского писателя, который считает себя и «русским», и «писателем». Набоков раздражает многим, но главное — пример его эстетической неуступчивости и бескомпромиссности позволяет и жить (выживать экзистенциально) в России («русский»), и писать, не впадая ни в околонуточный жаргонизм, ни в тиражируемую маринистику («писатель»). В этом смысле Набоков и есть заместитель Пушкина, съеденного антропософагами-пушкинистами. Набоков — Пушкин сегодня.

**11.07.1998**

Живешь вот так, живешь, потихонечку, тайком сверяешь себя с любимыми писателями, то с Борхесом, то с Набоковым, то еще с кем красивым и талантливым, а вот года в тридцать три глянешь в зеркало — натуральный Сологуб. Только бородавки нет.



## Хрипатый классик, или Мы в очереди первыми стояли

Очень большой и грустный Коля Королев, с которым мы сидели за самой дальней партией в кабинете биологии, печально жаловался:

— Бабка, зараза! Опять, говорит, своего хрипатого завел? А ну заткни! Нешто чтобы какую музыку или еще чего! Лучше новости снова послушать, вдруг чего скажут! Тут Коля вздыхал отчаянно — и примиренно.

В те времена песни Высоцкого только-только усваивались широким народным сознанием. О полном их приятии и думать не приходилось. Общество даже еще не разделилось на поклонников и ненавистников великого барда.

И потому Коля Королев и его безымянная бабка были едва ли не самой первой, но, уж точно, самой искренней частью публики Высоцкого. Потому что Коля его песни страстно любил и слушал часами, врубая магнитофон на полную катушку, а бабка, может, еще более страстно ненавидела — песни хрипатого мешали ей тихо дремать в своем уголке.

Я, честно говоря, хотя и кивал головой, не принимал ничью сторону, ибо Высоцкого не любил ровно так же, как сейчас (сейчас, может быть, даже сильнее). А вспомнил о нем по прихоти памяти, уж очень одна его песня прихотелась бы кстати для этого мемуара.

А люди всё роптали и роптали,  
А люди справедливости хотят:  
— Мы в очереди первыми стояли,  
А те, что сзади нас, — уже едят.

Когда я появился в журнале «Октябрь», проходила реорганизация не реорганизация, переделка не переделка, но смена чего-то — не курса, не направления, не атмосферы. Нет, о том, каким станет журнал в будущем, можно было бы догадаться. Не совсем ясно было, каким станет авторский коллектив. Прежние авторы отдела критики, куда я принес рецензию на книжку Евгения Шварца, уходили порой по-английски, порой по-русски. Я брался за любую работу, то бишь любую не в смысле «какая придется», а в смысле за любую, «какую сам себе выберу».

Шли годы, и являлись новые авторы. Более того, журнал сделался настолько любопытным, заметным на гладком (а ныне и глянцево) фоне нашей словесности, что авторы просто-таки в него побежали. А от некоторых и отбою нет. Кажется, они здесь были всегда.

Это все замечательно и по-своему закономерно. Работать с приятными и заинтересованными людьми, собравшимися в редакции, хочется многим. Однако в данном случае я не о том. Вот уже ровно десять лет исполнилось с того момента, когда весной 1989 года принес я в журнал «Октябрь» первую рецензию. И немало лет меня мучает страшный вопрос.

Писатель в России исполняет обязанности пророка. Более того, не сделай он мало-мальски серьезного предсказания, его и в ранг классиков никогда не зачислят. Но что странно: песня, которую я услышал, будучи еще учеником средней школы с физкультурным уклоном, песня, которую я и за песню-то не посчитал, вдруг предсказала мою судьбу. Пусть иронически. Пусть на малом отрезке времени. Не в том суть, не в том суть. Но неужели хрипатый — классик?

*Впервые я сильно зауважал «Октябрь», когда, занимаясь историей советской литературы 60-х годов, выяснил, что повесть Виктора Курочкина «Урод», этот шедевр русской психологической прозы XX века, была напечатана не где-нибудь, а в «Октябре». Именно в этот момент я понял, что любые деления шестидесятичных журналов на «хорошие» и «плохие» сильно хромают. В эстетическом плане, все выглядит совсем иначе.*

*С тех пор я приглядывался к «Октябрю», пытаюсь найти в нем то, чего не публиковали другие «толстяки». И находил. Например, некоторые вещи Маканина. И нахожу. Например, «Приложение к фотоальбому» Владислава Отрошанко, напечатанное в этом году.*

*Поздравляю дорогую редакцию любимого журнала с юбилеем, желаю ей и дальше ловить вкусную литературную рыбку, и не только в прикормленных местах, где удит большинство «толстых» журналов.*

## Не плачь, не жалуйся, не проси!

**В** «Общей газете» в номере от 18—24 марта с. г. прозаик Анатолий Королев рассказал жалостливую историю. Отчаялся он однажды писать свои шедевры вроде романа «Эрон», который при всей его несомненной для автора гениальности почему-то никто не хотел издавать. Отчаялся и решил «сдаться» в коммерческое издательство. Дескать, вот он я, такой гениальный, весь перед вами! Готов, так и быть, написать для вас, проклятых, за деньги ваши, проклятые, что-нибудь эдакое позорное, чернушное, на потеху грубого массового потребителя. Одолели вы меня, супостаты, сломали законы рынка вашего дикого, необразованного, свободных полетов творческого вдохновенья и самовыражения не признающего, глумящегося над ними! Словом, добивайте меня, гады! Вы увидите, как продается честный писатель!

История эта имела продолжение для самого Королева несколько неожиданное. Написал он, значит, «не то, что хочется», а «то, что требуется», но получилось и «не то, что требуется», и не «то, что хочется». Что-то третье, совсем непонятное. Пришлось переписывать. Однако в процессе переписывания стало выходить из-под пера нечто и вовсе неведомое, но главное опять же — тьфу ты, пропасть! — гениальное, как у Фаулза и Умберто Эко. И тогда Королев сделал два варианта: один — позорный (для толпы) и второй — гениальный (для знатоков).

И вот какой-то из двух братьев-романов Королева пошел в магазинах «на ура». Не то хороший, не то плохой. Не то гадкий утенок, не то лебедь белый. А вот денег автору за переиздания не стали платить. Прямо бандиты какие-то!

И взмолился Королев: что ж это такое на белом свете-то творится! Ладно, когда не приносит дохода святое, для культурного читателя написанное. Но уж коли продается и денег не платят — тут кричи караул! Грабят! Такая жуткая история...

Пожалел я Королева, а потом задумался... Если он заранее понимал, что идет в логово к бандитам, то почему рассчитывал на их честность? Он такой наивный, что ли? Это ведь только в фильмах царские сатрапы преклоняются перед бесстрашием жен декабристов, а гестаповцы дают пленному за его непреклонность батон с салом. А в жизни честный работает, жулик надует. И если честный решил жулика чуть-чуть надуть, а жулик в этой ситуации «обул» честного, то винить надо не жулика...

С другой стороны, по-человечески я Королева вполне понимаю. Трудно жить без денег. Надо кормить семью. И вот — попалась мушка в паутину, порвала ее неловко и улетела без трех лапок. Я вовсе не издеваюсь. Я и сам в подобном положении не раз оказывался. И еще не раз, наверно, окажусь.

Но что-то в истории Королева меня не устраивает. Я верю в ее реальность, но не верю рассказчику. Не верю его тону, модулирующим его голоса. Уж больно жалостливая сказочка! На слезу бьет! Но не вышибается слеза-то, вот ведь в чем дело...

Пытается вышибить слезу и Анатолий Курчаткин в «Литературной газете» от 7 апреля. Впрочем, его история еще жалостливей...

В нашей стране, дрожащим голосом поведал Курчаткин, хорошей литературы не издается вообще. Одни фэнтези и детективы. Положение такое кошмарное, что в это обязано вмешаться государство. Оно *должно* издавать хорошую литературу!

Да прости меня Курчаткин, чьи ранние рассказы я и по сей день люблю, но это звучит так: *Курчаткина* должно издавать государство! Если я не прав, то пусть приведет список хорошей литературы, которая годами не издается и которую должно издавать государство. Этого списка в статье Курчаткина нет. Но если я прав, тогда, как метко выразился наш президент, «вот такая выходит загогулина». Допустим, государство создает структуру по отбору хорошей литературы и в список попадают последние вещи Курчаткина. Допустим, в эту структуру взяли работать меня. Я буду решительно и последовательно выступать против издания последних романов Курчаткина, потому что... они мне не нравятся. Но и Курчаткин законно может возражать: а какого, собственно говоря, черта какой-то Басинский с его испорченным вкусом и явными пробелами в образовании решает мою судьбу! И Курчаткин будет прав. Я не имею права решать его судьбу. И никто, кроме его родных и близких, не имеет на это права. Так что же: составим государственную комиссию из родных и близких Курчаткина? А, собственно, почему не из моих?

Но опять возникает «с другой стороны». С другой стороны, я понимаю состояние души Курчаткина, потому что и мне оно по-человечески близко. Ах, как это сладко: быть признанным не каким-то издателем-рыночником, но самим Государством, да если еще и представлять его будут достойные культурные люди! Какой-нибудь чиновник, едва услышав по селекторной связи твою фамилию, выбежит в приемную, распахнет дверь, проводит в кабинет, усадит в мягкое кресло... «Дорогой имярек! Поверьте, ваше имя для меня много значит! Буквально на днях читал вашу книгу вместе со всей семьей. И как это вам удается? Что? Неужели какие-то проблемы? Уж не хотите ли вы сказать, что вашу новую книгу задержало издательство? Нет, я этого так просто не оставлю! Вам принесут публичные извинения! А пока я прошу вас простить лично меня! Моя прямая обязанность заботиться о том, чтобы вы, драгоценный имярек, не знали никаких забот... кроме, хе-хе, творческих, разумеется!»

В этой сказочке фальши не больше, чем в историях Королева и Курчаткина. И потому я расскажу другую историю. Лично мне она очень нравится...

В конце прошлого века в одной желтоватой газетке, охочей до беллетристики самого дурного толка (с непременными убийствами, роковыми страстями), был напечатан заказной роман. Он печатался кусками, иной раз подписанными псевдонимом автора, а иной раз и вовсе без подписи. В этом романе было все, чего мог пожелать невзыскательный читатель. *Он* убил *ее*, потому что ревновал ко всем, да и просто был патологическим типом, склонным не только к издевательствам над людьми, но и к мазохизму. И она была порядочной стервой, обманувшей сразу двух мужчин — старого мужа и богатого любовника, из которого не таясь вытряхивала деньги на платья и побрякушки. Впрочем, богатый развратник этого заслуживал, потому что пил без продыху и соблазнял женщин без счета. Мерзкий убийца, его дружок, подло свалил преступление на старика-мужа, и тот отправился на каторгу на пятнадцать лет. Но муки совести почти не терзали безжалостного злодея...

Это была «Драма на охоте» двадцатичетырехлетнего Антона Чехова. Ее перечитываешь с каким-то душевным трепетом. Какие характеры, какая мудрость психологического взгляда, точно автор прожил не двадцать четыре, а сто, двести, пятьсот! Какой Урбенин! Оленька! Камышев! Граф! Как все просто и достоверно!

Газету «Новости дня», в которой печаталась «Драма на охоте», Чехов в шутку называл «Пакости дня». Ему платили по три рубля в неделю. Иногда денег в кармане редактора не оказывалось, и он предлагал автору взять за счет редакции новые штаны. Но Чехов не хныкал, не жаловался, не просил. Он прожил трудную и безусловно достойную писательскую жизнь, в которой было все: и бедность, и трудности, и популярность, и огромная слава, и ранняя смерть...

Это я не к тому, что писатель должен непременно прожить, как Чехов. Есть другие примеры — Дюма или Боборыкин. Это я к тому, что публично жаловаться на неуспех или безденежье он не имеет права.

«Ты — царь!» — писал Пушкин.

В противном случае мы вынуждены будем признать, что писательство не царское занятие, но род душевной инвалидности, порождающей больных, беспомощных, не способных к жизни без постоянной опеки людей, заботу о которых обязаны взять на себя общество и государство. И это была бы самая грустная история...



## **В несколько строк**

**Владимир ЮНГЕР. ПЕСНИ ПОЛЕЙ И КОМНАТ. Елена ЮНГЕР. СЕВЕРНЫЕ РУНЫ. СПб., Фонд Русской поэзии, 1998. Тир. 1000 экз.**

Если поэзия и не создается ради одного-двух слов, то выживает одним, от силы двумя словами. Причем иногда теми, каким автор и не придавал значения.

Где санные рыжели колеи,  
Сверкали льда наколотые глыбы,  
Там ныне томно млеют полыньи  
И кажут рты серебряные рыбы.

Едва ли не единственное слово «кажут» осталось от стихов Владимира Юнгера, опубликованных впервые в начале века. Но слово это своей неожиданностью, а потому и странностью вытягивает четверостишие, а оно тянет за собой стихотворение. О том же, что осталось за словами, о личности стихотворца и его недолгой жизни, рассказано в мемуарах его дочери, известной актрисы Елены Юнгер. Но рассказывает она не просто об отце, но и о старом, ушедшем Ленинграде и о людях, навсегда поселившихся там,— Николае Павловиче Акимове, Евгении Львовиче Шварце,— по ходу дела преодолевая пространства и времена, попадая то во Францию, то в Америку, вспоминая то Чаплина, то эмигрантов Юрия Павловича Анненкова и Зинаиду Евгеньевну Серебрякову. Для памяти, как для стихотворения, довольно единственного слова, и за него, словно за пестрый буюк, цепляются воспоминания, которым вода забвения не страшна, даже не холодна.

**Видок ФИГЛЯРИН. ПИСЬМА И АГЕНТУРНЫЕ ЗАПИСКИ Ф. В. БУЛГАРИНА В III ОТДЕЛЕНИЕ. М., «Новое литературное обозрение», 1998. Тираж не указан.**

Фаддей Венедиктович Булгарин коли и не был первым профессионально пишущим русским писателем (то бишь живущим лишь на доходы от литературного творчества, были и другие), тогда уж точно — первым писателем, профессионально мыслящим. Он превосходно чувствовал настроения публики, насквозь видел своего брата-сочинителя и высказывался на сей счет твердо и здраво: «Но как у нас всякой стихотворец и памфлетист пользуется в обществе некоторым преимуществом и даже имеет влияние на свой круг общества, то вовсе бесполезно раздражать этих людей, когда нет ничего легче, как привязать их ласковым обхождением и снятием запрещения писать о безделицах, например, о театре и т. п.». И потому не совсем справедливо считать его агентурные записки и письма, отправленные властям предержащим, доносами. Понимая всю важность роли, которую играет писатель в российском обществе, он также хотел воздействовать на общественное мнение, однако, вместо того чтоб жечь глаголом сердца людей, нашел более действенный способ. Основываясь на его докладных (а порою и на его журналистских выступлениях), компетентные инстанции уже решали, как поступить: жечь ли глаголом либо предпринять нечто иное. Так ли или иначе Булгарин реально участвовал в общественных процессах, о чем многим иным писателям лишь грезилось.

**Виктор КОНЕЦКИЙ. ЭХО (Вокруг и около писем читателей). СПб., Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 1998. Тир. 3000 экз.**

Вернее назвать эти беллетризованные воспоминания сведением старых счетов. Сколько лет прошло, а сочинитель никак не расквитается с Василием Аксеновым — все перепечатавает и перепечатаывает не очень ловкую и совсем несмешную новеллу о том, как бывшего приятеля и даже соавтора укусила собачка Ярослава Смелякова. И добавляет к этой истории скучные и какие-то нескладные воспоминания о Викторе Курочкине и Олеге Дале, знакомые читателям по другим публикациям.

**Анна ПРИСМАНОВА, Александр ГИНГЕР. ТУМАННОЕ ЗВЕНО. Томск, «Водолей», 1999. Тир. 1000 экз.**

Трудно держать дистанцию, а точнее, находить точную систему координат, верное приближение к автору, о котором ведешь речь. Придыхания, именование поэта только по имени, без фамилии — отвратительны, ибо манерны и фальшивы. Стихи, могущие бы обойтись и без всхлипов составителя, к сожалению, не в силах себя защитить, потому что и сборник составлен попросту неудачно.



**Алистер КРОУЛИ. КНИГА ЗАКОНА. КНИГА ЛЖЕЙ. ЛУННОЕ ДИТЯ. М., «Остожье», 1998. Тир. 10 000 экз.**

«...когда добропорядочные англичане празднуют мятеж Гая Фокса», — радостно утверждает автор предисловия Евгений Колесов, он же, в скобочках, Het Monster, вовсе не ведая, что демонстрирует незнакомство с элементарной английской историей. «На этом месте Цезарь, несмотря на все доблести пришедшего приветствовать его вождя Боадика, встретил его презрением...» — торжественно изрекает переводчик Евгений Колесов, как-то не догадываясь, что Боудикка — не вождь, а царица и уже хотя бы потому — женщина. О качестве книги, подготовленной столь компетентным специалистом по оккультным наукам, рассуждать не хочется. Хочется сделать лишь робкое предположение, что высокий псевдоним, заключенный в скобки, переводится не «Разъяренный монстр», а иначе. Например, «Распаленный», если дело по весне.

**А. Г. ПОГОНЯЙЛО. ФИЛОСОФИЯ ЗАВОДНОЙ ИГРУШКИ, ИЛИ АПОЛОГИЯ МЕХАНИЦИЗМА. СПб., Издательство С.-Петербургского университета. 1998. Тир. 1000 экз.**

Человек занял позицию наблюдателя, и мир сразу превратился в «картину мира», из создания высших сил он стал игрушкой, забавной, иногда надоедливой, но — игрушкой, которую можно развинтить и свинтить (часто при том остаются лишние винтики и колесики). Собственно, о том и повествуется в этой замечательной книге со столь замечательным длинным названием. Здесь уместно вспомнить два образа, явившихся из разных областей искусства, зато в них отразилась тенденция развития подобной игрушечной философии. Вот мальчик из сказки В. Одоевского, бродящий в недрах музыкальной табакерки и знакомящийся с ее обитателями, а вот — персонаж Чаплина из картины «Новые времена», человек, затянутый в механизм, постепенно превращающийся в его деталь.

**С. МАКОВСКИЙ. СИЛУЭТЫ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ. М., «Республика», 1999. Тир. 1000 экз.**

Эту книгу следует читать, рассматривать ее иллюстрации, не соглашаться со сказанным и восторгаться тонкими замечаниями и точными формулировками. Таки-ми и должны быть книги об искусстве.

**Герхард ВЕР. ЯКОБ БЕМЕ. [Б. м.], «Урал LTD», 1998. Тир. 5000 экз.**

Самым странным в биографии Якоба Беме может показаться не то, что он рассуждал о небесных сферах и ангелах. Самым странным может показаться то, что рассуждал об этих вещах сапожник (именуется он даже торжественно владельцем сапожной мастерской). Странность заключается не в несоответствии низкого занятия высоким раздумьям. Странность в том, что о небесах и ангелах рассуждает человек, уже в силу ремесла своего связанный с хтоническим, страшным (нижние конечности, обувь и есть символы хтонического). Отгадку, как преодолел Беме такой разрыв, и следует искать в биографической книге, ему посвященной.

**РОССИЯ. Энциклопедический справочник. М., Издательский дом «Дрофа», 1998. Тир. 30 000 экз.**

Всякого рода справочники приобретают смысл лишь в том случае, если регулярно обновляются. Им противопоставлена раритетность, единственность: статистика живет нагнетением цифр, их сопоставлением. В противном случае из служебного издания, которое должно бы отражать реально происходящие процессы — повышение уровня жизни или обнищание, прирост или мор среди населения страны, — справочник может превратиться в собрание ни к чему не обязывающих любопытных фактов, просто курьезов. И тогда в словаре персоналий между виолончелистом и педагогом С. М. Козолуповым и математиком А. Н. Колмогоровым составители ничтоже сумняшеся помещают Козьму Пруткова (впрочем, этот фантомный персонаж по своему представляет современную Россию, и есть своя логичность в таком представительстве). И все же набор диковин, повергающий в трепет иностранцев, нуждается в дополнениях: Царь-пушка, которая не стреляет, Царь-колокол, который не звонит, и к ним какая-нибудь гигантская подводная лодка (ну, не «Царь», трудно ли подобрать другую приставку), которая ныряет, пускает жирные пузыри и не выныривает уже никогда.

Б. ФИЛЕВСКИЙ

# *Нас поздравляют*

**Н. И. МИХАЙЛОВА,**  
заместитель директора Государственного  
музея А. С. Пушкина, академик РАО

---

*Блажен, кто понял голос строгой  
Необходимости земной,  
Кто в жизни шел большой дорогой,  
Прямой дорогой столбовой,  
Кто цель имел и к ней стремился,  
Кто знал, зачем он в свет явился.*

*Эти пушкинские слова из черновиков романа «Евгений Онегин» я хочу адресовать журналу «Октябрь», поздравляя его с 75-летием. В этом году мы отмечаем 200-летний юбилей Пушкина, и я радуюсь тому, что на страницах такого авторитетного журнала публикуются статьи о Пушкине. Мне кажется очень важным, что постоянная рубрика, посвященная творчеству поэта, открытая «Октябрем» вместе с Государственным музеем А. С. Пушкина, появилась задолго до юбилея и, надеюсь, останется и после праздничных торжеств. Ведь Пушкин нужен нам всегда — и сегодня, и в будущем, уже таком близком XXI столетию. Я благодарю «Октябрь» за то, что с 1995 года нам, авторам «Онегинской энциклопедии», была предоставлена возможность публиковать материалы этого большого коллективного труда, посвященного главному и любимому произведению Пушкина, ставшему одним из центральных произведений русской культуры. Мы помним то заинтересованное внимание, с которым встретила нас тогда заместитель главного редактора Нина Константиновна Лошкарева. Как много значат для нас неизменная доброжелательность, профессионализм редактора Анны Вячеславовны Воздвиженской.*

*Примите же пожелания многого и самого прекрасного от одного из авторов, читателей и почитателей вашего журнала.*

**Л. ЛЮБИМОВА,**  
директор Государственного музея Л. Н. Толстого

---

*Три четверти века — XX, грозного и судьбоносного в жизни России, — журнал «Октябрь» верой и правдой служит делу русской культуры, подтверждая своим долготерпением неизменность ее уникального явления — любви читателей к «толстым журналам».*

*За годы своего трудного пути «Октябрь» стал символом классической традиции, он объединил писателей, чье творчество отмечено гуманизмом, духовностью, любовью к русскому слову.*

*Верность этой традиции послужила залогом постоянного интереса журнала к наследию великих: Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого...*

*Двадцать лет «Октябрь» сотрудничает с нашим музеем, предоставляя свои страницы новым материалам Отдела рукописей. Тема «Россия и Толстой» стала одной из постоянных в содержании сентябрьских номеров журнала.*

*Нам, музейщикам, дороги дружеские отношения, установившиеся с редакцией «Октября». Мы восхищаемся стойкостью, мужеством, высокой культурой, профессиональным чутьем друзей — «октябристов».*



## *Дорогие наши читатели!*

**Не забудьте подписаться на журнал «Октябрь»  
на второе полугодие 1999 года!**

**Стоимость подписки**

**на месяц — 24 рубля**

**на три месяца — 72 рубля**

**на полгода — 144 рубля**

**Подписка по Каталогу Роспечати принимается всеми отделениями связи.**

**Москвичи и жители Московской области могут подписаться на «Октябрь» непосредственно в редакции (ул. «Правды», 11/13) по льготной цене и получать журналы у нас.**

**Телефон для справок: 214-31-23.**

**Оформить подписку на журнал также можно по Каталогу Роспечати через киоски (кроме Москвы).**

**Индекс издания для подписки:**

**в Российской Федерации — 73293;**

**для подписки в странах СНГ — 79209.**

**В розницу «Октябрь» вы можете приобрести в московских магазинах:**

**книжно-лотный салон «Летний сад» (Б. Никитская, 46);**

**магазин «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54).**

---

## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца года  
«Октябрь» предполагает опубликовать:*

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга третья.

Ролан БЫКОВ. **Дочь болотного царя.** Современная сказка.

Игорь ВОЛГИН. **Пропаший заговор.** Достоевский и политический процесс 1849 года. Книга третья.

Даниил ГРАНИН. **Повесть.**

Григорий КАНОВИЧ. **Шелест срубленных деревьев.** Повесть.

Николай КЛИМОНTOВИЧ. **Последняя газета.** Роман.

Владимир КАЧАН. **Цветной блюз.** Повесть.

Владимир КРАКОВСКИЙ. **Стрельба холостыми из самопала и револьвера.** Повесть.

Михаил ЛЕВИТИН. **Чешский студент.** Повесть.

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Юнна МОРИЦ. **Книга «Рассказы о чудесном».**

**Стихи.**

Анатолий НАЙМАН. **Роман.**

**Стихи.**

Владислав ОТРОШЕНКО. **Повесть.**

Олег ПАВЛОВ. **В безбожных переулках.** Роман.

**Школьники.** Повесть.

Евгений ПОПОВ. **Повесть.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Леонид ФИЛАТОВ. **Возмутитель спокойствия.** Авантюрная комедия.

Борис ХАЗАНОВ. **Понедельник роз.**

А. Ф. ЛОСЕВ. **Переписка с О. Позднеевой.**

А также новые произведения Петра АЛЕШКОВСКОГО, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Юрия ДАВЫДОВА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Григория ПЕТРОВА, Людмилы ПЕТРУШЕВСКОЙ, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Валерия ПОПОВА, Вячеслава ПЬЕЦУХА, Генриха САПГИРА, Людмилы УЛИЦКОЙ, Маргариты ШАРАПОВОЙ, Асара ЭППЕЛЯ и др.

---